

eISSN 2587-8719

ФИЛОСОФИЯ

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

2020 — Т. 4, № 3

PHILOSOPHY

JOURNAL OF THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS

2020 · VOLUME 4 · № 3

PHILOSOPHY

2020 4(3)

METHODS OF HISTORICAL COGNITION

<https://philosophy.hse.ru/> · philosophy.journal@hse.ru
eISSN: 2587-8719 · REGISTRATION: ЭЛ № ФЦ 77-68963
ROOM 417A, 21/4 STARAYA BASMANNAYA STR., 105066 MOSCOW, RUSSIA · +7(495) 7729590 * 12032

EDITORS

Editor-in-Chief: Vladimir Porus (NRU HSE, Moscow, Russia)
Deputy Editor: Alexander Marey (NRU HSE, Moscow, Russia)
Executive Editors of the Issue:
Irina Savelieva, Marina Rumyantseva (NRU HSE, Moscow, Russia)
Executive Secretary: Maria Marey (NRU HSE, Moscow, Russia)
T_EX Typography: Nikola Lečić (NRU HSE, Moscow, Russia)
Copy Editor: Sophia Porfirieva
Russian Proofreader: Polina Kalashnik

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Zhang Baichun (Beijing Normal University, Beijing, China) · Roger Berkowitz (Bard College, New York, USA) · José Luis Villacañas Berlanga (Universidad Complutense de Madrid, Spain) · Alexander Filippov (NRU HSE, Moscow, Russia) · Diana Gasparyan (NRU HSE, Moscow, Russia) · Viktor Gorbatov (Moscow, Russia) · Yulia Gorbatova (Moscow, Russia) · Stefan Hessbrüggen (NRU HSE, Moscow, Russia) · Claudio Sergio Nun Ingerflom (National University of San Martín, Buenos Aires, Argentina) · Vladislav Lektorsky (IPH RAS, Moscow, Russia) · Irina Makarova (NRU HSE, Moscow, Russia) · Alexander Mikhailovsky (NRU HSE, Moscow, Russia) · Sergey Nikolsky (IPH RAS, Moscow, Russia) · Teresa Obolevich (Pontifical University of John Paul II, Krakow, Poland) · Alexander Pavlov (NRU HSE Moscow, Russia) · Boris Pruzhinin (*Voprosy Filosofii* Journal, Moscow, Russia) · Petr Rezvykh (NRU HSE, Moscow, Russia) · Alexey Rutkevich (NRU HSE, Moscow, Russia) · Tatiana Schedrina (MSPU, Moscow, Russia) · Maria Shteynman (RSUH, Moscow, Russia) · Tatiana Sidorina (NRU HSE, Moscow, Russia) · Pavel Sokolov (NRU HSE, Moscow, Russia) · Andrey Teslya (IKBFU, Kaliningrad, Russia) · Anastasia Ugleva (NRU HSE, Moscow, Russia)

ФИЛОСОФИЯ

2020 — Т. 4, № 3

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД

<https://philosophy.hse.ru/> · philosophy.journal@hse.ru

eISSN: 2587-8719 · РЕГИСТРАЦИЯ: Эл № ФС 77-68963

СТАРАЯ БАСМАННАЯ 21/4, 105066 МОСКВА (КОМ. 417А) · +7(495) 7729590 * 12032

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор: Владимир Порус (НИУ ВШЭ, Москва)

Заместитель главного редактора: Александр Марей (НИУ ВШЭ, Москва)

Выпускающие редакторы:

Ирина Савельева, Марина Румянцева (НИУ ВШЭ, Москва)

Ответственный секретарь: Мария Марей (НИУ ВШЭ, Москва)

Технический редактор: Никола Лечич (НИУ ВШЭ, Москва)

Литературный редактор: Софья Порфирьева

Корректор: Полина Калашник

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Чжан Байчунь (Пекинский педагогический университет, Пекин, Китай) ·

Роджер Берковиц (Бард-колледж, Нью-Йорк, США) ·

Хосе-Луис Вильяканьяс Берланга (Университет Комплутенсе, Мадрид, Испания) ·

Диана Гаспарян (НИУ ВШЭ, Москва, Россия) · Виктор Горбатов (Москва, Россия) ·

Юлия Горбатова (Москва, Россия) · Клаудио Серхио Нун Ингерфлом (Национальный университет Сан-Мартин, Буэнос-Айрес, Аргентина) · Владислав Лекторский (ИФ РАН,

Москва, Россия) · Ирина Макарова (НИУ ВШЭ, Москва, Россия) ·

Александр Михайловский (НИУ ВШЭ, Москва, Россия) ·

Сергей Никольский (ИФ РАН, Москва, Россия) · Тереза Оболевич (Папский университет

Иоанна Павла II, Краков, Польша) · Александр Павлов (НИУ ВШЭ Москва, Россия) ·

Борис Пружинин (журнал «Вопросы философии», Москва, Россия) ·

Петр Резвых (НИУ ВШЭ, Москва, Россия) · Алексей Руткевич (НИУ ВШЭ,

Москва, Россия) · Татьяна Сидорина (НИУ ВШЭ, Москва, Россия) ·

Павел Соколов (НИУ ВШЭ, Москва, Россия) ·

Андрей Тесля (БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия) ·

Анастасия Углева (НИУ ВШЭ, Москва, Россия) ·

Штефан Хессбрюгген (НИУ ВШЭ, Москва, Россия) · Александр Филиппов (НИУ ВШЭ,

Москва, Россия) · Мария Штейнман (РГУ, Москва, Россия) ·

Татьяна Щедрина (МПГУ, Москва, Россия)

CONTENTS

[From the Executive Editors of the Issue] 9

STUDIES

YULIYA IVANOVA, PAVEL SOKOLOV

Istoricheskiy metod ot rozhdeniya k vozrozhdeniyu (ot grazhdanskoj nauki k modal'noy ritorike)

[The Historical Method: From Genesis to Revival (From the Civil Science to the Modal Rhetoric)] 15

ALEKSEY RUTKEVICH

Naslediye istorizma

[The Inheritance of Historicism] 36

ALEKSANDR KAZANKOV, OLEG LEYBOVICH

Yest' li zhizn' posle Feyyerabenda : dialog ob istoricheskom metode

[Is There Life After Feyerabend : A Dialogue About the Historical Method] 71

ROLF TORSTENDAHL

What is the Objective of "Theory of History"?

[V chem tsel' proyekta "teoriya istorii"?] 93

VASILIIY SYROV

Narrativ v istoricheskom poznanii : o perspektivakh ispol'zovaniya narratologii

[Narrative in Historical Knowledge : On the Prospects of Using Narratology] 113

IRINA RUDKOVSKAYA

«Istoriya russkogo naroda» N. A. Polevogo : markery temporal'nogo kanona pozdnego Prosveshcheniya v pervoy makroistorii postkaramzinskogo perioda

["History of the Russian People" by N. A. Polevov : Markers of the Temporal Canon of the Late Enlightenment in the First Macrohistory of the Post-Karamzin Period] 136

TRANSLATIONS

KHUAN DONOSO KORTES [JUAN DONOSO CORTÉS]

O suverenitete razuma, rassmotrennom primenitel'no k istorii : sed'maya lektsiya iz tsikla «Lektsii po politicheskomu pravu», pročitannaya v Madridskom Ateneo 24 yanvarya 1837 g.

[On the Sovereignty of Reason Taken with Reference to History : Seventh Lecture from "Lectures on Political Right" Delivered at the Ateneo of Madrid on the 24th of January, 1837] 175

ACADEMICAL LIFE

NIKA KOCHEKOVSKAYA

Makiavelli i Gvichhardini: intellektual'naya istoriya kak teoriya istoricheskogo pozna-
niya : Moskva, 23–25 sentyabrya 2019

[Machiavelli and Guicciardini: Intellectual History as Theory of Historical
Knowledge : Moscow, September 23–25, 2019]

199

BOOK REVIEWS

BORIS BELYAVSKIY

Kembridzhskaya shkola: import i modernizatsiya metoda analiza istorii : retsenziya na
sbornik «Kembridzhskaya shkola: teoriya i praktika intellektual'noy istorii»

[The Cambridge School: Importing and Modernizing the Method of Historical
Analysis : Book Review of “Cambridge School: Theory and Practice of
Intellectual History”]

217

IL'YA DEMENT'YEV [ILYA DEMENTEV]

Istoki velikoy gumanitarnoy nauki : razmyshleniya nad knigoy Sergeya Kozlova

[Origin of the Great Human Science : Reflections on the Book by Sergey
Kozlov]

230

СОДЕРЖАНИЕ

От выпускающих редакторов 9

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

- ЮЛИЯ ИВАНОВА, ПАВЕЛ СОКОЛОВ
Исторический метод от рождения к возрождению (от гражданской науки
к модальной риторике) 15
- АЛЕКСЕЙ РУТКЕВИЧ
Наследие историзма 36
- АЛЕКСАНДР КАЗАНКОВ, ОЛЕГ ЛЕЙБОВИЧ
Есть ли жизнь после Фейерабенда : диалог об историческом методе 71
- РОЛЬФ ТОШТЕНДАЛЬ
[В чем цель проекта «теория истории»?] 93
- ВАСИЛИЙ СЫРОВ
Нарратив в историческом познании : о перспективах использования
нарратологии 113
- ИРИНА РУДКОВСКАЯ
«История русского народа» Н. А. Полевого : маркеры темпорального ка-
нона позднего Просвещения в первой макроистории посткарамзинского
периода 136

АРХИВ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

- ХУАН ДОНОСО КОРТЕС
О суверенитете разума, рассмотренном применительно к истории : седь-
мая лекция из цикла «Лекции по политическому праву», прочитанная
в Мадридском Атенео 24 января 1837 г. 175

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ, СИМПОЗИУМЫ

- НИКА КОЧЕКОВСКАЯ
Макиавелли и Гвиччардини: интеллектуальная история как теория исто-
рического познания : Москва, 23–25 сентября 2019 199

ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА
РЕЦЕНЗИИ

БОРИС БЕЛЯВСКИЙ

Кембриджская школа: импорт и модернизация метода анализа истории : рецензия на сборник «Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории»

217

ИЛЬЯ ДЕМЕНТЬЕВ

Истоки великой гуманитарной науки : размышления над книгой Сергея Козлова

230

ОТ ВЫПУСКАЮЩИХ РЕДАКТОРОВ

Итак, — продолжал Арамис, принимая в кресле такую изящную позу, словно он находился на утреннем приеме в спальне знатной дамы, — [...] господин настоятель хотел бы, чтобы моя диссертация была догматической, тогда как я предпочел бы, чтобы она была умозрительной.

Александр Дюма. Три мушкетера

«Мы должны искать методы. Ибо для исследования разных проблем требуются разные методы». Призыв великого историка Иоганна Густава Дройзена, прозвучавший в 1864 г., отражал ситуацию, сложившуюся в середине XIX в. и на много десятилетий определившую ход дальнейших дискуссий, связанных с превращением истории в самостоятельную научную дисциплину.

Однако истоки споров об историческом методе были обнаружены уже в античности у Дионисия Галикарнасского и Лукиана из Самосаты, а в Новое время именно с написания разнообразныхopusов о «методе» в середине XVI в. началось становление современных представлений об историческом знании. Если за предшествующие две тысячи лет о понятии «история» в значении знания было написано несколько десятков абзацев, то теперь за одно столетие появилось несколько десятков трактатов, специально посвященных проблемам исторического метода. Одним из важнейших сочинений в этой области по праву считается трактат Жана Бодена «Метод легкого написания историй» (1566).

То обстоятельство, что уже авторы XVI–XVII вв. рассматривали проблему метода как фундаментальную для истории, вдохновило ряд современных исследователей искать прообраз для собственной теории истории именно в сочинениях раннего Нового времени. В открывающей номер статье Ю. В. ИВАНОВОЙ и П. В. СОКОЛОВА анализируются стратегии рецепции гуманитарной эпистемологии раннего Нового времени, ориентированные на наследие Джамбаттисты Вико: «абсолютный историзм» Бенедетто Кроче и «модальную риторику» Нэнси С. Стрювер. Эту тематику дополняет обзор международной конференции «Гвиччардини и Макиавелли у истоков исторической науки Нового времени» (23–25 сентября 2019 г., Москва), сделанный Н. А. КОЧЕКОВСКОЙ.

Следующая волна интереса к историческим методам возникла лишь во второй половине XIX в. в связи с превращением истории в науку, утверждением позитивизма и «антипозитивистским бунтом». Она сопровождалась рефлексией по поводу специфических для исторической науки правил и конвенций, принимаемых профессиональным сообществом. Речь шла не о поисках общенаучного метода или пусть даже метода всех наук о культуре, как впоследствии будет у баденских неокантианцев, а о попытке обеспечить методологическую автономию истории, сделать исследовательский процесс независимым от религиозной, философской или естественнонаучной картины мира.

Чтение любых исследований об историческом методе требует важного разъяснения. То, что у нас зовется «методологией», в западной историографии обычно именуется теорией, и именно теории в этой логике образуют основное содержание научного метода. Методами там называются скорее инструменты: математические методы, сравнительный анализ, нарративный анализ, контент-анализ, дискурс-анализ и прочее — а под историческими методами в узком смысле слова подразумеваются приемы критики источников.

Теории и инструментальные методы, используемые историками, усложнялись и эволюционировали с расширением пределов исторической науки. Однако в данном выпуске нас интересует прежде всего методология/теория в широком смысле: аналитические концепции исторического процесса, способы познания причинных и контингентных связей, динамики и инерции истории. К нерешенным (или неразрешимым?) вопросам, существуют ли особенные методы исторического исследования и как возможен *Исторический метод*, возвращают нас А. И. КАЗАНКОВ и О. Л. ЛЕЙБОВИЧ. В полемической статье, написанной в формате диалога, они рассматривают процесс смены парадигм исторического знания — от позитивизма до постпозитивизма — акцентируя внимание на наследии позитивизма в марксистской историографии как дореволюционного, так и советского периодов. Особый интерес их диалогу придает деконструкция обсуждаемого подхода на основе постпозитивистской концепции Пола Фейерабенда.

В статье А. М. РУТКЕВИЧА, посвященной историзму, которую, будь наша воля, мы — по аналогии с напумевшей статьей М. А. Бойцова «Вперед, к Геродоту!» (1999 г.) — окрестили бы «Вперед, к историзму!», автор показывает, что наследием историзма сегодня является не утверждение особого метода, но скептицизм и реализм, понятые, конечно, не

как метафизические доктрины. Выбрав термин из метафизики, он назвал господствующий способ современного исторического исследования гипотетическим реализмом.

Таким образом, в первой части выпуска публикуются работы, посвященные становлению и развитию исторического метода от зарождения исторической науки до кризиса постмодерна. Авторы анализируют как отрефлексированную рецепцию исторического метода, сложившегося в раннее Новое время, обретшего новое звучание в контексте историзма XIX века, так и неререфлексивно сохраняющееся влияние предшествующих и, казалось бы, отвергнутых подходов к исторической науке XX – начала XXI в. Завершает эту часть статья Рольфа Тоштендаля, рассматривающего представления о *теории* истории и *производстве исторического знания* шести историков-теоретиков последней трети XX – начала XXI в.: А. Р. Лоуча (A. R. Louch), Марека Тамма (Marek Tamm), Германа Пауля (Herman Paul), Криса Лоренца (Chris Lorenz), Габриел Спигел (Gabrielle Spiegel), Хейдена Уайта (Heyden White).

Далее, в статьях В. Н. СЫРОВА и И. Е. Рудковской разрабатываются соответственно проблемы применения нарратологии к историческому познанию и темпорального канона нарративов. Эффективность применения темпоральных маркеров продемонстрирована И. Е. Рудковской на примере анализа трудов Н. А. Полевого.

Проблема метода — это история научных традиций, научных школ и внутринаучной коммуникации. Это проблема ярлыков и искренней веры, пожизненных научных споров, нелюбимых нападок и резких отповедей. Ибо, как отмечал крупнейший специалист в области методологии науки, американский философ Фейерабенд, процедура, осуществляемая в соответствии с правилами, считается научной, а процедура, нарушающая эти правила, считается ненаучной. Тот факт, что эти правила существуют, что наука своими успехами обязана их применению и что правила эти рациональны в некотором безусловном, хотя и расплывчатом смысле, сомнению не подвергается.

Публикуемые в номере журнала статьи достаточно разносторонне характеризуют основные направления и вехи в развитии исторического метода, однако представленные работы далеко не исчерпывают разнообразия современной методологической палитры.

В разделе «Переводы» представлена подготовленная к печати Ю. В. Василенко и А. В. МАРЕЕМ лекция Хуана Доносо Кортеса «О суверенитете разума, рассмотренном применительно к истории», продолжающая

публикацию цикла лекций, прочитанных испанским мыслителем в мадридском клубе Атенео в 1836–1837 гг.

В раздел «Критика» помещены рецензии на две актуальные работы по интеллектуальной истории: Б. А. БЕЛЯВСКОГО на сборник «Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории» (М., 2018. 629 с.), посвященный истории понятий, выступающей также в качестве эффективного метода исторической науки, и И. О. ДЕМЕНТЬЕВА на книгу С. Л. Козлова «Имплантиция: очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции» (М., 2020. 576 с.), в фокусе которой борьба за онаучивание гуманитарного знания, развернувшаяся во Франции с 1860-х гг.

Ирина Савельева и Марина Румянцева

ДИСКУССИИ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

STUDIES

Юлия Иванова, Павел Соколов*

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОТ РОЖДЕНИЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ (ОТ ГРАЖДАНСКОЙ НАУКИ К МОДАЛЬНОЙ РИТОРИКЕ)**

Получено: 29.07.2020. Рецензировано: 20.08.2020. Принято: 19.09.2020.

Аннотация: В статье рассматриваются две стратегии рецепции гуманитарной эпистемологии раннего Нового времени, первая из которых видит в ней предварение историзма XIX – начала XX вв., а вторая — прецедент поворота к риторике и контингентности, аналогичный повороту к риторике в некоторых направлениях гуманитарной теории середины «XX» столетия. Отправной точкой исследования становится представление Бенедетто Кроче о философии неаполитанского философа Джамбаттисты Вико (1668–1744) как предварении романтизма («девятнадцатый век in nuce»; «il romanticismo fu vichiano»): концепция Кроче рассматривается как репрезентативный образец презентистского «присвоения» барочной гражданской науки. Эта концепция противопоставляется тем направлениям современной теоретической историографии раннего Нового времени, которые усматривают в «науках о контингентном» ресурс обновления актуальной гуманитарной теории; особенный акцент при этом делается на «модальной риторике» Н. С. Стрювер. Демонстрируется, что именно эта стратегия позволяет освободить философию неаполитанца от модернизирующих прочтений в духе романтизма и возратить ее собственному времени.

Ключевые слова: Кроче, Вико, абсолютный историзм, модальная риторика, контингентность, топика, прагматизм.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-15-35.

Вопрос об историческом методе сам, очевидно, историчен. В своей эксплицитной формулировке он возникает в XVI столетии у Жана Бодена на общей территории двух популярных жанров ученой литературы

*Иванова Юлия Владимировна, ведущий научный сотрудник, Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Поletaева (ИГИТИ), jivanova@hse.ru, ORCID: 0000-0002-6847-2595; Соколов Павел Валерьевич, ведущий научный сотрудник, Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Поletaева (ИГИТИ), psokolov@hse.ru, ORCID: 0000-0001-5817-2671.

**© Иванова, Ю. В.; Соколов, П. В. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

Благодарности: статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

раннего Нового времени: «рассуждений о методе» и «исторического искусства» (*ars historica*) (Couzinet, 1996: 31–59). Очень быстро полемики об историческом методе выходят за границы риторики (излюбленная перспектива *artes historicae*) и топики (Боден) и воскрешают старую, восходящую к Аристотелю апорию эпистемологического статуса истории как невозможной «науки о единичном»: в этом смысле уже в начале XVII в. Варфоломей Кекерманн станет говорить о том, что у истории нет метода, потому что она есть «объяснение единичных и индивидуальных вещей», а значит — не дисциплина, не наука и даже не искусство (Кекерманн, Иванов, 2014: 221). То обстоятельство, что уже у авторов XVI – XVII вв. проблема метода в истории не сводилась к ремесленно-технической задаче выработки эвристически эффективных способов нахождения и верификации истин факта, а ставила фундаментальный вопрос о возможности истории как науки, дало возможность целому ряду авторов искать для собственной философии или теории истории прообраз именно в раннем Новом времени. В настоящем очерке мы рассмотрим две подобные попытки, которые отделяет друг от друга почти столетие, но объединяет ориентация на гражданскую науку раннего Нового времени, в особенности в ее версии, разработанной неаполитанским философом Джамбаттистой Вико: «абсолютный историзм» Бенедетто Кроче и «модальную риторику» Нэнси С. Стрювер.

Джамбаттиста Вико без преувеличения может быть назван философским *alter ego* своего земляка Бенедетто Кроче: неслучайно Кроче апеллирует именно к трудам неаполитанского философа, чтобы продемонстрировать ограниченность, своего рода философский гибридизм «абсолютного идеализма» Гегеля в воображаемом диалоге между безвестным мыслителем-викианцем из Неаполя и «философом в Берлине» (Кроче, Мальцева, 1999с: 84–100). Образ Вико у Кроче предстает как своего рода апофеоз «идолатрии истоков»: «новая наука» его являет собой весь философский «девятнадцатый век в зародыше» («*secolo decimonono in germe*»); по Кроче, романтизм прошел под знаком Вико (*il romanticismo fu vichiano*) и «едва ли не все основополагающие идеи идеалистической философии девятнадцатого столетия могут быть рассмотрены как возвращение (*ricorsi* — викианский термин) тех или иных концепций Вико» (Croce, 1922: 254).

Не ограничиваясь общими декларациями, Кроче приводит примеры вклады неаполитанца в европейскую духовную историю Отточеното: (1) прообразом идеалистического положения о тождестве бытия и мышления был тезис о тождестве истинного и созданного (*verum et factum*

reciprocantur — утверждение, согласно которому предметом истинного познания может быть только то, что самим этим познанием произведено) из «О наидревнейшей мудрости италийцев»; (2) опыт синтеза философии и филологии в «О едином начале и единой цели всеобщего права» (De uno) и «Новой науке» предвосхитил примирение идеального и реального, категорий и опыта в кантовском априорном синтезе и в гегелевской философии истории; (3) ограничение значимости естественных и точных наук, демонстрация их фикциональной природы, а также опровержение философского натурализма возвратились в форме критики спинозистского детерменизма у Якоби¹ и борьбы Гегеля с абстрактным мышлением; (4) поэтическая логика и наука фантазии превратились в эстетику и воскресли в форме критики интуиции как смутного понятия у Канта и понимании искусства как одной из чистых форм духа у Гегеля и Шеллинга; (5) возвратилось (у Гердера и Гумбольдта) учение Вико о языке, понимаемом не как система искусственных знаков, а как свободное и поэтическое творение духа; (6) религия и миф перестали рассматриваться как аллегории и формы обмана, а начали пониматься — как было предложено Дэвидом Юмом, естественным процессом, восходящим к началам человеческой истории; (7) союз поэзии и истории у Иоганна Георга Гамана может быть понят лишь на фоне Вико; (8) полемика с утилитаризмом и контрактуализмом у Вико воскресает в политических и этических учениях Канта и Гегеля; (9) историческая школа права унаследовала от Вико пафос противостояния правовому платонизму и юснатурализму Гроция; (10) идея «хитрости разума» у Гегеля и гетерономии целей у Вильгельма Вундта созвучны викианской идее Провидения (Ježić, 2015: 251–254). «Пролептическое» значение Вико столь велико, что перерастает границы той частной области философии, к которой общее мнение критиков до сих пор склонно его причислять — философии истории: «...его многосторонняя энергия теоретика познания, этики, эстетики, права и религии оказываются словно бы погребены под эпитафией „философа истории“»².

Задаваясь вопросом о методе, который позволил бы показать всемирно-историческое значение великого неаполитанца, Кроче критически от-

¹ А ргос, см. недавнюю статью о редкой для романтической эпохи прямой рецензии Вико у Якоби: Ježić, 2015: 243–250.

² «La cui molteplice energia di gnosceologo, di teorico dell'etica, dell'estetica, del diritto, della religione rimane come seppellita sotto quell nome di "filosofo della storia"» (Croce, 1922: 328).

зывается об истории идей в духе Артура Лавджоя с его концепцией *units of knowledge* (Croce, 1922: 249):

Признаюсь откровенно, что не питаю симпатии к тем заключительным разделам критических исследований о философах прошлого, которые содержат в себе историю следствий созданных ими идей. Ведь если «идеи» понимать внешним образом, рассматривая то влияние, которое они оказали на социальную и культурную жизнь, то обзор их, хотя и не лишенный определенного интереса, останется чужд истории философии в собственном смысле этого слова — если же речь идет о подлинных и живых философских идеях, то рассказ об их исторической судьбе совпадает с самим ходом истории философии, который нет оснований сводить к изучению того или иного конкретного философа. Непонимание этого вызвано предрассудком, согласно которому идеи представляют собой нечто твердо определенное и ограниченное, подобно кристаллам или драгоценным камням, переходящим по наследству из поколения в поколение и сохраняющим в неприкосновенности первоначальную форму свою и первородный блеск, независимо от того, в какие новые оправы они оказываются помещены и чье чело ныне украшают. Однако идеи суть в действительности не что иное, как неутомимое человеческое мышление, и передавать их из поколения в поколение означает преобразовывать их³.

Этой кумулятивной конструкции истории науки Кроче противопоставляет отвечающую общим принципам его понимания истории прегентистскую установку:

Проще всего показать соответствие его идей, будь то истинных или ложных, самым насущным потребностям последующих времен, обратившись к сходным идеям и замыслам, явившимся в будущем в таком изобилии, что облик целого столетия в философии и истории человечества оказался ими определен (*ibid.*: 250)⁴.

³«Confessiamo anche di non nutrire simpatia per quei capitoli, che si usa mettere come conclusioni dei lavori critici intorno ai filosofi e che contengono la storia della fortuna delle loro idee. Giacché se le “idee” sono prese in modo estrinseco, nei loro effetti sociali e di cultura, quella rassegna, sebbene non priva di certa sua particolare importanza, rimane estranea alla storia della filosofia propriamente detta; — se invece sono intese come vere e vive idee filosofiche, il racconto della loro fortuna confluisce né più né meno che con la storia della filosofia posteriore, la quale non c'è ragione di far seguire alla trattazione di uno piuttosto che di altro filosofo singolo. Condursi diversamente è effetto del pregiudizio che le idee siano qualcosa di solido o di cristallizzato, quasi gemme preziose che si tramandino da una generazione all'altra e di cui sia sempre possibile riconoscere l'inalterata forma e fulgore nei nuovi diademi che esse compongono e sulle nuove fronti che vengono a costellare. Ma le idee, effettivamente, non sono altro che l'infaticabile pensiero umano, e tramandarle davvero vale trasformarle».

⁴«Ora, quale mezzo si offre più semplice per mostrare la rispondenza delle sue dottrine, vere o false che fossero, a profonde esigenze spirituali, che ricordare le idee e i tentativi simili,

Признавая выдающиеся заслуги Кроче в деле как филологического восстановления, так и философского переоткрытия Вико, мы все же вправе задаться вопросом: не оказывается ли великий неаполитанец заложником своей собственной славной судьбы в эпоху немецкого романтизма? Возможно ли вернуть Вико его собственному времени⁵?

Для того чтобы осознать, в какой мере Вико превращается у Кроче в прообраз его самого, а в какой — остается самим собой, следует, как кажется, прежде всего понять, какую идею *истории* он вычитывает из сочинений неаполитанца. В одном известном фрагменте Кроче пишет, что понятие истории становится у Вико подлинно объективным: цель исторического исследования отныне — «воссоздание средствами разума разумной действительности» (*rifacimento razionale di un fatto razionale*). По Кроче, история есть «логика событий», понимаемая как «логика конкретного». В игре взаимных опосредований между индивидуальным и всеобщим, необходимостью и свободой заключается диалектическое движение истории, делающее возможным разумное ее постижение и одновременно снимающее проблему зла⁶. Отметим два обстоятельства: во-первых, тео- и антроподицея, слияние универсального и индивидуального у Кроче вводит в игру *модальную* категорию необходимости; во-вторых, презентистское понимание историографии влечет за собой ее практическую обращенность, воплощенную в известных формулах эквивалентности: «история как действие» (Кроче, Мальцева, 1999а: 228–230), «история как история свободы» (там же: 233–235). И в деле примирения необходимости и свободы, и в снятии антитезы между умозрением и практикой («неожиданный макиавеллизм» (Кроче, Мальцева, 1999b: 130) Вико не только опередил свое время, но и превзошел гегелевскую философию истории с ее априоризмом.

Согласование необходимости и свободы на почве практически ориентированной истории облечено у Кроче в форму *диалектики*, сохраняющей в снятии независимость вступающих во взаимное отношение моментов. Однако любопытным образом как уравнение теории и практики, так

riapparsi più tardi così copiosi e intensi da dare la fisonomia al lavoro di un secolo intero di filosofia e di storia?»

⁵Ср. об этом рассуждение Ф. Тесситоре, высвечивающее как преимущества, так и ограничения историцистского понимания Вико: Tessitore, 1968: 217–227.

⁶«...concepire i fini particolari come veicolo degli universali e le illusioni come accompagnamenti e cooperanti con l'azione importa concepire dialetticamente il moto della storia e superare il problema del male [...] A tale patto solamente è dato intendere la storia, che altrimenti resterebbe inintelligibile» (Croce, 1922: 123).

и внимание к модальности «возвращаются» в исследовательской традиции и по генеалогии своей, и по философским принципам, если не оппозиционной диалектическому историзму Кроче, то по крайней мере к нему безразличной — покоящейся на принципах прагматизма англосаксонской историографии политической мысли раннего Нового времени. Вступая на эту территорию, нам придется оставить подкупающий своей простотой и внутренним единством идеалистический язык Кроче и столкнуться с настоящим барочным многообразием дискурсов гуманитарной теории, находящихся в сложном полемическом отношении друг к другу. Эти исследовательские программы — от кембриджской истории понятий до модальной риторики — ставили своей целью актуализировать потенциал, содержащийся в категориях ренессансной и барочной риторики, и именно они позволили лишиться неоромантизм Кроче того монопольного положения в интерпретации барочной философии — в особенности гражданской науки Вико — которым он пользовался до середины XX в.

Специальным предметом нашего внимания станет «модальная риторика» современной чикагской исследовательницы Вико Нэнси С. Стрювер и — в меньшей степени — история политического дискурса раннего Нового времени Кв. Скиннера и Дж. Г. А. Покока. Рассмотрение этого недialeктического взгляда на этико-логическую проблематику необходимости и праксиса у Вико и, шире, в политической мысли его времени могло бы позволить увидеть иллюзорность конвергенции ключевых категорий и проблемных полей равно важных, но не равно влиятельных направлений викианской историографии.

Ключевой пункт расхождения между Кроче и этими направлениями историографии можно видеть в различном понимании ими *истории*. Если для восприемника романтической культуры Кроче история — это гигантская лаборатория априорного синтеза, в которой диалектическое движение Духа сопрягает категории с явлениями, а всеобщее — с единичным, то такие авторы, как Скиннер и Стрювер рассматривают историю как резервуар актуальных и потенциальных сценариев социального действия, а наиболее подходящим инструментом их интерпретации считают риторический анализ. История здесь — своего рода форум гражданственности (*forum extrinsecum*), в котором всякое высказывание есть действие, а всякий аргумент — гражданское событие; задача же историографии — *риторическая герменевтика социальных действий*. Такое понимание истории повлекло за собой смещение центра

тяжести в работе с ренессансными и барочными политическими текстами к анализу языка, аргументативных структур и прагматических импликаций политического дискурса. Восходящее к 1950-м гг. сотрудничество истории политической мысли и прагматической философии в таких влиятельных направлениях гуманитарной теории, как «история понятий» Кв. Скиннера и «модальная риторика» (в более ранних версиях — «топология») Н. С. Стрювер, было опосредовано обращением к историческому материалу раннего Нового времени. Актуальность интеллектуального наследия раннего Нового времени обосновывалась изоморфностью ренессансного «поворота к риторике» — «прагматическому повороту», свершившемуся в целом ряде направлений европейской философии XX в. (концепция «языковых игр» у позднего Витгенштейна, теория «речевых актов» Дж. Остина, этика А. Макинтайра). Отказ от редукции риторики к поэтике (стилистике или «тропологии») и понимание ее как «герменевтики гражданских событий» в гуманистической диалектике (А. Нифо, П. Рамус, Дж. Вико) были созвучны не только реактуализации греко-латинской риторической традиции в неориторике Х. Перельмана (Warnick, 2000), но и концепции «навыков действия» и «закрепления убеждений» Ч. Пирса (Struever, 2009: 103–106) и критическому ограничению «апофантического логоса» у Дж. Остина (Beduhn, 2000). Наряду с реабилитацией риторики и «прагматическим поворотом» в философии важной предпосылкой превращения *Early Modernity* в мощный ресурс гуманитарной теории стал новый подход к истории политической мысли, сместивший акцент с генеалогии актуальных понятий и проблем политической теории («история формальной политической теории») к истории политического дискурса, понимаемого как результат интерференции множества языков интеллектуальной культуры, как действие («речевой акт»), совершаемое в соответствии с правилами определенной «языковой игры» («что *делает* автор, когда пишет текст»). По выражению Дж. Покока, речь шла о создании «истории политической теории подлинно исторического характера», естественными противниками которой оказывались классическая история идей в духе *units of knowledge* А. Лавджоя⁷, формалистическая теория истории в духе «тропологии» Х. Уайта и аналитическая философия истории, сводящая историческое исследование к анализу предложений (А. Данто) (Данто, Макеева, 2002).

⁷В связи с этим характерно, что Лавджой был известным критиком прагматизма: Lovejoy, 1908.

И снова на поверхностном уровне терминологии мы можем заметить некоторое сходство: у неаполитанского философа появляется категория, центральная для англосаксонской историографии — категория *прагматизма*. В третьей части «Философии как науки о духе», посвященной практике, Кроче определяет свою философию как «новый прагматизм» и объявляет Жизнь предпосылкой всякого теоретизирования, коль скоро «познание есть идеальное пересоздание реального» (Stose, 1909: 190). Но прагматизм Кроче, как мы увидим далее, имеет мало общего с прагматизмом Стрьювер и Скиннера, ибо означает примирение теоретического и практического в жизни Духа, прояснение аналогических («циркулярных») отношений подобия между ними, а вовсе не анализ модальности суждения о социально-историческом мире. Квинтэссенцией этого прагматизма, «о котором прагматисты никогда и не помышляли» (*ibid.*: 196), оказывается тезис об историчности всякого познания: «...проблема исторична, а решение ее вечно». В одном очерке 1938 г. Кроче определяет «вечные категории» в историческом суждении как «потенции к действию» (*potenze del fare*), но эта «модализация» исторического суждения не получила у него дальнейшего развития и тем более не была осмыслена применительно к историографии и политической мысли раннего Нового времени; в книге о Вико мы не находим никаких ее следов. По Кроче, предмет истории у Вико есть, как и у него самого, индивидуальное, конкретное (*intelligenza dell'individuale*), а не возможное. Напротив, ключевые понятия Кембриджской школы — «момент», «контекст», «речевой акт», «языки политической мысли», «история деятельности», «ход» (*move*) — и центральные понятия риторики Стрьювер — «навык действия в исследовании», «топос», «дискурсивное событие» — могут быть рассмотрены как символы «прагматического поворота» в историографии, в результате которого на передний план выходят понятия дискурса и аргумента, а «решение проблем» оказывается релятивировано относительно *endoxa* — исторически изменчивой системы общих мест, конституирующих, по мнению Стрьювер, «область общечеловеческого» (*common humanity*). Методологический арсенал Стрьювер чрезвычайно богат: в списке авторов, вовлекаемых ею в проект «новой риторики», мы можем найти и Аристотеля как автора «Топики» и «Риторики», и М. Хайдеггера как комментатора Аристотеля, и Ч. С. Пирса как создателя ключевых для чикагской исследовательницы понятий «навыки действия в исследовании» (*habits of action in inquiry*) и «закрепление убеждений» (*fixation of beliefs*), и даже П. Фейерабенда (стирание границ между «теорией» и «фактом»). В числе предшественников своего

«прагматического» подхода к ренессансному материалу Стрювер называет Сальваторе Кампореале и Кристофера Челенцу (Camporeale, 1990). По Стрювер, цель истории — убеждение, т. е. установление «природы события в мире гражданственности» («establishment of the nature of a civil event» (Struever, 1980: 68)), и именно по этой причине наиболее отвечающим ее сути аналитическим языком является риторика, которая

не есть ни философия, ни антифилософия; она есть гражданская наука, которая, подобно праву, сочетает исследовательскую находчивость с выразительной силой (ibid.).

Центральной категорией так понимаемой риторики оказываются, в отличие от формалистической теории историографии у Х. Уайта, не тропы, а топосы или места аргументов, «управляющие силой убеждения» и имплицитные не только формальную структуру аргумента, но и коммуникативный контекст — мотивации и убеждения говорящих. Топологическая оптика чикагской исследовательницы позволяет представить «дискурсивную ситуацию как событие гражданского мира» — здесь пролегает граница между концепцией «общего места» у Стрювер и исследованием риторических общих мест европейской литературной традиции (Toposforschung) у Э. Р. Курциуса (Curtius, 1973). Общие места, о которых пишет Курциус, суть литературные продукты применения *topoi*, агональных приемов («wrestling holds») Стрювер: если «историческая топка» Курциуса является одним из методов науки о литературе (неслучайно топос определяется им как «внеличностный стилевой элемент»), то «топология» Стрювер представляет собой риторическую науку об историческом («гражданском», т. е. историко-политическом) мире.

В начале 1990-х гг., к моменту выхода в свет работы «История как теория и практика» в инструментарии Стрювер на передний план выходит новое понятие — *модальность*. Оно связано не столько с риторическим прочтением Аристотеля, сколько с актуальными теоретическими разысканиями финских историков логики во главе с Яакко Хинтиккой⁸. Обращение к истории «принципа полноты» у ключевых фигур эпохи барокко (у Лейбница) позволило этим авторам связать переход к Новому времени с той областью, которая обыкновенно рассматривалась как

⁸О последствиях дискуссий о «принципе полноты» для истории идей см.: Hintikka, 1975–1976. Критику интерпретации Лавджоя и истории идей в целом у Хинтикки см. в: Gram, Martin, 1980.

специальный раздел логики, — модальными теориями. Событие внутренней истории логики — «морализация модальностей», расщепление модальных категорий (возможности, необходимости, действительности) в посттридентской схоластике и идея статистической, квантифицируемой моральной возможности — проецируется у Стрювер на историю этической и политической мысли раннего Нового времени, в которой она обнаруживает аналогичный процесс «расширения царства возможностей» (*the widening of the realm of possibilities*) (Struever, 2009: 11). Новое звучание обретает у чикагской исследовательницы изобретенная Дунсом Скотом и активно разрабатывавшаяся посттридентскими схоластами и Лейбницем идея «возможных миров». Отметим, кстати, что в этом свете новое значение приобретает знаменитое место у Вико, в котором он пишет, что ход идеальной истории наций остался бы неизменным, «даже если бы время от времени возникали бы новые бесконечные миры» (*fosse anco che nell'eternità nascessero di tempo in tempo mondi infiniti*). Если для Кроче это рассуждение представляет собой плод ошибочной интерференции эмпирического и спекулятивного аргумента (Croce, 1922: 40–41), то для Стрювер как раз оперирование перспективой альтернативных миров («adjacent worlds») составляет одну из ключевых новаций политического языка раннего Нового времени. Использование метафоры возможных миров заставляет вспомнить о знаменитом мысленном эксперименте — воображаемой «языковой катастрофе» — у Аласдера Макинтайра, к которому автор «После добродетели» прибегает для того, чтобы объяснить состояние «беспорядка», в котором находится язык современной моральной теории и практики. Описание этого беспорядка удивительно походит на то состояние «дискурсивной анархии» (В. Кан), в котором оказались этика и политика раннего Нового времени после Макиавелли и Валлы (MacIntyre, 1985: 2):

...в области морали мы имеем лишь фрагменты концептуальной схемы, обрывки, которые в отсутствии контекста лишены значения. На самом деле у нас есть лишь призрачное подобие (*simulacra*) морали, и мы продолжаем использовать многие из ее ключевых выражений. Но мы утратили, — если не полностью, то по большей части, — как теоретическое, так и практическое понимание морали (*пер. Т. А. Дмитриева*).

Если катастрофа моральных понятий, о которой пишет Макинтайр, была, согласно интерпретации, следствием провала попыток рационального обоснования морали в эпоху Просвещения, то «анархия» в этике и политике раннего Нового времени была вызвана невозможностью

основать этику на принципе подражания классическим образцам и распадом аристотелевского политического «койнэ». Происходит событие, которое можно определить как «эмансипацию означающих» ключевых категорий старой аристотелевско-цицеронианской этики, таких как «добродетель» (*virtus*), «праведный разум» (*recta ratio*), «добродетель» или «нравственная красота» (*honestum* или *decorum*), «политическое животное» (*animal politicum*), «естественное состояние» (*status naturalis*). Они продолжают использоваться (*virtù* у Макиавелли, *recta ratio*, *right reason* у Т. Гоббса), но в отрыве от породивших их контекстов и моделей политической науки. Тем самым распад языка классической политики и отказ от нецесситаристской парадигмы — явление, которое Стрювер и обозначает термином «морализация модальностей» — в одинаковой степени стимулируют расширение сферы экспериментирования с базовыми этическими категориями, их, выражаясь формалистическим языком, «деавтоматизацию». Не случайно эти понятия становятся предметом литературной игры: сначала во Флоренции Кватроченто — в жанровой форме гуманистического диалога (в творчестве Леонардо Бруни, Франческо ди Поджо Браччолини и особенно Лоренцо Валлы), а уже в первой половине следующего столетия их осваивает и драма: хрестоматийным примером может здесь служить «Мандрагора» Макиавелли. Сначала (в диалоге) различные — иногда противоположные — этические позиции становятся предметом свободной игры, а потом (в драме) они автономизируются и объективируются, воплощаясь в *dramatis personae* и выходя из-под власти автора. Это переворачивание, инверсия общих мест гуманистической этики, торжество антиморали — иногда пародийное, как в «Мандрагоре», иногда серьезное, как в «Государе» — коснулись общих мест *внутри* этико-риторической парадигмы, а не только языка политики: в той же «Новой науке» такие топосы, как «возвышенная (*sublime*) поэзия Гомера» или «героическая доблесть (*virtù*) римлян» обретают совершенно неклассическое содержание⁹.

⁹ Гомер объявляется неподражаемо возвышенным поэтом, поскольку он, во-первых, оказывается лишь метафорой, собирательным понятием, обозначающим весь греческий народ в целом, а во-вторых, поскольку его язык представляет собой воплощение недостижимой и непостижимой для рационально мыслящего, просвещенного человека чувственной варварской природы. Героическая доблесть римлян, из которого ливийская традиция политической историографии сделала основание своей рациональной этики, также характеризуется Вико как рудимент варварского «дореклексивного» этоса («дикарский обычай жить и умирать свободными», «необузданная свобода»). См.: Nuzzo, 2007: 253.

На пересечении этих двух событий, первое из которых мы бы обозначили, перефразируя Скиннера и Покока, как «момент» в «истории политического дискурса», а второй вслед за Стрювер как «морализацию модальностей», возникает фигура Вико. Интерес чикагской исследовательницы к наследию неаполитанского философа оказался столь же устойчивым и продуктивным, как некогда у Эриха Ауэрбаха: начиная от самого раннего своего проекта — «структурной истории риторического гуманизма» — до наиболее зрелой концепции «модальной риторики» фигура Вико неизменно занимала в концептуальных построениях Стрювер видное место. В творческом наследии Вико Стрювер открывает целый ряд интуиций, родственных ее собственной оптике: так, предпочтение римской юриспруденции греческой философии, заявившее о себе в трактате «О едином начале и единой цели всеобщего права», указывает на чувствительность неаполитанца к юридическим формулам гражданского права как «возможным сценариям» (*possible plots*) гражданского действия; его герменевтика политических действий и исторических событий основана на «модальности как фундаментальном свойстве социального опыта»; даже заявившая о себе в ранних сочинениях приверженность методу анахронистических этимологий (*verum / factum, conatus / momentum, ingenium / natura*), противостоящая их классико-филологической, антикварной «консервации» и высвечивающая их гражданский потенциал (*potency of words for civil intervention*) (Struever, 2009: 60), помещается в контекст поворота раннего Нового времени к «слабым» модальностям в сфере политики и этики. Специальный интерес в эпистемическом стиле Вико вызывает у Стрювер характерная для него тенденция к деперсонализации исторического нарратива: фигуры, населяющие страницы «Новой науки», суть в действительности «поэтические универсалии» и метафоры социальных институтов, созданные воображением архаического человечества (Ахиллес — поэтический характер героического мужества, а Улисс — героической мудрости).

Несмотря на то что центральные категории исследовательского языка Стрювер — навык действия, критика нецесситаризма, топос, модальная риторика — могут показаться не более чем метафорами, все же заданный ей ракурс представляется чрезвычайно продуктивным для открытия неявных сторон ренессансной и барочной эпистемы. Так, конгруэнтный викианскому панриторизму неориторический подход Стрювер позволяет найти новый подступ к специфическим аргументам в составе «Новой науки», которые в прежних посвященных наследию неаполитанца исследованиях не получали удовлетворительного объяснения. К числу

таковых можно отнести, на наш взгляд, и находимые Кроче дефекты в замысле «Новой науки». По мнению Кроче, структура «Новой науки» должна рассматриваться на трех взаимосвязанных уровнях: философском (философские аксиомы, различение фантастических и логических универсалий, *certum / verum*), историческом (исторический очерк развития архаических народов после Потопа, социальная борьба патрициев и плебеев) и социологическом (законы единообразного развития наций, социальные институты феодализма, отцовской власти и семьи в древнем Риме) (Сросе, 1922: 37–38), однако недостаток систематического духа в мышлении Вико помешал ему согласовать между собой элементы этой триадической схемы, следствием чего стала «темнота» (*oscurità*) — не композиции и не стиля, а мышления неаполитанца. Но сама эта трехчастная схема гипотетической философии духа окажется чуждой викианскому методу, если мы вслед за Стрювер согласимся видеть в нарративной ткани «Новой науки» отражение ренессансного и барочного представления о предмете историографии. По Стрювер, гуманисты и писатели барочного века, среди коих и Вико, рассматривали социальную реальность

не как историческую константу, но как одну из многих в целой палитре разных возможностей выбора, из которых они вполне сознательно ткали сеть решений и мотивов действий — так их историческое сознание и историографические свершения обретали форму, плотность и силу (Ward, 2001: 347).

Принципиально важно, что эксперименты с модальностями, которые Стрювер находит у Вико, не были характерны только для него одного: у целого ряда логиков и политических писателей барочного века эти тенденции облекались в форму особых проектов «моральной силлогистики» или «моральной логики» (контекст, в викианских штудиях Кроче напрочь отсутствующий). Самым известным представителем этого направления можно считать старшего современника Вико, цистерцианского интеллектуала, епископа Виджевано Хуана Карамуэля-и-Лобковица (1606–1682). В случае Карамуэля необходимость построения особой моральной логики мотивировано его неприятием «натуралистической иллюзии» (*naturalistic fallacy*), т. е. возможности выведения обязательства из факта.

Пожалуй, впервые термин *naturalistic fallacy* для анализа «моральной диалектики» Хауана Карамуэля Лобковица использовал Якоб Шмуц (Schmutz, 2008). В своей статье Шмуц показал, как великий лувенский полигистор саламанкской выучки разрабатывает собственную,

параллельную аристотелевской моральную логику со своими фигурами и модусами силлогизмов, а также онтологию моральных сущих (*entia moralia*), обладающую собственным набором предикаментов (так, например, аристотелевскую категорию обладания (*echein*) следует расщепить на три: естественного, искусственного и морального обладания). Заметим, кстати, что такие разные, никак между собой не связанные исследователи, как историк схоластики Свен Кнебель и Нэнси Стрювер, определили «расщепление модальности» и тематизацию моральной возможности/необходимости как едва ли не центральное, но оттого и ускользающее от взгляда историка идей событие интеллектуальной жизни XVII столетия: Кнебель характеризует трихотомию модальных категорий (*metaphysice, physice, moraliter*) — вспомним, кстати, что именно из этих трех книг должна была состоять «О наидревнейшей мудрости италийцев» Вико — в терминах Фуко как «историческое априори схоластического дискурса» (Knebel, 2003), в то время как Стрювер определяет контингентность уже словами Коллингвуда как «абсолютную предпосылку» (*absolute presupposition*). В этой точке сошлась скоттистская теология радикальной контингентности, его же «семантика возможных миров» и крушение аристотелевско-цицеронианского нецесситаризма (по Стрювер, тремя главными фигурами-вехами на этом пути были Петрарка, Лоренцо Валла и Макиавелли). Центральное положение, из которого исходит Карамуэль (определенное в черновом издании «Моральной теологии» 1645 г. как *hypothesis fundamentalis*): «надлежит философствовать о моральных предметах морально, о реальных же — реально» (*oportet de moralibus moraliter philosophari, sicut de realibus realiter [de physicis physice]*). В противоположность многим барочным теоретикам политических наук, находившим подлинный метод политики в «Риторике» и «Топике» Аристотеля — метод, для которого базовыми категориями были эпихейрема (силлогизм, обе посылки которого представляют собой энтимемы), топос и энтимема (силлогизм с пропущенной посылкой) — Хуан Карамуэль в своей моральной и политической логике ориентировался на модель аристотелевских аналитик. Вот, к примеру, мнемонические названия новых силлогистических модусов по Карамуэлю (Carameuel, 1680: 272):

FALLITIS *ponti* PLACIDI MAGISTRI:
Concha MUGIVIT PARIDIS PUDICI,
Ranca dum classem RAPIDI CAMILLINOBILIS *armas*

А вот пример «морального силлогизма» (модус FALLITIS, аналог модуса Darii 1-й фигуры категорического силлогизма у Аристотеля) (Caramuel, 1680: 272):

В моральном и каноническом смысле ни одну женщину не следует допускать к занятию общественных должностей.

Феодосия — женщина.

Следовательно, в моральном и каноническом смысле не подлежит сомнению (certum), что Феодосию не следует допускать к занятию общественных должностей.

Предпосылки этого силлогизма (женское легкомыслие, неумение женщин хранить тайну) универсальны не в метафизическом, а в моральном смысле; недаром Лобковиц следует правилам риторического нахождения, ссылаясь на позитивное (каноническое) право и испанскую поговорку (общее место): *El consejo de la mujer es poco, y quien le toma loco* («Женский совет легковесен, и глуп тот, кто его принимает»).

Несмотря на кажущуюся чуждость Вико дискуссиям о пробабиллизме, свободной воле, возможных мирах и «тройственной необходимости», есть целый ряд мест, которые побуждают признать релевантной для него эту проблематику. Так, в одном известном фрагменте Вико определяет задачу своей науки как «научную критику человеческого произвола», в другом же — называет «случай и выбор» «владыками дел человеческих» (*occasio et electio dominae rerum humanarum*). Хрестоматийно известна апология *правдоподобного* (*verosimile*) в лекции «О методе преподавания и изучения наук в наше время» (1709 г.), хотя она и помещена здесь не в контекст пробабиллистских споров, а в контекст противостояния критики и топики. Менее известны высказывания Вико о «вероятном» (*probabile*), однако по крайней мере одно значимое место можно найти в переписке (Vico, 1993: 128):

Из ненависти к Вероятному во Франции Христианская Мораль закоснела в неколебимой суровости, а по соседству, на Севере Европы и в значительной части Германии всякий счел за правило считать собственный дух божественным мерилom тех вещей, в которые надлежит верить. Картезий увидел в этом прекрасную возможность для упражнения своих удивительных талантов и в результате длительных и глубоких изысканий разработал Метафизику, состоящую в услужении у Необходимости, и сделал мерилom истины идею, приходящую к нам от Бога, которую он, впрочем, нигде точнее не определил.

Поэтому у самих Картезианцев нередко случается так, что одна и та же идея одному представляется ясной и отчетливой, а другому — темной и смутной¹⁰.

Можно ли найти какой-то аналог «моральной онтологии» Карамуэля у Вико? На наш взгляд, да. Прежде всего, сам неаполитанский философ в своем толковании изображения, помещенного на фронтисписе «Новой науки», указывает: «Метафизика познает провидящего Бога в общественных моральных вещах, т. е. в гражданских обычаях». Тем самым предмет «новой науки» — «гражданские моральные предметы» (*cose morali civili*), что можно было бы вполне передать на схоластической латыни как *entia moralia*. Но сходство на этом не заканчивается. Подобно моральным сущим у Карамуэля, занимающими промежуточное положение между *entia realia* и *entia rationis*, социальные институты являются у Вико особого рода *фикциями*. По Вико, после Потопа лишившиеся разума, социальности и языка потомки Ноя разбрелись по «великому лесу земли» и были возвращены к цивилизации экстраординарным действием «естественного Провидения» — явлением молнии, которую первобытное сознание интерпретировало как эпифанию «устрашающего божества». Так, первое моральное сущее, порождаемое воображением гигантов в момент первой слепотопной грозы, — фиктивная идея божества. Особенно важна здесь категория правовых фикций у Вико и Карамуэля — прежде всего потому, что она вновь вводит в игру незамечаемую «абсолютную предпосылку» модальности. Категория правовой фикции важна для Вико, поскольку ее появление стало признаком смягчения древних суровых нравов и перехода к «человеческим» временам. На фикции, имитации насилия построены все правовые институты римского права — манципация, узукапия, обязательство, виндикация и т. д. — представляющие собой, согласно Вико, транспонирование архаического насилия в сферу фикционального, основанное на принципе подражания

¹⁰ «In odio della Probabile s'irrigidisce in Francia la Cristiana Morale, e dal vicino Settentrione, e gran parte della Germania, lo spirito interno di ciascheduno si fa divina regola della cose che si deon credere. Vede il Cartesio il tempo di far uso de'suoi meravigliosi talenti, e de' lunghi e profondi suoi studi, e lavora una Metafisica in ossequio della Necessità, e stabilisce per regola del vero l'idea venutaci da Dio, senza mai definirla: onde tra essi Cartesiani medesimi sovente avviene che una stessa idea per uno sarà chiara e distinta, oscura e confusa per l'altro». Кроме того, двое из учителей Вико, о которых он упоминает в своей автобиографии, Франческо Верде и Джузеппе Риччи, были активными участниками пробабилистских дискуссий, а Верде даже написал специальный трактат о фундаментальной теологии Хуана Карамуэля. Подробнее об этом см.: Piro, 2014.

(*Imitationes violentiae: mancipatio, usucapio, usurpatio, obligatio, vindictio, manus consortio, conditio* (*De uno* I CXXIV); именно использование «фиктивного насилия» позволило перейти от железного формульного гражданского права к гуманной «справедливости» (*aequitas*). Отступление от божественной необходимости — фатума — в пользу «возможных сценариев» (*possible plots*) юридических фикций открывает, по Вико, путь от сурового героического права к праву человеческому. По точному замечанию Стефании Сини, использование *fictio juris* задает «горизонт возможностей» (*horizon of possibilities*) человеческих действий; в этом смысле не будет преувеличением сказать, что человеческая история как «история свободы» рождается, по Вико, из фикции (Sini, 2014). Характерным образом историки римского права в совершенном согласии с исследователями Вико используют для характеристики механизма действия юридических фикций ту же категорию — *as si* (*als ob*; как если бы), что и Хуан Карамуэль (Galgano, 2010: 22–35). Более того — ключевая категория викианской «науки», здравый смысл наций, может быть переведена на язык фикциональной юриспруденции Карамуэля как гипотеза, введенная «или всем родом человеческим, или народом, или нацией, или иной общностью», — главное же отличие в том, что у Вико эта гипотеза вводится «без всякой рефлексии», а об общем благе заботится не законодатель, а Божественное Провидение.

Таким образом, мы видим, что возвращение «формул эквивалентности» Кроче («история как действие», «необходимость как свобода») у Стрювер никоим образом не было «возвращением того же самого». Вместо того, чтобы рассматривать Вико проспективно, в свете идеалистической философии, оперирующей диалектическим методом, модальная риторика или (потенциально) история идей в духе Кембриджской школы возвращает неаполитанского философа его собственному времени. Исследовательские интуиции, такие как прагматический поворот, новая риторика, возникновение логики речевых актов и обновление логики модальной, развивались скорее, опираясь на философию и гуманитарную теорию XX столетия, чем на принципы исторического исследования, поэтому они могли показаться (и казались) многим цеховым историкам раннего Нового времени анахронизмом, в конечном итоге [исследовательские интуиции] обретали совершенно неожиданное подтверждение в самом анализируемом материале (е. г., «модальной риторике» Стрювер внезапно находилось соответствие в «моральной логике» Хуана Карамуэля). Именно это встречное движение теории и истории, чреватое неожиданными открытиями в духе *serendipity*,

позволяет видеть в историографии раннего Нового времени продуктивный ресурс обновления гуманитарной теории и философии. Однако продуктивность эта связана не с обретением философией духа респектабельной генеалогии, а с актуализацией упущенных возможностей в самом устройстве научного и философского исследования в Новое время (*missed opportunity in modern inquiry*, по Стрювер).

ЛИТЕРАТУРА

- Данто А. С.* Аналитическая философия истории / пер. с англ. Л. Б. Макеевой. — М. : Идея-Пресс, 2002.
- Кекерманн В.* Комментарий о природе и свойствах истории / пер. с лат. В. Л. Иванова // Кроме Декарта : размышления о методе в интеллектуальной культуре Европы раннего Нового времени / под ред. Ю. В. Ивановой, П. В. Соколова. — М. : Квадрига, 2014. — С. 218–259.
- Кроче Б.* История как действие // Антология сочинений по философии / пер. с итал. С. Мальцевой. — СПб. : Пневма, 1999а. — С. 228–230.
- Кроче Б.* Макиавелли и Вико // Антология сочинений по философии / пер. с итал. С. Мальцевой. — СПб. : Пневма, 1999б. — С. 126–131.
- Кроче Б.* Неизвестная страница последних месяцев жизни Гегеля // Антология сочинений по философии / пер. с итал. С. Мальцевой. — СПб. : Пневма, 1999с. — С. 84–100.
- Beduhn J. D.* The Historical Assessment of Speech Acts : Clarifications of Austin and Skinner for the Study of Religions // Method and Theory in the Study of Religion. — 2000. — Vol. 14, no. 1. — P. 84–113.
- Camporeale S. I.* Lorenzo Valla : The Transcending of Philosophy Through Rhetoric // Romance Notes. — 1990. — Vol. 50, no. 3. — P. 269–284.
- Caramuel J.* Moralis seu politicae logicae liber secundus. — Viglevani : Typis Episcopilibus, 1680.
- Couzinet M. D.* Histoire et méthode à la Renaissance : Une lecture de la Methodus de Jean Bodin. — Paris : Vrin, 1996.
- Croce B.* Filosofia della pratica. Vol. 3. — Bari : Laterza, 1909.
- Croce B.* La filosofia di Giambattista Vico. — Bari : Laterza, 1922.
- Curtius E. R.* Begriff einer historischen Topik // Toposforschung / hrsg. von M. L. Baumer. — Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973. — S. 1–18.
- Galgano F.* Le insidie del linguaggio giuridico. — Bologna : Il Mulino, 2010.
- Gram M. S., Martin R. M.* The Perils of Plenitude : Hintikka Contra Lovejoy // Journal of the History of Ideas. — 1980. — Vol. 41, no. 3. — P. 497–511.
- Hintikka J.* Gaps in the Great Chain of Being : An Exercise in the Methodology of the History of Ideas // Proceedings of the American Philosophical Association. — 1975–1976. — 1976. — Vol. 49. — P. 22–38.

- Ježić L. F.* Viewing Vico within German Idealism : On Jacobi's Comparison of Vico with Kant and with Schelling's System of Identity // *Synthesis philosophica*. — 2015. — Vol. 60, no. 2. — P. 243–250.
- Knebel S.* The Renaissance of Statistical Modalities in Early Modern Scholasticism // *The Medieval Heritage in Early Modern Metaphysics and Modal Theory, 1400–1700* / ed. by R. L. Friedman, L. O. Nielsen. — Dordrecht : Kluwer, 2003. — P. 231–251.
- Lovejoy A. O.* The Thirteen Pragmatisms // *The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods*. — 1908. — Vol. 5. — P. 29–39.
- MacIntyre A.* *After Virtue : A Study in Moral Theory*. — London : Duckwoth, 1985.
- Nuzzo E.* *Tra religione e prudenza : La «filosofia pratica» di Giambattista Vico*. — Rome : Edizioni di storia e letteratura, 2007.
- Piro F.* Illusioni e delusioni del libero arbitrio nell'età da Molina a Vico // *Le «borie» vichiane come paradigma euristico : Hybris dei popoli e dei saperi fra moderno e contemporaneo* / a cura di R. Diana. — Napoli : ISPF, 2014. — P. 157–190.
- Schmutz J.* Caramuel on Naturalistic Fallacy // *Juan Caramuel Lobkowitz : The Last Scholastic Polymath* / ed. by P. Dvořák, J. Schmutz. — Pířbram : Filosofia, 2008. — P. 45–70.
- Sini S. I.* The Fictive Persons of a Serious Poem : On Vico's Anthropology of "Literature" // *Investigations on Giambattista Vico in the Third Millennium : New Perspectives from Brazil, Italy, Japan and Russia* / ed. by J. V. Ivanova, F. Lomonaco. — Rome : Aracne editrice, 2014. — P. 199–215.
- Struever N. S.* *Topics in History // History and Theory*. — 1980. — Vol. 19, no. 4. — P. 66–79.
- Struever N. S.* *Rhetoric, Modality, Modernity*. — Chicago : Chicago UP, 2009.
- Tessitore F.* *Vico tra due storicismi // Il pensiero*. — 1968. — N. 3. — P. 217–227.
- Vico G.* *Epistole* / a cura di M. Sanna. — Napoli : Morano, 1993.
- Ward J. O.* *Rhetoric : Disciplina or Epistemology? Nancy Struever and Writing the History of Medieval and Renaissance Rhetoric // Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History : Essays in Honor of Nancy S. Struever* / ed. by J. Marino, M. Schilt. — Rochester : University of Rochester Press, 2001. — P. 347–374.
- Warnick B.* *Two Systems of Invention : The Topics in the Rhetoric and the New Rhetoric // Rereading Aristotle's Rhetoric* / ed. by A. G. Gross, A. E. Walzer. — Carbondale : Southern Illinois UP, 2000. — P. 107–129.

Ivanova, Yu. V., and P. V. Sokolov. 2020. "Istoricheskiy metod ot rozhdeniya k vozrozhdeniyu (ot grazhdanskoj nauki k modal'noj ritorike) [The Historical Method: From Genesis to Revival (From the Civil Science to the Modal Rhetoric)]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 15–35.

YULIYA IVANOVA

LEADING RESEARCH FELLOW

POLETAYEV INSTITUTE FOR THEORETICAL AND HISTORICAL STUDIES
IN THE HUMANITIES (MOSCOW, RUSSIA); ORCID: 0000-0002-6847-2595

PAVEL SOKOLOV

LEADING RESEARCH FELLOW

POLETAYEV INSTITUTE FOR THEORETICAL AND HISTORICAL STUDIES
IN THE HUMANITIES (MOSCOW, RUSSIA); ORCID: 0000-0001-5817-2671

THE HISTORICAL METHOD: FROM GENESIS TO REVIVAL (FROM THE CIVIL SCIENCE TO THE MODAL RHETORIC)

Submitted: July 29, 2020. Reviewed: Aug. 20, 2020. Accepted: Sept. 19, 2020.

Abstract: This study deals with two strategies of approaching the early modern epistemology of *Gesteswissenschaften*, the first of which sees in them the anticipation of historicism in the 19th – early 20th centuries, and the second — a precedent for turn to rhetoric and contingency, similar to the rhetorical turn in some areas of the theory of humanities in the mid-20th century. The starting point of the study is Benedetto Croce's view of the philosophy of the Neapolitan philosopher Giambattista Vico (1668–1744) as a prelude to romanticism ("the nineteenth century in nuce"; "il romanticismo fu vichiano"): Croce's conception is considered as a representative sample of the presentist appropriation of the Baroque civil science. This concept is contrasted with the theoretical historiography of the early modern times, which seeks in the "sciences of contingency" a resource of the renewal of the topical theory of humanities: a special emphasis is placed on Nancy S. Struever's modal rhetoric. It is demonstrated that this latter strategy contributed to free the philosophy of the Neapolitan thinker from anachronistic readings in the vein of romanticism and to replace it in its own time.

Keywords: Croce, Vico, Absolute Historicism, Modal Rhetoric, Contingency, Topic, Pragmatism.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-15-35.

REFERENCES

- Beduhn, J. D. 2000. "The Historical Assessment of Speech Acts: Clarifications of Austin and Skinner for the Study of Religions." *Method and Theory in the Study of Religion* 14 (1): 84–113.
- Camporeale, S. I. 1990. "Lorenzo Valla: The Transcending of Philosophy Through Rhetoric." *Romance Notes* 50 (3): 269–284.
- Caramuel, J. 1680. *Moralis seu politicae logicae liber secundus* [in Latin]. Viglevani: Typis Episcopilibus.
- Couzinet, M. D. 1996. *Histoire et méthode à la Renaissance: Une lecture de la Methodus de Jean Bodin* [in French]. Paris: Vrin.
- Croce, B. 1909. *Filosofia della pratica* [in Italian]. Vol. 3. Bari: Laterza.
- . 1922. *La filosofia di Giambattista Vico* [in Italian]. Bari: Laterza.
- . 1999a. "Istoriya kak deystviye [L'histoire comme pensée et comme action]" [in Russian]. In Croce 1999, 228–230.

- . 1999b. "Machiavelli i Viko [Machiavelli e Vico]" [in Russian]. In Croce 1999, 126–131.
- . 1999c. "Neizvestnaya stranitsa poslednixh mesyatsev zhizni Gegelya [Una pagina sconosciuta degli ultimi mesi della vita di Hegel]" [in Russian]. In Croce 1999, 84–100.
- Curtius, E. R. 1973. "Begriff einer historischen Topik" [in German]. In *Toposforschung*, ed. by M. L. Baeumer, 1–18. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Danto, A. C. 2002. *Analiticheskaya filosofiya istorii [Analytical Philosophy of History]* [in Russian]. Trans. from the English by L. B. Makeyeva. Moskva [Moscow]: Ideya-Press.
- Galgano, F. 2010. *Le insidie del linguaggio giuridico* [in Italian]. Bologna: Il Mulino.
- Gram, M. S., and R. M. Martin. 1980. "The Perils of Plenitude: Hintikka Contra Lovejoy." *Journal of the History of Ideas* 41 (3): 497–511.
- Hintikka, J. 1975–1976. "Gaps in the Great Chain of Being: An Exercise in the Methodology of the History of Ideas." *Proceedings of the American Philosophical Association* 49:22–38.
- Ježić, L. F. 2015. "Viewing Vico within German Idealism: On Jacobi's Comparison of Vico with Kant and with Schelling's System of Identity." *Synthesis philosophica* 60 (2): 243–250.
- Keckermann, B. 2014. "Kommentariy o prirode i svoystvakh istorii [De natura et proprietatibus historiae commentarius]" [in Russian]. In *Krome Dekarta [Beyond Descartes] : razmyshleniya o metode v intellektual'noy kul'ture Yevropy rannego Novogo vremeni [Reflections on Method in the Intellectual Culture of Early Modern Europe]*, ed. by Yu. V. Ivanova and P. V. Sokolov, trans. from the Latin by V. L. Ivanov, 218–259. Moskva [Moscow]: Kvadriga.
- Knebel, S. 2003. "The Renaissance of Statistical Modalities in Early Modern Scholasticism." In *The Medieval Heritage in Early Modern Metaphysics and Modal Theory, 1400–1700*, ed. by R. L. Friedman and L. O. Nielsen, 231–251. Dordrecht: Kluwer.
- Lovejoy, A. O. 1908. "The Thirteen Pragmatisms." *The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods* 5:29–39.
- MacIntyre, A. 1985. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. London: Duckwoth.
- Nuzzo, E. 2007. *Tra religione e prudenza: La "filosofia pratica" di Giambattista Vico* [in Italian]. Rome: Edizioni di storia e letteratura.
- Piro, F. 2014. "Illusioni e delusioni del libero arbitrio nell'età da Molina a Vico" [in Italian]. In *Le "borie" vichiane come paradigma euristico : Hybris dei popoli e dei saperi fra moderno e contemporaneo*, ed. by R. Diana, 157–190. Napoli: ISPF.
- Schmutz, J. 2008. "Caramuel on Naturalistic Fallacy." In *Juan Caramuel Lobkowitz : The Last Scholastic Polymath*, ed. by P. Dvořák and J. Schmutz, 45–70. Příbram: Filosofia.
- Sini, S. I. 2014. "The Fictive Persons of a Serious Poem: On Vico's Anthropology of 'Literature'." In *Investigations on Giambattista Vico in the Third Millennium : New Perspectives from Brazil, Italy, Japan and Russia*, ed. by J. V. Ivanova and F. Lomonaco, 199–215. Rome: Aracne editrice.
- Struever, N. S. 1980. "Topics in History." *History and Theory* 19 (4): 66–79.
- . 2009. *Rhetoric, Modality, Modernity*. Chicago: Chicago UP.
- Tessitore, F. 1968. "Vico tra due storicismi" [in Italian]. *Il pensiero*, no. 3: 217–227.
- Vico, G. 1993. *Epistole* [in Italian]. Ed. by M. Sanna. Napoli: Morano.
- Ward, J. O. 2001. "Rhetoric: Disciplina or Epistemology? Nancy Struever and Writing the History of Medieval and Renaissance Rhetoric." In *Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History : Essays in Honor of Nancy S. Struever*, ed. by J. Marino and M. Schilt, 347–374. Rochester: University of Rochester Press.
- Warnick, B. 2000. "Two Systems of Invention: The Topics in the Rhetoric and the New Rhetoric." In *Rereading Aristotle's Rhetoric*, ed. by A. G. Gross and A. E. Walzer, 107–129. Carbondale: Southern Illinois UP.

АЛЕКСЕЙ РУТКЕВИЧ*

НАСЛЕДИЕ ИСТОРИЗМА**

Получено: 15.06.2020. Рецензировано: 18.07.2020. Принято: 13.09.2020.

Аннотация: Термин «историзм» употребляется сегодня в двух главных значениях: характеристика исторического сознания («принцип историзма») и обозначение интеллектуального течения в европейской мысли XIX–XX вв., представленного трудами как занятых историей мысли философов, так и ведущих историков эпохи. Главным его источником был немецкий романтизм, оказавший воздействие и на историю мысли, и на «исторические школы» права и национальной экономики. Определяющими чертами историзма были утверждение инаковости прошлого, идеализм (философия духа) и противопоставление особого метода исторического знания методу объяснения в науках о природе. Такая оппозиция оказалась несостоятельной и отвергнутой развитием исторической науки. Во второй половине XX в. эта наука существенно расширила поле исследований и стала ориентироваться на методы социальных наук. Идея тотальной истории предполагала синтез методов всех наук о человеке. Однако сами эти науки такого единства не образуют, а импорт методов не приводит историю к статусу метагеории. Поле исторических исследований по-прежнему конституируется той разновидностью критического реализма, который считается преодоленным социологией или экономикой. История имеет дело с независимым от всех теоретических конструкций иным, а потому остается описательной наукой, которая определяется особенностями исторического мышления — таково наследие историзма.

Ключевые слова: историзм, романтизм, метод, социальные науки, тотальная история, реализм, скептицизм.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-36-70.

В «Былом и думах» приводятся слова московского естествоиспытателя (упомянутого в «Горе от ума» — «Он химик, он ботаник»), познакомившегося с первыми философскими сочинениями своего кузена Герцена и заявившего, что они писаны «птичьим языком». Примерно так воспринимали и воспринимают занятые эмпирическими исследованиями ученые не только гегельянские диалектические премудрости.

*Руткевич Алексей Михайлович, д. филос. н., профессор, факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва), arutkevich@hse.ru, ORCID: 0000-0003-2845-7830.

**© Руткевич, А. М. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

Благодарности: статья подготовлена в ходе проведения исследования/работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

У них для этого есть основания, причем не только при чтении трактатов, малопонятных и большинству философов. Желаясь приблизиться к научному цеху авторы книг, статей и диссертаций по философии науки чаще всего никогда в своей жизни не занимались эмпирическими исследованиями, но смело пишут нечто о «методологии социальных и гуманитарных наук». М. Вебер заметил, что для ученых «методология всегда является лишь осознанием *средств, оправдавших* себя на практике», а для плодотворной работы они являются предпосылкой не в большей степени, чем знание анатомии — условием нормальной ходьбы.

Более того, так же, как человеку, пытающемуся контролировать свою походку на основе анатомических знаний, грозит опасность споткнуться, подобная угроза встает и перед специалистом, пытающимся определить цель своего исследования, руководствуясь методологическими соображениями (Вебер, Давыдов, 1990: 418).

Науки возникали и развивались независимо от того, что писали и пишут гносеологи и методологи. Занятые решением своих проблем ученые с подозрением относятся к тем сочинениям, в которых утверждается нечто о какой-нибудь «постнеклассической науке» или «социальной эпистемологии» — какое все это отношение имеет к проблемам астрофизика, биохимика или генетика?

Еще в большей степени, чем к физике или биологии, это относится к истории. Ни выведение эмпирической истории из какой-нибудь предсуществующей идеи, ни онтологическое укоренение ее в «предпонимании» и «историчности» не затрагивают «ремесла историка». Нам памятна та социологизация истории, которая принуждала во всем следовать учению о смене формаций («пятичленка») и классовой борьбе как движущей силе истории. Можно вспомнить ироничные суждения Л. П. Карсавина, замечавшего, что «чистые» теоретики вообще отличаются категоричностью и полагают, что история вовсе не должна считаться наукою, если не определила и не усовершенствовала свой метод. Теоретик выдумывает такую новую науку, не заботясь о том, что в нее не желает входить реально существующая историография.

Однако выдуманная им новая наука так и останется теоретическим пожеланием, присоединяясь к другому мертворожденному младенцу — социологии, которая, недолгое время позабавив своих ученых родителей, превратилась в игрушку для дилетантов и любителей, без достаточной подготовки, поговорить о «методах». Историки же теоретика и слушать не станут, а будут продолжать свое дело (Карсавин, 1993: 116).

Примером, свидетельствующим о глухоте сообщества историков к модным философским доктринам, может послужить то, что на деятельность этого цеха не оказала ни малейшего влияния длившаяся три десятилетия активность сторонников «лингвистического поворота», любителей писать слова «текст» и «тело» с заглавной буквы. Моды уходят, а всякий занятый прошлым ученый повторяет давно сказанное: «И это тоже пройдет». Философские доктрины тоже принадлежат истории.

Правда, ходу времени принадлежат и труды историков, причем взгляд в прошлое обнаруживает связь этих сочинений с популярными в каждую эпоху философскими (или богословскими) учениями¹. То, что иные учения были близки здравому смыслу историков — взять хотя бы позитивизм второй половины XIX в. — не отменяет их воздействия на характер не только обобщений, но и самих исследований. Задумавшись, иные историки обнаруживали, что вынуждены обращаться к философским категориям (а заодно осознавали и свое сходство с героем Мольера, узнавшим, что он «говорит прозой»). Научной историография сделалась именно в то время, когда под наукой подразумевалось установление фактов и причинных связей между ними. Самая «бедная» по своему содержанию метафизика, восходящая к номинализму 600-летней давности, оставалась метафизикой: она давала отрицательный ответ на вопросы об умозрении и о выведении должного из сущего, но сами вопросы сохранялись в неприкосновенности. Пересмотр практики, предмета и метода исторических исследований был связан с выходом за пределы этой метафизической нищеты.

HISTORISMUS

Хорошо известен исток множества «рассуждений о методе», уже почти 400-летнем поиске скорейшего и вернейшего достижения научной истины — это труды Бэкона и Декарта, с которых начинается философия Нового времени. Схоластика остается в прошлом, а вместе с нею — и аристотелизм. Из науки и опирающейся на науку философии изгоняется телеология: «В самой природе все совершается механически, и она не преследует никаких целей; что же касается намерений Творца при создании мира, то было бы смешной самонадеянностью желать в них

¹Да и политическими доктринами, причем не только в тех случаях, когда речь идет о сравнительно недавней истории, вроде нашей Гражданской войны. Как заметил Э. Карр, история античной Греции Гроута говорит нам сегодня ничуть не меньше о воззрениях английских радикалов середины XIX в., а история Рима Моммзена — о политических взглядах немецких либералов, нежели о самой античности. См.: Carr, 1964: 36–37.

проникнуть» (Лопатин, 2000: 26). У такого переворота было множество составляющих, в том числе и недоверие к тем умозрениям, которые недостоверны, плодят пустые споры, из которых затем рождаются и конфликты, перерастающие из богословских прений в мятежи и войны. Можно сравнить первые страницы труда Гоббса «О гражданине» с опережающими их на полтора века записями Леонардо да Винчи: оба предлагают путь соединения опытных наук с математикой, тогда как вымыслы и сумбур являются долей «софистических наук — наук, которые учат лишь вечному крику» (да Винчи, Губер и Зубов, 1998: 128). Образцовой наукой на протяжении трех столетий была механика, а в последние десятилетия XIX в. — применительно к возникающим социальным наукам — к ней присоединяются эволюционная биология (в версии как Дарвина, так и Спенсера) и политическая экономия. Если воспользоваться выражением М. Фуко, такова «дискурсивная формация» в то время, когда история превращается в науку. Это легко увидеть и в случае либеральной *Whig history*, и в случае исторического материализма II Интернационала.

Научной история сделалась независимо от философских дебатов: этому поспособствовало развитие ряда вспомогательных дисциплин, которые сегодня объединяются «под шапкой» источниковедения. Внешняя и внутренняя критика источников начиналась с дипломатики (бенедиктинцами во второй половине XVII в.), но затем распространилась на более широкий круг документов, дабы различать, как писал Ле Нэн де Тильмон, «что могло быть написано в какое-то время, а что от него весьма далеко» (Bourdé, Martin, 1983: 91), поскольку более поздние наслоения и трактовки скрывают истину. Процедуры этих монахов и последующих историков-эрудитов были систематизированы в XIX в., например, во французской «методической школе», вершиной усилий которой стало знаменитое «Введение в исторические исследования» Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса (Ланглуа и Сеньобос, Серебрякова, 2004). Четко определив процедуры отбора источников, их критики, дальнейшей реконструкции, историки считали их [эти процедуры] установленными фактами, индуктивно накопленными и объединяемыми в единый процесс подобно тому, как это обстоит в естественных науках.

Начальный пункт рассуждений тех мыслителей, которых мы относим к основоположникам историзма, всякий раз обнаруживается в обособлении естественнонаучного и исторического знания, которое не вмещается в схемы объяснения, подводящего конкретную реальность под тот или иной закон. Процедура объяснения опытно фиксируемого единичного

события происходит через включение его в формулу уже известного закона; мы понимаем конкретное через редукцию его индивидуальных свойств, поскольку интересуется нас это конкретное лишь как частная форма проявления данного закона. Эта процедура дает нам возможность предвидения будущего, прогноза тех следствий, которые вновь будут проистекать из тех же самых причин. Наука в этом смысле практична: *savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir* — эта формула О. Конта превосходно выражает общий дух науки XIX столетия. Такая редукция конкретного всегда лишь отчасти передает его особенности, поскольку вырывает его из контекста, не отражает его собственного содержания, а нередко и подменяет это конкретное той схемой, которая предназначена для технического использования, манипуляции, «овладения» природными процессами ради внешних для них целей.

Термин «историзм» получает широкое распространение в XIX в. для обозначения двух связанных друг с другом явлений: возникшего учения (школы) в историографии и того, что можно назвать историческим сознанием профессиональных историков. Как писал Дж. Тош,

только в первой половине XIX в. все элементы исторического сознания были собраны воедино и воплощены в научной практике, которая стала общепринятым «правильным» методом изучения прошлого. Это было заслугой интеллектуального течения под названием *историзм* (от немецкого *Historismus*), возникшего в Германии и вскоре распространившегося по всему западному миру (Тош, Коробочкин, 2000: 16).

Автор другого популярного в англоязычном мире введения в историческую науку Э. Карр прямо называет способствовавшее переходу от наивного позитивизма с его «фетишизмом фактов» к современной историографии учение «философией истории» (Carр, 1964: 20–21). Это в целом верно, хотя наряду с философами (В. Дильтеем, В. Виндельбантом, Б. Кроче, Х. Ортегой-и-Гассетом, Р. Дж. Коллингвудом) в этом переходе участвовали видные историки (Л. фон Ранке, Й. Дройзен, Э. Трёлльч, Ф. Мейнеке и др.). Можно сказать, что осмысление отличия историографии от естествознания одновременно начали Дильтей и Дройзен, хотя у них было немало предшественников, первыми из которых можно считать с Дж. Вико и И. Г. Гердера. Однако непосредственными источниками историзма являются немецкий романтизм и философия истории Гегеля. Их идеи вошли в то единство философских категорий и исторических построений, которое немцы назвали *Historik*, а англичане перевели как *metahistory*.

Уже ряд мыслителей эпохи Просвещения видели в истории процесс, устремленный к росту разума и свободы: в философии истории Канта и Фихте эти идеи получили «классический» вид, а вершиной этого умозрительного рассмотрения истории была философия Гегеля. Романтизм нередко считают движением «Контрпросвещения» (И. Берлин), и для этого имеются некоторые основания. Не вдаваясь в детали, можно отметить, что главное различие между гегелевской философией истории и романтизмом лежит в разном понимании отношения возможного и действительного. Для Гегеля все прежние возможности осуществились в действительном, предшествующие ступени «сняты» в осуществившемся и к ним нет возврата — «Феноменология духа» есть воспоминание о пройденных этапах развития. Для романтиков творческий хаос возможностей сохраняется, прошлое продолжает жить и способно неожиданно воскреснуть. Они ищут поправки к настоящему, которое не принимается на веру.

Нужно установить, все ли лучшие силы былого развития в него вошли, а если не вошли, то как их туда вернуть. Позднейшее не всегда есть полная победа над силами минувшего, иное в минувшем тоже стоит почета и охраны (Берковский, 2001: 28).

Ироничный взгляд на прогресс у романтиков связан и с тем, что чаще всего о движении «все выше и выше» говорили «ставшие всем» дельцы, а вершиной непрестанной болтовни о продвижении к «свету» сделались парламентские речи и газетные статьи. С иронией смотрели романтики и на пантеистическую тотальность истории, пронизанную разумом и движущуюся к установленной этим разумом цели. Если Бог и присутствует в истории, то он не делился сведениями о способе присутствия с впадшими в гордыню немецкими профессорами — эта ирония ощутима и в позднейших «сведениях счетов» с гегелевской философией истории у С. Кьеркегора².

Дело не в ностальгии романтиков по Средневековью, хотя они способствовали началу серьезного пересмотра просветительского пренебрежительного взгляда на «темные века». Каждая эпоха и всякое

² Сделавшийся имманентным принципом человеческой истории Бог в такой картине занимает место «солидного чиновника, восседающего на небесах, но ничего не способного предпринять, — так что никто не обращает на него никакого внимания, — раз уж предполагается, что он способен воздействовать на индивида только сквозь плотную толщу опосредующих причин» (Кьеркегор, Исаева и Исаев, 2005: 582). Иначе говоря, отвергается тот Гегель, которого так любят делать своим предшественником многочисленные марксисты.

племя, сословие, деревня, гильдия уникальны, как и наше собственное общество. Г. Зиммель и Э. Трёльч употребляли удачный термин для видения романтиками прошлого в его особенности — «индивидуальная тотальность». Каждая такая целостность — корреляция людей и групп, мыслей и верований, сил и обстоятельств — неповторима и значима сама по себе. Она не была ступенькой на пути к настоящему, не служила идолу «прогресса» и должна постигаться в своем своеобразии, отличии от нам знакомого и привычного. Обращаясь к роли романтизма в становлении исторической науки, Дильтей отмечал стремление к «углублению во все самое чуждое», идею внутренней формы, композиции как «нового вспомогательного средства исторической критики» и разработку герменевтики (Dilthey, 1981: 110–111).

Романтический взгляд на прошлое превосходно выразил П. Мериме в своем предисловии к «Хронике времен Карла IX». Во-первых, он указал на то, что из источников о прошлом ему предпочтительны мемуары, улавливающие характеры действующих лиц, людей давних времен, тех индивидов, которые некогда жили, мыслили и действовали. Во-вторых, ему бросилась в глаза несхожесть представлений и нравов людей прошлого с нашим настоящим. Оценивать их действия (в случае романа Мериме — Варфоломеевской ночи) нужно сообразно убеждениям и ценностям той эпохи, не впадая в морализаторство («вот почему я убежден, что к поступкам людей, живших в XVI веке, нельзя подходить с меркой XIX»). Суждение об одном и том же деянии следует выносить в зависимости от того, в какой стране, в какой период времени оно совершалось. Если прежняя историография была преисполнена благих стремлений дать урок добра и зла, предлагая примеры для настоящего, то теперь ее задача и скромнее, и намного сложнее: она видит в людях прошлого черты, отличающие их от нас самих. Вряд ли Мериме читал труды своего современника, обстоятельного немца Леопольда фон Ранке, но он уловил дух происходивших в то время перемен в историческом знании. Разумеется, изучать авторов древности полезно и для того, чтобы брать пример с героев прошлого, но взгляд историко-филологических штудий XIX столетия сместился от поучений к постижению иного, непохожего на наши убеждения и предрассудки. Если многие века историки раз за разом повторяли мысль Фукидида о том, что судьбы людей и народов повторяются в силу единства человеческой природы, то историческое

сознание современности унаследовало от романтиков представление о неповторимости индивидуальных событий³.

У живших ранее имелись свои не менее и не более узкие, чем у нас, представления о мире. Как заметил в предисловии к антологии испанских писателей П. Менендес Пидаль, понять нужно не то, что делает идеи общими для всех времен, но то, что принадлежало именно этой эпохе, стране, личности; кстати, если мы так уж хотим, чтобы история была *magistra vitae*, то мы лучше начнем различать преходящее и вечное, благонамеренное и дурное в настоящем, научившись понимать границу между ними в эпохи, которые уже канули в Лету (Menendez, 1978: 11). В споре с теми историками, которые подчеркивали неизменность человеческой природы, а тем самым и неизменность основных мотивов хозяйственной деятельности, В. Зомбарт, утверждавший различия «духа» хозяйствующих субъектов, отвечал (Зомбарт, Ал., 2005: 31):

И несомненно, заманчивая задача — понимать и изображать то, что остается неизменным во всей истории человечества. Только, пожалуй, это не задача историка. Ибо писать историю — значит описывать постоянное разнообразие.

Первым признаком историзма становится утверждение инаковости прошлого. Основанием для любого исторического повествования является не только память об ушедшем, усилие воспоминания, но и понимание того, что нечто значимое навсегда ушло и уже не вернется.

Вторым его признаком было то, что история выступала как важнейшая из *Geisteswissenschaften*, причем к «наукам о духе» были отнесены не только история литературы, религии или философии, но и экономика и право («исторические школы» права и национальной экономики). Хотя выражения *Zeitgeist* и *Volksgeist* восходят к Гегелю, в трудах представителей *Historismus* эти «духи» лишились связи с самопостижением абсолютного духа — пантеизм не является более опорой истории. Десакрализация новозаветного «духа» происходила и в «либеральной» протестантской теологии. Как характеризовал это движение впоследствии Р. Бультман, в духе видели «силу морального суждения и поведения, а атрибут „духовный“ понимался как моральная чистота». Историзм увязывали с философским идеализмом, тогда как в возникшей к концу

³Можно сказать, что по своим устремлениям Фукидид был скорее социологом и политологом, нежели историком в современном смысле. Как заметил В. Йегер, главное стремление Фукидида — «превзойти увлеченность чужеродным и иным в однократном событии и постичь лежащий в его основе всеобщий и постоянный закон» (Йегер, Любжин, 2001: 446).

XIX в. так называемой «школе истории религии» трактовка «духа» становится прежде всего психологической (Vultmann, 1964: 52–53). Будь то имеющая дело с текстами филологическая герменевтика или понимающая психология («дивинация» Шлейермахера) — та и другая имеют дело с «духом». Привилегированной областью исследований той эпохи были труды по истории искусства, религии и философии.

Уже романтики дали образцы трудов по истории литературы (скажем, знаменитый курс А. Шлегеля по истории драматического искусства); на протяжении XIX в. в Германии были написаны превосходные исследования по истории человеческой мысли. Сложнее было последовательно держаться «духа» в случае экономики и социологии, возникавшей в те годы «на стыке» исторической школы *Nationaloeconomie* и марксизма⁴. Последовательно «понимающей социологии» держался только Зомбарт, тогда как у М. Вебера обнаруживаются колебания между номотетической и идиографической позициями. Для нас значимо, что труды относительно «духа капитализма» оказались важной точкой перехода к иной историографии: учение о «ментальностях» Л. Февра возникало под прямым влиянием трудов Зомбарта по истории капитализма.

Если историческое бытие есть «поток жизни», некогда бывших мыслей и переживаний (*Erlebnis* Дильтея), то и познание этого потока должно быть адекватным — объяснению естественных наук противопоставляются описание и понимание. Такова третья характерная черта историзма — дуализм, заданный либо самим предметом исследований (живым духом и мертвой природой), либо исключительно в силу применяемого ученым метода (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Стоит иметь в виду, что историзм возникал в непрестанной полемике с натурализмом и позитивизмом. Как писал свидетель этой борьбы Э. Кассирер (Кассирер, Вимер и Кузнецов, 1998а: 43):

Между натурализмом и историзмом не только не могло быть никакого сотрудничества или примирения, но даже взаимного понимания [...] В ходе этой борьбы в большей степени, чем о проблеме познания и учения о методе, речь идет о противостоянии «мировоззрений», в котором едва ли действуют чистые научные аргументы.

⁴Хорошо известны тесные связи Зомбарта с предвоенной социал-демократией, Теннис был социалистом и сделался членом СДПГ, да и М. Вебера нелепо изображать в качестве некоего «анти-Маркса», даже если не подводить его к марксизму на манер А. И. Неусыхина.

Поэтому учение о методе познания в «науках о духе» было явно связано с той аксиомой, что «дух веет, где хочет» и постижим он именно как дух для другого мыслящего и чувствующего существа. Этот метод познания получал разные названия («идиографический», «индивидуализирующий»), науки разделялись по предмету (Дильтей) или по методу (Риккерт), но суть от этого не менялась: основой всей историографии оказывалась биография.

Правда, уже сам Дильтей, сделавший описательную психологию и герменевтику методами историографии *par excellence*, под конец жизни все чаще возвращался к гегелевскому объективному духу: вселенная многообразных связей между индивидами и группами, конечно, принадлежит жизни в самом широком смысле слова, ибо «историческая жизнь есть составная часть жизни как таковой» (Dilthey, 1981: 323), но те целостности, с которыми имеет дело историк, образуют структуры, и только из них мы постигаем индивидуальную жизнь, причем сами эти структуры никак не сводятся к душевной жизни индивидов. Объективации жизни, т. е. экспрессии и плоды деятельности, обладают собственной реальностью, которая своими структурными связями задает рамки индивидуальных переживаний. Разумеется, объективный дух у Дильтея отличен от гегелевского (*ibid.*: 180–185), но попытка обоснования исторической науки посредством понимающей психологии вступает в противоречие со стремлением перейти от эмпатии к истории культур, государств, наций и религий. Прямого пути «вчувствования» к людям прошлого не существует, «вчувствование» далеко не всегда помогает нам даже в понимании современников.

По существу, наследниками Дильтея в сообществе профессиональных историков остаются авторы биографий мыслителей и художников. Еще меньшим оказался для сообщества историков «вес» предложенного неокантианцами баденской школы метода «отнесения к ценности»: быстро обнаружилась искусственность противопоставления наук о природе и наук о культуре, в особенности когда речь идет о науках номотетических — экономике, социологии, демографии — и идиографических: истории, этнографии, филологии. К тому же факты «нагружены ценностями» и в случае естествознания, поскольку факт есть нечто, верить во что — рационально: «Не иметь ценностей значило бы также не иметь фактов» (Патнэм, Дмитриева и Лебедева, 2002: 262). Науки о природе не лишены ценностного измерения, причем в случае некоторых дисциплин — экологии, климатологии — оно оказывается сегодня преобладающим.

Критики такого методологического дуализма не без оснований писали о том, что он является наследием теологического взгляда на особое положение человека в мироздании, каковое пытались сохранить, отвергая «натурализм» в том, что затрагивает «дух» и «культуру» (Albert, 1977: 128). Однако это не отменяет того, что *Historismus* оказал огромное воздействие на несколько поколений историков, да и сегодня термин «историзм» не случайно обозначает некий общий принцип, отличающий историческое сознание.

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Историческое сознание имеется у любого взрослого человека, более того, без памяти о своем прошлом человек лишен самого себя, своей идентичности или «Я». Любое определение сознания и самосознания предполагает память, и наоборот — о памяти мы осмысленно говорим только с учетом сознания. По существу, мы тождественны нашим воспоминаниям о прожитой жизни: только они принадлежат нам безусловно. Это воспоминания о том, чего уже нет; а образы памяти смешиваются с тем, что прибавило воображение: «Мы сотканы из ткани наших снов». Поэт продолжал эту мысль так: «... and our little life is rounded with a sleep» — наши собственные воспоминания пересекаются и сливаются с окружающими их фантазиями других. В этом потоке воспоминаний происходили перемены — мы менялись вместе с окружающими обстоятельствами. Так как мы были и остаемся «общественными животными», то одновременно с нами изменялись другие люди, передававшие нам память о предшествующих поколениях. Не вдаваясь в написанное по поводу сознания и памяти в сотнях трудов философов, психологов, нейрофизиологов и представителей еще ряда наук, мы можем сказать, что историческое сознание прирождено человеку. Можно назвать его вслед за рядом философов историчностью, проистекающей из временности и конечности. Различия между индивидами и группами в степени развития этого сознания определяются множеством социальных условий.

Понятно, что у живущих в природных циклах обитателей племен, а затем и деревень это сознание было чаще всего неразвитым. Веками существовали великие цивилизации, в которых историческое измерение сводилось к мифам о первоначальном времени. Мы можем наблюдать сегодня, как высокотехнологичная цивилизация способствует атрофии исторического сознания, словно она выполняет программу из гимна: «Du passé faisons table rase». Причем делает это с завораживающей быстротой и эффективностью. «В уверенном движении марша, которое ради

некоего неведомого будущего выхолощивает настоящее и обесценивает прошедшее, кроется нечто фантастическое» (Юнгер, Михайловский, 2001: 171). Речь совсем не обязательно идет о малограмотных и обездоленных в рамках такой цивилизации.

Более того, если посмотреть на немалую часть книг по политической и военной истории на прилавках книжных магазинов, то окажется, что они написаны людьми, не просто искажающими прошлое в силу идеологической зашоренности, но и не умеющими мыслить. К этим «письмам темных людей» на темы истории относится большая часть публикаций, нацеленных на пропагандистский эффект и делящих мир на «своих» и «чужих» по заранее предписанным признакам. Это естественно для мира политики да и не ново; скажем, любому испанисту известно, что «черная легенда» по поводу Испании на протяжении трех столетий разворачивалась в протестантских странах, прежде всего англосаксонских, с навязчивыми образами «охоты за ведьмами» и «судов инквизиции», хотя в протестантских землях Германии ведьм сожгли в сотню раз больше, а в Англии число казненных католиков превосходило количество протестантов и марранов, прошедших через суды инквизиции в Испании. Такое сочинительство «легенд» существует и ныне. Прошлое нужно лишь для подкрепления политических целей. «Сегодня в большей степени, чем когда бы то ни было, — писал М. Оукшот, — прошлое представляет собой поле, на которое мы выпускаем наши моральные и политические мнения, словно гончих на луг в воскресный день» (Оукшот, Никифоров, 2002: 151). Исторически мыслить таким «гончим» не требуется.

Историческое мышление, как и любое другое мышление, подчинено законам логики. Мыслить — значит пользоваться понятиями и высказывать суждения. Мысль соотносится с мыслимым, мыслящий субъект нацеливает свои суждения на объект, ставит и решает проблемы, расчлняет и синтезирует данные опыта. Одно описание различных философских и психологических концепций мышления потребовало бы сотни страниц. Применительно к истории можно сказать, что используемый последователями С. Л. Рубинштейна термин «наглядно-образное мышление» характеризует по своей форме мышление историка — даже на уровне научного исследования оно всякий раз выходит за пределы логических операций с понятиями. Основанием теоретической науки является, как писал Кассирер, «чистый понятийный знак», к коему совершается переход от «словесного знака», который еще не оторвался от мира созерцания, от общих представлений. То, как У. Джеймс

понимал соотношение «перцептов» и «концептов», вряд ли вдохновит физика, поскольку лишённые чувственной стороны концепты истолковываются им исключительно инструментально, а понятийная схема мира надстраивается над перцептивной, и есть лишь набор «что», помогающих топографически расположить «это» (Джеймс, Грязнов, 2002: 44–46), но подобное смешение понятий с представлениями характерно для историка.

Применение количественных методов в историографии ограничено; даже включаемые в повествование термины номологических наук чаще всего не утрачивают связи с естественным языком. Такие термины, как «формация» или «цивилизация», «сословие» или «город» не обладают строгостью естественно-научных понятий. В отличие от физика, однозначно определяющего свои термины («масса», «пи-мезон» и т. п.), историк говорит не о «городе вообще», а об античном полисе, отличающемся от Александрии и Антиохии времен диадохов, не говоря уж о древнем Уре или Лондоне времен Диккенса. Достаточно вспомнить начальные страницы очерка М. Вебера «Город», чтобы оценить это многообразие (Вебер, Гервс, 2001: 333–486).

Использование повседневного языка, обращение к мыслям и страстям людей роднят историка с литератором. Иные историки были замечательными стилистами — читать их не только полезно, но и приятно. А среди писателей мы легко найдем тех, кто обладал способностью передавать ход времени, причем речь идет не обязательно об авторах исторических романов. Историческое сознание Набокова или Бунина, возвращающихся к переживаниям детства и юности в «Других берегах» и «Жизни Арсеньева», воссоздает и картину России конца XIX — начала XX вв. Отличие историка в том, что он занят познанием прошлого, желает получить неопровержимую его картину и соблюдает конвенции, принятые в его дисциплине.

Историческое мышление есть необходимая предпосылка познания, целью которого является точное знание. Только мыслить мы можем все, что угодно, от «золотой горы» до писавших «Велесову книгу» ариев или «русских» этрусков. Повествование должно быть внутренне непротиворечивым, связным, но оно может быть чистой фантазией (скажем, «Сильмариллион» Толкиена) или иметь лишь отдаленное отношение к истории. Возьмем для примера литературное произведение, в котором явственны как историческое сознание, так и историческое мышление — «Искендер-наме» Низами. Поэт XII в. был одним из наиболее образованных людей своего времени, он обращался к давнему прошлому,

сознавая, что говорил об ушедшей эпохе, т. е. мыслил он исторически. Но он воспроизводил обрывки сведений об Александре Македонском и дополнял их своей фантазией, а потому возглавлял его герой «румийцев» (т. е. «ромеев», известных ему византийцев), а сражался он в том числе и с Русами, причем в союзе с Хазарами. Будучи образованным арабо-мусульманскими философами, Низами помнил, что учителем царя был Аристотель, споривший с Платоном, а потому повествовал в своих стихах, как по итогу публичного диспута Александр отдает первенство Платону, а потом царь беседует еще и с «отшельником Сократом» (до нас все же дошел образ спорщика на улицах и площадях Афин). Эта замечательная поэма может служить для нас источником, позволяющим судить не об Александре или древнегреческих философам, а об уровне исторических знаний в тогдашнем исламском мире. Равно как и о том, что познанием прошлого тогда не занимались.

Способность исторически мыслить воспитывается. Она не сводится к «вчувствованию», хотя эмпатия является важным аспектом отношения к истории.

Умение понимать характер людей, знание того, как они обычно реагируют друг на друга, способность «проникать» в их мотивы, принципы, ход мыслей и чувств (а это не в меньшей степени применимо и к поведению масс, и к развитию культуры) — это таланты, необходимые историкам, они не нужны ученым-естественникам (или нужны им не в такой степени). Способность познания, чем-то похожая на способность познания чужого характера или способность узнавать лицо, столь же важна для историков, как знание фактов (Берлин, Сапов, 2002: 68).

Такое мышление предполагает реализм, учет природы людей, которые требуются не только деятелю, но и тому, кто исследует прошлое. Начиная писать «Государя», Макиавелли говорил об огромности дистанции между тем, как люди живут и как они должны были бы жить, а потому тот, кто отвергает действительное ради должного, вредит себе и погибает, сталкиваясь с множеством преследующих свои интересы лиц; склонный к идеализации того или иного периода, народа, класса и даже героя историк утрачивает ту ясность видения, которая служит объективности рассказа. Но вырабатывается такая объективность опытом понимания не исторических персонажей, а окружающих людей, его современников. Немцы называют ее *Menschenkenntniss*, но можно именовать ее и рассудительностью, здравомыслием, каковые полагались в античности одной из основополагающих добродетелей — *φρόνησις* — той

«практической мудрости», которую Цицерон определял как «знание того, к чему надо стремиться, и того, чего надо избегать». Другой не менее важной чертой исторического взгляда на мир является скептицизм, рождающийся из того же здравого смысла: почти все доступные нам источники (исключим данные археологии) созданы людьми с их интересами, страстями и предрассудками, которые отличаются от наших собственных — не менее сомнительных.

Наконец, есть еще одна особенность деятельности историка, отличающая его не только от естествоиспытателя, но и от представителя социальных наук. Как заметил Кассирер (Кассирер, Вимер и Кузнецов, 1998b: 661),

именно богатство и разнообразие, глубина и интенсивность своего собственного личного опыта — отличительная черта большого историка. Без этого труды останутся бесцветными и безжизненными [...] Последовательно вытравляя из рассказа признаки своей индивидуальной жизни, историк не может таким путем достичь высшей объективности. Наоборот, таким образом он может лишь уничтожить в себе лучшее орудие исторической мысли. Притушив свет своего собственного личного опыта, я перестаю замечать опыт других и не могу судить о нем.

Без опыта политики в своем времени историк мало что поймет в борьбе Мария и Суллы или в гражданской войне в Испании. Не имевшему опыта философствования не стоит заниматься историей философии. Однако все это относится к предпосылкам исторического познания, но не к нему самому.

ПОЗНАНИЕ ПРОШЛОГО

Познание есть отношение нашего сознания к миру, это деятельность, результатом которой является знание. Познавая, мы движемся от данных опыта к тому, что способно их объяснить, от *evidence* к *inference*. Такая деятельность ума была свойственна уже первобытному человеку, решавшему практические задачи. Знания требовались и строителю пирамид, и навигатору, и торговцу. Практические цели направляли и то знание, которое касалось других людей: чтобы общаться с иноплеменником, нужно знать чужой язык, чтобы управлять поселением, необходимо знание о потребностях и верованиях его обитателей и т. д. Над практически ориентированной познавательной деятельностью возвышается знание о мире в целом. Человеческий ум всякий раз обнаруживает, что

он сталкивается с внешней для него реальностью, и с детства учится различать только кажущееся и действительное. Вопрос об истине ставится и в мифологии, и в искусстве; опыт священного в религии отделяет исполненную подлинным смыслом реальность от преходящего и лишённого такого смысла. Философское умозрение ставит эти вопросы уже на уровне абстрактных понятий и порождает ряд частных наук. Вопрос о методе возникает вместе с разграничением «пути истины» и «пути мнения».

Хотя возникновение историографии в Древней Греции в меньшей мере связано с философией, чем у прочих наук, вопрос об обоснованности знания ставил уже Фукидид, испытавший несомненное влияние тогдашних софистов. Рассказ историка о прошлом притязает на истинность, а это предполагает опору на факты, полученные посредством интерпретации источников. Сами документы и артефакты еще не являются фактами для историка, подобно тому, как вещи и процессы не представляют собой фактов для физика. Можно сказать, что наличие берестяной грамоты есть факт для обнаружившего ее археолога, но прочитанный текст этой грамоты указывает на автора, адресат, социальные отношения, религиозные верования, повседневную жизнь в Новгороде. Вся совокупность источников образует сеть или комплекс сведений, позволяющих судить о жизни в XI—XII вв. Суждение относительно совмещения язычества с православием в сознании новгородских словен будет фактом, если оно подкрепляется этими сведениями.

Факты суть не предметы, а установленные истины по поводу предметов, высказывания, которые нашли (и все еще находят) подтверждение. Вещи и отношения между ними воздействуют на нас, входят в поле нашего сознания — факты всегда являются данными сознания. Эмпирическим базисом науки их делает то, что они интересубъективны, возобновляются и воспроизводятся при смене наблюдателя или истолкователя, подтверждаются и выступают как нечто не менее «упрямое», чем гравитация или невидимые нами социальные институты, побуждающие, например, одеваться определенным образом или переходить дорогу в положенном месте. Наука начинается не с фактов, а с проблем, с движения гипотез, с перехода от незнания о нашем незнании к знанию о незнании и только потом — к уверенному знанию о знании. Историк задает вопросы по поводу источника, на которые он желает получить ответ, ищет связь содержащихся в нем сведений с тем, что скрыто, что

не осознавалось самим автором и т. д. Каждый отдельный источник увязывается с другими, проверяется посредством сопоставления — факты устанавливаются через эту работу истолкования и реконструкции.

Правда, в случае истории да и большинства наук о человеке, под «фактами» подразумевается нечто иное, чем в науках о природе. Инструменты и оружие, дворцы и хижины, деньги и украшения отсылают нас не к физическим свойствам предметов, но к представлениям и ценностям людей. Наши сегодняшние знания о звездах, болезнях или экономике не помогут нам в понимании мотивов поведения людей прошлого, вкладывавших в них иной смысл. Мы сталкиваемся со сходной ситуацией, имея дело с представителями малознакомой нам культуры: не только антрополог в первобытном племени, но и турист в Китае или Саудовской Аравии обнаруживают смысловые различия. Но их ему могут растолковать современники, тогда как историк должен сам открыть эти скрытые значения. Редуцировать смыслы к наблюдаемому поведению не удастся, акты сознания неустранимы в историческом повествовании. Объяснения в нем всегда предполагают интенциональность сознания и служат ему, причем сами объяснения часто имеют телеологический характер⁵. Казалось бы, тем самым находит подтверждение тезис представителей историзма о понимании как господствующем в историографии методе, что отличает ее от прочих наук.

Однако, если мы посмотрим на сегодняшние социальные науки, то обнаружим, что повсюду, где уровень квантификации невысок, мы имеем дело со сходными процедурами. Это очевидно в случае этнографии, где, словами К. Гирца, «теоретические обобщения столь невысоко поднимаются над интерпретациями, что вдали от них они теряют смысл и лишаются всякого интереса» (Гирц, Лазарева, 1997: 194); в психологии и социологии сохраняются границы применения количественных методов, поскольку они имеют дело с осмысленным поведением людей; даже в экономике раздаются голоса тех, кто ставит под сомнение и лежащую в основе *economic anthropology* антропологию, и подмену социальной реальности игрой математических моделей⁶. Обособление истории на том основании, что она занята прошлым, а не настоящим, неверно уже

⁵Обсуждение логических проблем в исторических науках дано в работе Вригт, Тарусина, 1986: 35–242.

⁶Сошлось для примера на резкую критику такого рода игр Т. Пикетти: Пикетти, Дунаев, 2015.

потому, что все социальные науки имеют дело с изменяющейся во времени действительностью да и создавались они мыслителями, которые постоянно обращались к истории — достаточно вспомнить Маркса и Вебера, Дюркгейма и Парето. То, что сегодняшний средний социолог или экономист игнорирует историю, еще не является свидетельством того, что сами эти науки стоят вне истории. На стыке ряда социальных наук возникали синтетические концепции («стадии роста», «догоняющая модернизация», «мир-системный анализ» и т. д.), которые нацелены именно на постижение истории.

Пока историки остаются членами научной корпорации, они принимают ту картину мира, которую дают другие науки. Разумеется, сегодня трудно говорить о единой «научной картине мира» или о «научном мировоззрении», как в XIX в. В условиях все растущей специализации такой синтез всего со всем вряд ли по силам даже для самого эрудированного теоретика. Учеными нас делает принятие ряда аксиом и установок, характерных для научной рациональности как таковой. Каждая наука вычленяет свой слой или «отрезок» действительности, по-своему «кодирует» его своим языком, что нередко ведет к взаимонепониманию и даже к «конфликту интерпретаций». К тому же одна картина сменяется другой и в пределах каждой из дисциплин, причем историк не может быть одновременно знатоком во всех этих областях. Он вынужден просто считаться с теми теориями, которые разрабатываются его коллегами — прежде всего специалистами в области социальных наук.

ТОТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

XX век был временем необычайно быстрого развития наук о человеке. Одни раньше, другие позже, они отделялись от философии, становились университетскими дисциплинами, образовывали научные сообщества со своими авторитетами, ассоциациями и журналами. Большинству этих наук был свойствен своего рода «империализм» — претензия на то, что они главенствуют в этом открывающемся пространстве знания. Можно вспомнить о том, какими были претензии психоанализа и даже бихевиоризма (Уотсон!) в психологии, как структурализм из лингвистики стремился выйти на простор всей культуры, не говоря уж об экономике и социологии. Марксизм был просто самой притязательной доктриной да и отличался в лучшую сторону от поделок его оппонентов.

Причины такого «империализма» лишь отчасти связаны со стремлением к мирской славе; в куда большей мере сказывалось то, что

открытия и свершения отдельной науки о человеке превращались в аксиоматику для всех остальных. Считалось, что все наши мысли и чувства принадлежат психике, соответственно, наука о ней приобретала гипертрофированный вид, становилась основанием и математики («психологизм»), и права, и религиоведения. Так как мы являемся «общественными животными», а «социальное нужно объяснять социальным», социология представляла как «наука наук», проясняющая в том числе и то, как в социальном взаимодействии возникали и развивались науки о природе. Самые любопытные результаты такого сорта генеалогий относятся к социальной психологии, которая перенимала претензии обеих ее составляющих дисциплин. 1000-страничный труд Р. Коллинза об эволюции философских учений является ярким примером удивительного сплава амбиций и невежества. Впрочем, автору этих строк доводилось рецензировать международный проект социальных психологов, желающих применить к истокам астрофизики методики символического интеракционизма: звезды ведь тоже присутствуют в нашей душе, а теории о них порождаются воображением в социальном взаимодействии. Экономисты видят в своей дисциплине «самую научную» общественную науку на том основании, что она в большей степени математизирована. Даже этнографы одно время притязали на то, что методы наблюдения за поведением в микронезийских племенах универсальны и пригодны для анализа жизни в мегаполисах («антропология в метро»).

Не избежала такого «империализма» и история, причем для этого оснований у нее было даже больше, чем у прочих наук. Во второй половине XX столетия произошли огромные перемены в работе историков, которые нередко называли революционными. Конечно, речь идет о профессиональном сообществе исследователей, а не о школьных учебниках, популяризациях, идеологически «правильных» сочинениях приверженцев тех или иных стран и партий. В них мало что изменилось: люди по-прежнему делятся на good guys and bad guys, причем первые либо уже одержали победу, продвинув прогресс к новым вершинам, либо его когда-нибудь достигнут. Даже если академические историки участвуют в спорах, затрагивающих острые политические темы, критерии их профессионализма сделались значительно более строгими. Необычайно расширилась тематика, поменялись методы — историки стали задавать иные вопросы и находить иные источники.

Начало этому еще в 1930-е гг. положила социальная история, развивавшаяся прежде всего во Франции (школа «Анналов»), затем последовали экономическая история и связанная с нею клиометрия, история

повседневности, история детства, верований, вкусов и т. д. Даже самая общая характеристика развития социальной истории в Германии, Великобритании или Франции потребовала бы отдельной обширной статьи. Несомненным было влияние марксизма, но наряду с ним историки обращались кто к Дюркгейму и Симиану, кто к Веберу; «история ментальностей» создавалась с учетом доктрин современной психологии — от психоанализа до когнитивной психологии. Переход от «событийной истории» и всей прежней *histoire historisante* с ее сосредоточенностью на политической, дипломатической и военной истории, осуществленный основоположниками школы «Анналов» (Л. Февром, Ф. Броделем и др.), не был, конечно, разрывом со всей предшествующей историографией, как это нередко утверждали ее представители. Они сами многое переняли у Вебера и Зомбарта, да и нелепо настаивать на том, что историей институтов ранее никто не занимался: достаточно вспомнить наших В. О. Ключевского или М. И. Ростовцева. Тем не менее, изменения были существенными, они поменяли само представление членов этого научного цеха о своей работе. Прошлому стали задавать вопросы, которые были навеяны проблематикой других социальных дисциплин. Ф. Бродель призывал историков научиться говорить языками всех остальных наук о человеке (Braudel, 1969: 78–83).

Экономические циклы, повторяющиеся серии, групповые конфликты, институционализированные верования, мемориальные празднества, воображаемые миры давних эпох — все это сделалось полем исследований. Переход к так называемой «новой истории» во Франции еще более расширил круг вопросов. Поменялись даже представления об историческом времени. Историки не обязательно следовали за Броделем с его *longue durée*, но, говоря о средневековой цивилизации (Ж. Ле Гофф) или, скажем, о «цивилизации барокко» (П. Шоню), они отходили и от прежней историографии, сконцентрированной на великих личностях и государственных актах, и от историософских грандиозных фантазий по поводу цивилизаций на манер Шпенглера и Тойнби. Своего рода мета-теорией сделалась «историческая антропология», которая соприкасается как с философией, так и с рядом наук о человеке. Ею обосновывается методический плюрализм историографии. При этом сама история становилась своего рода метанаукой для всех наук о человеке. Разве социальные науки не изучают исторически существовавшие общества и само сегодняшнее общество не изменяется каждый год и каждый день? Если «умственный инструментарий», как первоначально называл

Л. Февр «ментальности», у людей прошлого был иным, то не является ли и психология частью истории? Предложенный в начале XX в. А. Берром термин тотальная история был принят школой «Анналов» как программа⁷. Так как наше настоящее также принадлежит истории и содержит в себе следы прошлого, то и к нему подход должен быть историческим. Бродель ссылается на те слова, которые Февр раз за разом повторял в последние годы жизни относительно истории: «наука о прошлом, наука о настоящем».

Тем самым поменялись методы, причем преобладал импорт их из других дисциплин. Необходимость таких заимствований очевидна: имея дело с экономическими или демографическими процессами в прошлом, нужно ознакомиться с существующими ныне научными теориями. Как уже было сказано выше, историк принадлежит научному сообществу, а потому должен учитывать те сведения, которые дают нам науки о природе, идет ли речь о космологии или химии. Более того, сегодня вспомогательные исторические дисциплины развиваются не без участия естествознания (дендрохронологии, радиоизотопного датирования, аэрофотосъемок и т. п.), а геология, география и биология издавна входили в повествование историков: полезные ископаемые, морские торговые пути, климат, растения и животный мир учитывались историками и в древности.

Только в случае социальных наук мы имеем дело с набором весьма неопределенных полей знания. Во-первых, существуют несовпадения между разными дисциплинами: социолог и экономист часто расходятся в видении одних и тех же процессов; словосочетание «когнитивные науки» служит «шапкой» для ряда дисциплин, говорящих на непонятных друг для друга языках. Во-вторых, в рамках самих этих дисциплин не было и нет единства. Причем речь идет совсем не обязательно о расхождении, проистекающих из привнесенной извне идеологии, как это представляется многим марксистам, видящим в противостоящих им доктринах «буржуазную идеологию». Представители кейнсианства спорят с монетаристами, вполне «буржуазный» mainstream экономической науки («неоклассика») расходится с «австрийской школой», при этом эпитеты, которыми награждают представителей последней, бывают даже более резкими, чем на истматовском жаргоне. О социологии и психологии еще труднее говорить как о «нормальных науках» в терминах

⁷ Иногда со ссылкой на Мишле с его знаменитым предисловием к многотомной французской истории 1869-го г.

Т. Куна, поскольку в социологии даже самые общие понятия по-разному определяются сторонниками Р. Дарендорфа, Н. Лумана и П. Бурдьё (а немалое число сегодняшних социологов вообще не считают общество объектом социологии: эта дисциплина «кодирует» социологически все, что угодно). В психологии бихевиористы, когнитивисты и психоаналитики просто не имеют общего языка, а иногда и прямо называют друг друга шарлатанами и невеждами. Само прилагательное «социальный», применяемое представителями всех этих наук, понимается совершенно по-разному, да и где в человеческом мире провести границу между «социальным» и «не-социальным»?

Наконец, применимость методов, разработанных для познания современного общества, к далеким от него социумам и культурам часто вызывала сомнения. Ориентация на новейшие наработки и применение «последнего слова науки» для объяснения давних обществ в терминах дисциплин, разработанных для нынешнего общества, была метко названа П. Бурдьё «этноцентризмом». Да и видение самой истории представителями таких наук далеко от признания ее метатеоретического статуса, поскольку история для них есть некий банк данных.

Историк раскапывает эти данные и затем предоставляет их своим более теоретически мыслящим коллегам, которые затем производят научные обобщения и теории, устанавливая связи между различными видами социальных ситуаций. Эти теории могут затем применяться к самой истории для того, чтобы улучшить наше понимание тех способов, которыми взаимно соединяются ее эпизоды (Уинч, Горбачев и Дмитриев, 1996: 99).

Только нацелены эти обобщения на сети отношений, не просто осмыслявшихся людьми в иных терминах, но и существовавших лишь посредством иных смыслов, актуальных только для той эпохи. А потому историческое объяснение куда больше напоминает применение знания иностранного языка для понимания разговора, нежели знания законов физики для понимания работы паровой машины. Никакая умозрительная «мир-система бронзового века» или «политэкономия феодализма» не поможет историкам, занятым хоть древним Шумером, хоть трудным периодом Московского княжества в середине XV в. (борьбой Василия Темного и Шемяки).

Не будучи специалистами во всех этих дисциплинах, историки заимствовали кажущиеся им наиболее пригодными *ad hoc* методы. Случайность такого рода импорта хорошо видна уже по «классикам»; когда Бродель сочувственно ссылается на Ф. Симиана и Ж. Гурвича, то

подавляющее большинство сегодняшних социологов, прослушавших подробный курс по истории своей науки, зададут вопрос: «Кто это такие?» Конечно, историк русской эмиграции вспомнит, что меньшевик Гурвич, писавший в Германии начала XX в. диссертацию о Фихте, потом преподавал социологию в Сорбонне, но сегодня редко кто открывает его заполненные искусственными классификациями многостраничные труды. В силу моды на психоанализ к нему часто обращались историки, но они брали только то, что им более или менее подходило, причем чаще всего из популярных изложений. Донедавна секта свидетелей «травмы исторической памяти» ссылается на Фрейда, хотя о травме, ведущей к истерическому неврозу, он писал только в самых ранних своих трудах, а затем от такого упрощенного взгляда отказался. Занимаясь социологией Н. Элиаса, автор этих строк обнаружил, что во Франции его активно использовал и пропагандировал такой выдающийся историк, как Р. Шартье, тогда как другой не менее выдающийся Э. Ле Руа Ладюри посвятил сотню страниц уничижительной критике этого социолога. В рамках самой социологии у Элиаса имеется небольшое число последователей в Голландии и немецкоязычных странах, но и в них бывшая мода уже прошла. Следует ли из этого, что историку нельзя использовать подходы Элиаса к «процессу цивилизации» или к придворному обществу? Разумеется, никак не следует. Но стоит ли тогда ссылаться на авторитет социологии как науки? Или видеть в том, как этот социолог обосновывал свою теорию с помощью психоанализа, образец для подражания?

Таких примеров можно было бы привести изрядное число. Заимствования следовали и за интеллектуальными модами, теми доктринами *comme il faut*, которые отвечали веяниям в «левой» университетской среде. Когда в ней совершается переход от Сартра и Адорно к Фуко и Деррида, то можно ожидать появления сочинений историков, в которых какую-то роль начинают играть то «авторитарная личность», то «микрофизика власти».

Конечно, далеко не все заимствования были бесплодными. Если нынешний политолог использует математическую теорию игр, применяя ее к выборам сегодняшних президентов и сенаторов в США, то почему не использовать ее для выборов тех же персонажей в XIX столетии? Если так называемая «теорема Томаса» работает при осмыслении массового поведения в наше время, то она потенциально применима при изучении и биржевого краха 1929 г., и гонений на христиан во II в. н. э. Историческая наука обогатилась новыми инструментами. Методологический

плюрализм сам по себе совсем не обязательно плох и не сводится к болтовне о «мультидисциплинарности», но он никак не может сделаться основанием тотальной истории. А именно такая разносторонность, даже всеядность, предлагалась в качестве фундамента: на место Провидения или Разума в качестве такого базиса пришла деятельность коллективного субъекта, цеха академических историков с их дистинкциями и синтезами по чужим прописям.

Разница с прежней философией истории заключается именно в том, что тотальность обеспечивается не умозрением, не априорным принятием того, что человеческая природа определяется стремлением к разуму и свободе (Кант, Фихте) или направляется абсолютным духом (Гегель). Идея всемирной истории донныне несет на себе след такого умозрения, хотя на практике она выступает как некое предельное понятие, горизонт, на котором видимы очертания тех или иных действующих субъектов. Более приземленные версии, будь то либеральная Whig history или исторический материализм, сохраняли целостное видение истории и задавали рамки, горизонт эмпирических исследований. Более того, марксизм оказал немалое влияние на историографию XX в., причем он никак не сводится к набору *self-fulfilling prophecies*, как утверждал К. Поппер. Кстати, сам термин «тотальная история» принадлежит и Г. Лукачу, обосновывавшему ее возможность в своей ранней работе «История и классовое сознание». От нее идет прямая линия сначала к «эмансипативной теории» Ю. Хабермаса в «Познании и интересе», а затем к множеству сегодняшних «освободительных» сочинений (Хабермас, Кильдюшов, 1986: 167–191). Поменялся лишь субъект такой тотальности: от рабочего класса, превращающегося из «класса-в-себе» в «класс-для-себя», произошел переход к всякого рода меньшинствам, свобода коих должна означать свободу для всех. Пока под диалектикой подразумевается гегелевское движение от абстрактного к конкретному, а учение об экономических интересах социальных групп не перетекает в спасительное для человечества знание, марксизм вполне приемлем и для лишенного веры в доктрину историка. Если же «невидимая рука рынка» или «классовая борьба» ведут человечество к некоей цели, то мы имеем дело с лежащей за пределами науки телеологией. Есть закономерности, которые наблюдаемы в истории, но нет законов Истории, пока мы остаемся в пределах эмпирического знания.

Ни прежняя историософия, ни безбрежный плюрализм, переходящий в «этноцентризм», не могут выступать в качестве основания исторической науки. Историкам полезно познакомиться с философскими

учениями прошлого и настоящего: и Гегеля, и П. Рикёра читать стоит; он обязан знакомиться с нынешними теориями социологов и экономистов, разбираясь с социальными структурами и институтами обществ прошлого. Даже наработки генетиков могут оказаться бесполезными (хотя вступать в секту поклонников какой-нибудь гаплогруппы совсем не обязательно). Однако все это не дает нам тотальной науки — об этих притязаниях можно забыть. Да и о какой тотальности может идти речь, если вид *homo sapiens* существует примерно 100 — 150 тыс. лет, а границей истории по-прежнему остаются бесписьменные общества? Гадательные суждения относительно племен, которым принадлежали глиняные черепки, конечно, имеют свою цену (даже если иной раз порождают химеры, вроде «скифов-пахарей»).

Если историю от прочих наук отличает не предмет (все социальные науки обращены на него) и не метод (понимание, интерпретация мотивов и мыслей важны для всех изучающих человеческую реальность), то что же является специфичным для историков? Это не нарративность: социолог, психотерапевт и этнограф также рассказывают о полученных ими результатах исследований. Таковым не может быть и внимание к процессам, возникновению и развитию во времени, поскольку экономические циклы, демографические изменения, конфликты социальных групп протекают во времени.

Мы возвращаемся тем самым к историзму, который является основным принципом историографии как таковой, но обретает теоретическое воплощение в трудах представителей *Historismus* как интеллектуального течения европейской мысли конца XIX — начала XX вв. У истории нет монополии на герменевтику или «отнесение к ценности»: методологический дуализм безусловно принадлежит прошлому, равно как и свойственная тому времени оппозиция «духа» и «природы». Критика «романтической герменевтики» Х. Г. Гадамером обоснованна: в качестве основного метода эмпатия ведет не к проникновению в прошлое, а к его искажению. Кстати, это относится и к другим наукам о человеке: склонность подменять методологическими изысками вдумчивое проникновение в социальные и политические процессы ведет к слепоте как ученых, так и непрестанно разрастающегося племени экспертов. У истории имеется множество методов, разработанных прежде всего вспомогательными дисциплинами, но нет только ей присущего Метода.

Наследием историзма сегодня является не утверждение особого метода, но указанные выше скептицизм и реализм, понятые не как метафизические доктрины (тогда они находились бы в оппозиции друг

к другу). Скептицизм отличается от релятивизма, утверждающего, что все точки зрения равно возможны и приемлемы — *anything goes*, как говорят ныне. Исходным является стремление к научной истине, а наука неизбежно придерживается корреспондентной теории истины. То, что наши суждения об изменениях климата, неандертальцах или социальной структуре древнего Вавилона гипотетичны, не отменяет того, что мы стремимся к искомому соответствию с реальностью, *wie es eigentlich gewesen*. Критическая оценка нашего знания характерна для любой науки, для историков же свойствен скептицизм обостренный, близкий пробабилizmu не в современных его версиях (вероятностный взгляд на физические процессы), а самому раннему его варианту Аркесилая и Карнеада скептического периода платоновской Академии. Этот взгляд был характерен для ведущих представителей исторической науки XIX в. вроде Л. фон Ранке и К. Бурхардта в их полемике с Гегелем — «великие повествования» начали критиковать не со времени Ж.-Ф. Лиотара.

Но такой скептицизм уравнивается реализмом, который также имеет свои особенности. Если подбирать термин из метафизики, то можно окрестить его «гипотетическим реализмом». Уверенность в том, что мы изучаем саму природу, присуща любому ученому, но в современной науке на предмет исследования налагаются теоретические схемы, модели, теоретические конструкции. Они поверяются путем контролируемого экспериментального вмешательства, гипотеза должна быть «оправдана» (*justification*) и подтверждена наблюдением. Особенностью истории является то, что ни наблюдать, ни вмешиваться, ни контролировать опыт мы не в состоянии: у нас есть только следы, свидетельства, «улики». Историк имеет дело с требующими истолкования знаками. Реализм здесь определяется «фактичностью» в ином чем в естествознании смысле: сегодня для нее употребляется слово «контингентность». Бывшее некогда с людьми в известном смысле случайно и даже иррационально — в существовании именно такого спартанского илота, китайского даоса, созданного усилиями строителей акведука или собора нет никакого предзаданного смысла. Как и закона, согласно которому молодой граф Роккасекка сбежал из замка, стал монахом-доминиканцем, проучился у Альберта Великого, а затем прославился как автор «Суммы теологии» и умер в Тулузе. Ф. Ницше случайно покупает в лавке потрепанный том А. Шопенгауэра — без чтения «Мира как воли и представления» он не создал бы свое учение (или создал бы какое-то совсем другое). Был Константин Великий, которому однажды перед битвой привиделось *in sic signo vinces*, и он изменил империю,

в которой на тот момент не было и десятой части христиан, а тем самым и ход истории. Викинги и йомены, феодальные бароны и придворные времен Людовика XIV не служили логике всемирной истории в качестве пешек для достижения такой странной цели, как приуготовление нынешнего мира (а в особенности тех статей и диссертаций, которые мы о них пишем). Лишь задним числом мы выясняем, каковы их «классовые интересы» или «групповая динамика» — сами они осмысливали мир иначе и действовали в соответствии с такими мыслями. Если возвратиться к языку основоположников социологии, еще принимавших во внимание историю, существуют «сообщества судьбы» (Schicksalsgemeinschaften) вроде общин, гильдий, провинций и даже кружков каких-нибудь «юношей архивных», почему-то начинающих читать Шеллинга и Гегеля в Москве 1820-х гг. Вряд ли можно назвать наше обращение к ним «диалогом», поскольку они не могут прочесть нам лекцию о том, как их изучать и стоит ли переходить от «социологии ролей» к «фрейдам». История остается описательной наукой и после того, как историки научились говорить на языках статистики и когнитивных наук.

Так что формула Ранке — согласно которой каждая эпоха на свой манер соотносится с Богом, а ценность ее заключается не в том, что из нее произойдет, но именно в ее неповторимом существовании — является самым кратким определением такого реализма. Конечно, историка интересует и то, что переходит из одной эпохи в другую: как развиваются институты, нравы, идеи, ритуалы. Однако он смотрит на то, как одно прошлое перетекает в другое — а оценивать, как оно доньше воздействует на настоящее, хвалить и хулить его есть кому и без него. Он не ставит перед собой и задачи изменить настоящее, рассказывая о прошлом, пока остается историком. Именно инаковость прошлого делает его объектом созерцания и описания. Историки, хотя они сами принадлежат истории, куда менее социологов склонны заниматься рефлексией по поводу того, что взгляд ученого детерминирован принадлежностью к какой-то социальной группе, вроде WASP или «белого представителя среднего класса». «Классики» социологии — Вебер и Дюркгейм, Теннис и Зиммель — такого сорта идеологическим самокопанием не занимались и считали общества прошлого реально существовавшими; вероятно, потому, что их исследования опирались на огромный исторический материал, они и доньше интересны для историков, тогда как последующий конструктивизм в социологической теории к историческим штудиям не

прививается⁸. Если мы имеем дело с иным, то оно конституируется как независимый от нас объект созерцания и описания. «Оптика» историографии такова, что фиксирует общности, игнорируемые социальными науками. Например, для социологии такая общность, как «народ», чаще всего незаметна, а экономисты, говорящие доньше о «народном хозяйстве», эту реальность вообще игнорируют, равно как реальность «храмового хозяйства» в Шумере или средневековой гильдии. Историк изначально видит сообщества (*Gemeinschaften*) и лишь затем применяет методы, разработанные для видения *Gesellschaften*. Тем самым мы возвращаемся к историзму в его самом раннем воплощении в ткань научных исследований. Как ни странно, реализм историографии опирается на романтизм с его «индивидуальными тотальностями». Для постижения этих некогда бывших, но унесенных ветрами времени людей и форм их сосуществования приемлемы и даже иной раз необходимы формулы и открытия куда более строгих, чем история, дисциплин. Но все эти формулы служат цели понимания иных, нежели наши собственные, обществ и культур. История является, наверное, самой «а-теоретичной» наукой, если только не вспомнить о том, что исходно «теория» означала созерцание. Даже если не принимать учение Гегеля об абсолютном духе, он писал о таком созерцании последовательного ряда, «в котором один дух сменялся другим и каждый перенимал царство мира от предыдущего» (Гегель, Столпнер, Шпет и др., 1959: 434). Гегель называл эти духи «гештальтами», толкуемыми как проявления сознания и самосознания.

Если выйти за пределы идеалистической «философии духа», то мы обнаруживаем меняющиеся формы взаимодействия. Индивиды всегда включены в те или иные из них; «человек вообще» является абстракцией, удобной для конституций и деклараций прав, но вряд ли пригодной для историка. Одни формы чрезвычайно стабильны: возникнув в неолите, земледелие мало изменялось тысячелетиями, равно как формы семьи, религиозных обрядов и т. п. Другие, куда более связанные с творческими усилиями индивидов, приходят на короткое время. Поэтому одни историки сосредотачивают свое внимание на долговременных процессах, перенимают языки экономики, географии и даже геологии

⁸Эта утрата исторического измерения социологической теории произошла достаточно давно. Как писал в конце 1960-х гг. Н. Элиас, произошла утрата видения долговременных процессов, каковой были наделены «классики», тогда как «социальные системы» послевоенной социологии таким видением уже не обладали. См. его предисловие 1968 г. к работе «О процессе цивилизации» (Элиас, Руткевич, 2001: 19–29).

(например, Бродель), тогда как другие остаются верными романтической герменевтике, имея дело с великими личностями или группами вроде поэтов и мыслителей (Sturm und Drang в Германии, Серебряный век в России). Различаются и их теоретизирования: в «клиометрии» индивиды почти взаимозаменяемы, тогда как для других подходов в исторической науке сословия и народы обретают личностные черты. Например, у Карсавина личности более широкого объема «стягивают» личности более узкого, но репрезентируются через них: ремесленника мы отличаем от купца или дворянина, русского от немца, но сословие и народ всегда опознается нами по отдельному представителю.

Другими словами, мы имеем континуум подходов и отвечающих им методов. В любом случае историк имеет дело с социальными существами, вступающими в связи, которые образуют долговременные или кратковременные структуры. Основанием всей работы историка по-прежнему остаются поиск, отбор, интерпретация и систематизация источников. Взгляд историка иначе «вырезает» объекты исследования, иначе их располагает и изучает. Его труд нередко сравнивали с деятельностью следователя: он идет по оставленным следам, чтобы найти «преступника», т. е. того, кто замысливал и совершал действие. Хотя к диахронии обращаются все науки о человеке, для историка — даже если он в рамках своей «микроистории» обращается к кратковременной сцене — исходным пунктом и целью постижения являются происходящие во времени изменения, потоки, напоминающие длительность Бергсона. Одни события порождают другие и меняют контекст взаимодействия. Поскольку не все они оставляют следы, то промежуточные этапы неизбежно домысливаются; у действий, словами Коллингвуда, есть «внутренняя сторона» (чувства и мысли людей), а потому нужно научиться мыслить и чувствовать так, как это делали древнеегипетский жрец или спартанский гоплит. Поэтому эрудиция для историка по-прежнему важнее методологической «оснастки». Чем шире горизонт видения прошлого разных эпох и культур, тем выше культура исторического мышления, тогда как трата времени на нейроэкономику или какую-нибудь «меметику» избыточна хотя бы потому, что на место этих модных доктрин завтра придут другие.

Если сравнить мир — вслед за Шекспиром — с театральной сценой, то историк видит на ней действие с непрестанно сменяющимися актерами, речи и дела которых меняют и сценарий, и жанр, и правила игры. Конечно, игра на бирже не превращается в игру в шахматы: и закованные в латы рыцари, и вооруженные пиками и аркебузами легионеры из испанских

tercios, и артиллеристы Наполеона были заняты войной. Создатели пирамид, собора Нотр-Дам и небоскребов в Нью-Йорке 1920-х гг. равным образом были строителями. Тем не менее контекст этой деятельности был разным и порождал разные последствия, иные формы отношений. Одни игроки сменяются другими да еще и изменяются по ходу действия, преображая тем самым «интригу». Трагедия оборачивается фарсом, победа — поражением, накопление — растратой или расхищением; прежние правила могут «обнулиться», а новые «игроки» их не принять. К этому добавляется то, что время событий течет по-разному. Есть долговременные взаимодействия, повторяющиеся веками и даже тысячелетиями; есть «сгустившееся» время резких перемен, сопоставимое с подъемом температуры газа вместе с нагревом и ускорившимся движением молекул. Долгие эпохи люди живут в стабильном обществе, даже создают богословские и правовые доктрины, утверждающие, что целостности — будь таковой Римская империя, католическая церковь или даже цех гончаров — не умирают вместе с уходом из мира одних своих членов, сменяемых другими — *Universitas non moritur*. Однако сами эти верования способствуют появлению того, что их отменит.

Социальные науки в таком случае играют роль полезных инструментов, выбор которых зависит от рассматриваемого «гештальта». Они созданы в наше время и нацелены на сегодняшние формы взаимодействия, на коммуникацию в наблюдаемой действительности. Историка интересует скорее передача, трансляция форм. Иные из них притязают на универсальность, но именно они сомнительны для историка. Марксистская теория классовой борьбы применима к движению чартистов 1840-х гг., но далеко не все даже близкие по времени массовые выступления низов описываются в терминах этой теории. Скажем, бунт 1780-го г., который едва не снес британскую монархию (*Gordon Riots*, был восстанием протестантов, разгневанных тем, что католикам хотя бы отчасти вернули гражданские права. Восстание «желтых повязок» под конец империи Хань, конечно, было связано с недовольством крестьян, но стремление поменять «Синее небо» на «Желтое небо» вряд ли удовлетворительно описывается понятийным аппаратом «Коммунистического манифеста». Теории Бурдьё о «символическом капитале» и «социальных дистинкциях» хороши для понимания французской городской буржуазии второй половины XX в., но они вряд ли подходят к дворянским элитам времен борьбы Генриха IV и католической Лиги. Неприменимость даже к сравнительно недавнему прошлому нынешних

экономических и психологических теорий не раз обнаруживалась историками. В лучшем случае все эти науки дают схемы, направления для мысли историка, в худшем — они ему просто мешают.

Сохраняет свое значение и другая интуиция романтиков: прошлое с его возможностями не «снято» окончательно. Бывает, что «духи прошлого» возвращаются — мы это видим сегодня в момент кризиса «глобализации»; иной раз интуиция подсказывает появление новых «духов» («призрак ходит по Европе»). Развитое историческое мышление способствует такого рода предвидению, поскольку для него нет вечных социальных установлений. Но областью его трудов является последовательность уже ушедших «гештальтов».

ЛИТЕРАТУРА

- Берковский Н. Я.* Романтизм в Германии. — СПб. : Азбука-классика, 2001.
- Берлин И.* Понятие научной истории // Подлинная цель познания / пер. с англ. В. В. Сапова. — М. : Канон+, 2002. — С. 25–80.
- Вебер М.* Избранные произведения / пер. с нем. Ю. Н. Давыдова. — М. : Прогресс, 1990.
- Вебер М.* История хозяйства. Город / пер. с нем. Д. Б. Гервса. — М. : КАНОН-пресс-Ц, 2001.
- Винчи Л. да.* Суждения о науке и искусстве / под ред. А. К. Дживелегова ; пер. с итал. А. А. Губера, В. П. Зубова. — СПб. : Азбука-классика, 1998.
- Вригт Г. фон.* Объяснение и понимание / пер. с англ. Е. И. Тарусиной // . — 1986. — С. 35–242.
- Гегель Г. В. Ф.* Сочинения. В 14 т. Т. 4. Феноменология духа / пер. с нем. Б. Г. Столшнера, Г. Г. Шпета, А. М. Водена. — М. : Политиздат, 1959.
- Гириц К.* Антология исследований культуры : интерпретация культуры. «Насыщенное описание» : в поисках интерпретативной теории культуры / под ред. С. Я. Левит ; пер. с англ. Е. М. Лазаревой. — СПб. : Университетская книга, 1997.
- Джеймс У.* Введение в философию // Введение в философию. Проблемы философии / У. Джеймс, Б. Рассел ; пер. с англ., под ред. А. Грязнова. — М. : Республика, 2002. — С. 7–154.
- Зомбарт В.* Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. Буржуа : к истории духовного развития современного экономического человека / пер. с нем. З. Ал. — СПб. : Владимир Даль, 2005.
- Йегер В.* Пайдейя. Воспитание античного грека. В 2 т. Т. 1 / пер. с нем. А. И. Любжина. — М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2001.
- Карсавин Л. П.* Философия истории. — СПб. : Комплект, 1993.

- Кассирер Э.* Логика наук о культуре / пер. с нем. Б. Вимера, С. О. Кузнецова // Избранное. Опыт о человеке / пер. с нем. Б. Вимера, С. О. Кузнецова, А. Н. Малинкина. — М. : Гардарика, 1998а. — С. 7–154.
- Кассирер Э.* Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры / пер. с нем. Б. Вимера, С. О. Кузнецова // Избранное. Опыт о человеке / пер. с нем. Б. Вимера, С. О. Кузнецова, А. Н. Малинкина. — М. : Гардарика, 1998b. — С. 440–723.
- Кьеркегор С.* Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» / под ред. Т. Н. Песковой ; пер. с дат. Н. Исаевой, С. Исаева. — СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та., 2005.
- Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш.* Введение в изучение истории / пер. с фр. А. Серебряковой. — М. : ГПИБ России, 2004.
- Лопатин Л. М.* Декарт как основатель нового философского и научного мирозерцания // Философские характеристики и речи / под ред. В. В. Рубцова, А. Д. Червякова. — М. : Харвест, 2000. — С. 17–38.
- Оукиот М.* Деятельность историка / пер. с англ. Ю. А. Никифорова // Рационализм в политике / под ред. Л. Б. Макеевой, А. Б. Толстова, М. Ф. Косиловой ; пер. с англ. И. И. Мюрберг, Е. В. Косиловой, Ю. А. Никифорова. — М. : Идея-Пресс, 2002. — С. 128–152.
- Патнэм Х.* Разум, истина и история / пер. с англ. Т. А. Дмитриевой, М. В. Лебедевой. — М. : Практикс, 2002.
- Пикетти Т.* Капитал в XXI веке / пер. с фр. А. Дунаева. — М. : Ad Marginem, 2015.
- Тош Д.* Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / под ред. В. А. Русева ; пер. с англ. М. Л. Коробочкина. — М. : Весь мир, 2000.
- Уинч П.* Идея социальной науки и ее отношение к философии / пер. с англ. М. Горбачева, Т. Дмитриева. — М. : Русское феноменологическое общество, 1996.
- Хабермас Ю.* Познание и интерес // Техника и наука как идеология / пер. с нем. О. В. Кильдюшова. — М. : Практикс, 1986. — С. 167–191.
- Элиас Н.* Социогенетические и психогенетические исследования / пер. с нем. А. М. Руткевича // О процессе цивилизации. В 2 т. Т. 1. — СПб. : Университетская книга, 2001.
- Юнгер Ф.* Ницше / пер. с нем. А. В. Михайловского. — М. : Практикс, 2001.
- Albert H.* Kritische Vernunft und menschliche Praxis. — Stuttgart : Reclam, 1977.
- Bourdé G., Martin H.* Les écoles historiques. — Paris : Seuil, 1983.
- Braudel F.* Écrits sur l'histoire. — Paris : Flammarion, 1969.
- Bultmann R.* Jesus Christus und die Mythologie. — Hamburg : Furche Vlg, 1964.
- Carr E. H.* What is History? — Harmondsworth : Penguin, 1964.
- Dilthey W.* Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. — Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1981.
- Menendez P. R.* Antologia de prosistas españoles. — Madrid : Espasa-Calpe, 1978.

Rutkevich, A. M. 2020. "Naslediye istorizma [The Inheritance of Historicism]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 36–70.

ALEKSEY RUTKEVICH

DOCTOR OF LETTERS IN PHILOSOPHY, PROFESSOR

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (MOSCOW, RUSSIA);

ORCID: 0000-0003-2845-7830

THE INHERITANCE OF HISTORICISM

Submitted: June 15, 2020. Reviewed: July 18, 2020. Accepted: Sept. 13, 2020.

Abstract: Historicism is a term, used today in two main senses: a feature or principle of historical consciousness and an intellectual movement of the 19th century, depending mainly on German romanticism and developing an Historik with the clear differentiation of methods of natural sciences and historical (or cultural) sciences. This opposition was negated by the development of historical science. Social history uses a lot of methods of other social sciences. The idea of "total history" represents the epistemological aim of historians. But history is a descriptive and interpretative discipline, which uses all this methods without losing the specific outlook or way of thinking, which was created by the historicism.

Keywords: Historicism, Romanticism, Method, Social Sciences, Total History, Realism, Skepticism.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-36-70.

REFERENCES

- Albert, H. 1977. *Kritische Vernunft und menschliche Praxis* [in German]. Stuttgart: Reclam.
- Berkovskiy, N. Ya. 2001. *Romantizm v Germanii [Romanticism in Germany]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Azbuka-klassika.
- Berlin, I. 2002. "Ponyatiye nauchnoy istorii [The Concept of Scientific History]" [in Russian]. In *Podlinnaya tsel' poznaniya [The True Goal of Knowledge]*, trans. from the English by V. V. Sapov, 25–80. Moskva [Moscow]: Kanon+.
- Bourdé, G., and H. Martin. 1983. *Les écoles historiques* [in French]. Paris: Seuil.
- Braudel, F. 1969. *Écrits sur l'histoire* [in French]. Paris: Flammarion.
- Bultmann, R. 1964. *Jesus Christus und die Mythologie* [in German]. Hamburg: Furche Vlg.
- Carr, E. H. 1964. *What is History?*. Harmondsworth: Penguin.
- Cassirer, E. 1998a. "Logika nauk o kul'ture [Zur Logik der Kulturwissenschaften]" [in Russian]. In Cassirer 1998, 7–154.
- . 1998b. "Opyt o cheloveke. Vvedeniye v filosofiyu chelovecheskoy kul'tury [Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur]" [in Russian]. In Cassirer 1998, 440–723.
- Dilthey, W. 1981. *Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften* [in German]. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Elias, N. 2001. *Sotsiogeneticheskiye i psikhogeneticheskiye issledovaniya [Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen: Wandlungen des Verhaltens in den westlichen Oberschichten des Abendlandes]* [in Russian]. Vol. 1 of *O protsesse tsivilizatsii [Über den Prozeß der Zivilisation]*, trans. from the German by A. M. Rutkevich. 2 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Universitet-skaya kniga.

- Geertz, C. 1997. "Nasyshchennoye opisaniye" ["Rich Description"]: v poiskakh interpretativnoy teorii kul'tury [In Search of an Interpretive Theory of Culture] [in Russian]. In *Antologiya issledovaniy kul'tury [Anthology of Cultural Studies] : interpretatsiya kul'tury [Interpretation of Culture]*, ed. by S. Ya. Levit, trans. from the English by Ye. M. Lazareva. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Universitet-skaya kniga.
- Habermas, J.. 1986. "Poznaniye i interes [Erkenntnis und Interesse]" [in Russian]. In *Tekhnika i nauka kak ideologiya [Technik und Wissenschaft als "Ideologic"]*, trans. from the German by O. V. Kil'dyushov, 167–191. Moskva [Moscow]: Praksis.
- Hegel, G. W. F. 1959. *Fenomenologiya dukha [Phänomenologie des Geistes]* [in Russian]. Vol. 4 of *Sochineniya [Works]*, trans. from the German by B. G. Stolpner, G. G. Shpet, and A. M. Voden. 14 vols. Moskva [Moscow]: Politizdat.
- Jäger, W. 2001. [in Russian]. Vol. 1 of *Paydeyya. Vospitaniye antichnogo greka [Paideia. Die Formung des griechischen Menschen]*, trans. from the German by A. I. Lyubzhin. 2 vols. Moskva [Moscow]: Greko-latinskiy kabinet Yu. A. Shichalina.
- James, W. 2002. "Vvedeniye v filosofiyu [Introduction to Philosophy]" [in Russian]. In *Vvedeniye v filosofiyu. Problemy filosofii [Introduction to Philosophy. Problems of Philosophy]*, by W. James and B. Russell, ed. and trans. from the English by A. Gryaznov, 7–154. Moskva [Moscow]: Respublika.
- Jünger, F. 2001. *Nitsشه [Nietzsche]* [in Russian]. Trans. from the German by A. V. Mikhaylovskiy. Moskva [Moscow]: Praksis.
- Karsavin, L. P. 1993. *Filosofiya istorii [Philosophy of History]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Komplekt.
- Kierkegaard, S. 2005. *Zaklyuchitel'noye nenauchnoye poslesloviye k "Filosofskim krokham" [Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de filosofiske Smuler]* [in Russian]. Ed. by T. N. Peskova. Trans. from the Danish by N. Isayeva and S. Isayev. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Izd-vo S.-Peterb. un-ta.
- Langlois, Ch.-V., and Ch. Seignobos. 2004. *Vvedeniye v izucheniye istorii [Introduction aux études historiques]* [in Russian]. Trans. from the French by A. Serebryakova. Moskva [Moscow]: GPIB Rossii.
- Lopatin, L. M. 2000. "Dekart kak osnovatel' novogo filosofskogo i nauchnogo mirosozertsaniya [Descartes as the Founder of a new Philosophical and Scientific Worldview]" [in Russian]. In *Filosofskiye kharakteristiki i rechi [Philosophical Characteristics and Speeches]*, ed. by V. V. Rubtsov and A. D. Chervyakov, 17–38. Moskva [Moscow]: Kharvest.
- Menendez, P. R. 1978. *Antologia de prosistas españoles* [in Spanish]. Madrid: Espasa-Calpe.
- Oakeshott, M. 2002. "Deyatel'nost' istorika [Activities of the Historian]" [in Russian]. In *Ratsionalizm v politike [Rationalism in Politics and Other Essays]*, ed. by L. B. Makeyeva, A. B. Tolstov, and M. F. Kosilova, trans. from the English by Yu. A. Nikiforov, 128–152. Moskva [Moscow]: Ideya-Press.
- Piketty, Th. 2015. *Kapital v XXI veke [Le Capital au XXIe siecle]* [in Russian]. Trans. from the French by A. Dunayev. Moskva [Moscow]: Ad Marginem.
- Putnam, H. 2002. *Razum, istina i istoriya [Reason, Truth, and History]* [in Russian]. Trans. from the English by T. A. Dmitriyeva and M. V. Lebedeva. Moskva [Moscow]: Praksis.
- Sombart, W. 2005. *Burzhua [Der Bourgeois]: k istorii dukhovnogo razvitiya sovremenno-go ekonomicheskogo cheloveka [zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen]* [in Russian]. Vol. 1 of *Sobraniye sochineniy [Collected works]*, trans. from the German by Z. Al. 3 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Vladimir Dal'.
- Tosh, J. 2000. *Stremeniye k istine. Kak ovladet' masterstvom istorika [The Pursuit of History. Aims, Methods and new Directions In the Study of Modern History]* [in

- Russian]. Ed. by V. A. Rusev. Trans. from the English by M. L. Korobochkin. Moskva [Moscow]: Ves' mir.
- Vinci, L. da. 1998. *Suzhdeniya o nauke i iskusstve [Judgements on Science and Art]* [in Russian]. Ed. by A. K. Dzhivelegov. Trans. from the Italian by A. A. Guber and V. P. Zubov. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Azbuka-klassika.
- Weber, M. 1990. *Izbrannyye proizvedeniya [Selected Works]* [in Russian]. Trans. from the German by Yu. N. Davydov. Moskva [Moscow]: Progress.
- . 2001. *Istoriya khozyaystva. Gorod [History of the Economy. City]* [in Russian]. Trans. from the German by D. B. Gervs. Moskva [Moscow]: KANON-press-Ts.
- Winch, P. 1996. *Ideya sotsial'noy nauki i yeye otnosheniye k filosofii [The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy]* [in Russian]. Trans. from the English by M. Gorbachev and T. Dmitriyev. Moskva [Moscow]: Russkoye fenomenologicheskoye obshchestvo.
- Wright, G. H. von. 1986. "Ob'yasneniye i ponimaniye [Explanation and Understanding]" [in Russian], trans. from the English by Ye. I. Tarusina, 35–242.

АЛЕКСАНДР КАЗАНКОВ, ОЛЕГ ЛЕЙБОВИЧ*

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ФЕЙЕРАБЕНДА**

ДИАЛОГ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ

Получено: 15.06.2020. Рецензировано: 20.08.2020. Принято: 29.08.2020.

Аннотация: Обсуждение современной ситуации с методами исторического исследования происходит в виде диалога двух практикующих историков, имеющих философский бэкграунд. Тема исторических методов рассматривается участниками диалога в широком контексте истории науки. Основные тезисы, сформулированные в диалоге, таковы: представление о существовании особого исторического метода или совокупности методов является отличительной чертой советской исторической школы. Генеалогия исторического метода (как и условия его возможности) связана с процессом самоопределения истории как позитивного знания. Позитивизм предполагал единство метода для всего корпуса наук: от астрономии до социологии. Эта позитивистская идея была воспринята марксизмом. По формуле Ф. Энгельса, историк обязан открывать связи в самих фактах, подобно любому естествоиспытателю. Тем самым история из отрасли метафизики и жанра назидательной литературы превращается в научную дисциплину — она обязана открывать всеобщие универсальные законы исторического процесса. Первое поколение советских историков-марксистов (М. Покровский, Н. Рожков) полностью идентифицировали себя с естествоиспытателями; своих оппонентов и предшественников они отождествляли с носителями ложного сознания — идеологами. Они пользовались готовой априорной схемой — учением об исторических формациях и классовой борьбе — но не подвергали ее рефлексии. Результатом такого подхода стало пренебрежительное отношение к содержанию исторических источников, закрепленное сталинской директивой в 1931 году. В 1930-е годы дисциплинарный статус истории был подвергнут критике К. Поппером за отсутствие прогностики. После этого за историей надолго закрепился статус эмпирической базы иных социальных дисциплин. Реакцией на это стало формулирование особых методов исторического исследования, не критично воспринятых советской и постсоветской университетской наукой. Наличие этих методов возвращало истории статус теоретической дисциплины. В заключительной части диалога эта позиция деконструируется на основе постпозитивистской философии науки П. Фейерабенда.

Ключевые слова: исторический метод, философия науки, позитивизм, советская историография, методология истории, современная эпистемология.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-71-92.

*Казанков Александр Игоревич, к. филос. н., доцент, Пермский государственный институт культуры (Пермь), tokugava2005@rambler.ru, ORCID: 0000-0002-6647-5047; Лейбович Олег Леонидович, д. и. н., профессор, Пермский государственный институт культуры (Пермь), oleg.leibov@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5191-939X.

**© Казанков, А. И.; Лейбович, О. Л. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

А. К.: В сообществе историков принято говорить об особенных методах исследования, которыми владеют только профессионалы. В авторефератах диссертаций стереотипным блоком идет перечисление методов: системного, историко-генетического, историко-биографического, сравнительно-исторического, метода периодизации, проблемно-хронологического и т. п. (см.: Веселов, 2019; Хатанзейская, 2019). Наряду с такими атрибутами исследования, как определение его *объекта* и *предмета*, его *целей* и *задач* они составляют непрременную часть локального научного дискурса.

О. Л.: В известном коллективном труде «Новые перспективы исторического письма» (см.: *New Perspectives on Historical Writing*, 2001), изданном под редакцией П. Бёрка, читатель не обнаружит упоминания ни об одном из вышеперечисленных методов. И это несмотря на то, что книга часто используется в качестве учебного пособия в западных университетах.

А. К.: Хотелось бы добавить, что в отечественном гуманитарном знании (и даже не только в нем) существует представление о некоем метадисциплинарном Историческом методе (именно так, с большой буквы). Вот, например, цивилист К. Арсланов уверено заявляет: «Исторический метод научных исследований, как правило, указывается в каждой диссертации по праву на соискание степени кандидата и доктора наук в качестве одного из основных» (Арсланов, 2019: 111). Для усиления аргументации диссертанты могли бы сослаться на высказывание К. Маркса: «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории» (Маркс и Энгельс, Айхенвальд, 1955: 16). Но есть любопытная подробность: в основной корпус «Немецкой идеологии» эта любимая историками цитата не вошла, Маркс сам ее вычеркнул.

О. Л.: Подобную ситуацию проще всего трактовать как яркое проявление самобытности отечественного исторического знания или как признак сложившейся научной школы. А можно усложнить, сформулировав вопрос: способно ли научное знание обладать самобытностью на уровне исследовательских методов? Или конкретнее: существуют ли особенные методы исторического исследования? Но, разумеется, философы предпочли бы такую формулировку: как возможен исторический метод?

А. К.: Формулировка почти кантианская. Согласимся, что ответ на подобный вопрос неотделим от решения другого: как возможна история как научная дисциплина? Напомним, что в ситуации кантианского вопрошания науки, которые подвергались трансцендентальному анализу, были уже действительны, а следовательно, возможны

(см.: Кант, Фохт, 1964). Тогда возникает еще один вопрос: с какого времени история действительно как научная дисциплина?

О. Л.: К решению этого вопроса можно подойти двояко: имманентно и трансцендентно. Последнее предполагает внешний взгляд на историческую науку, рассматривающий ее как сложившуюся *институцию*: появление университетских кафедр, профессиональных периодических изданий и утверждение позитивистского подхода к прошлому. Тогда история действительно с XIX века, а ее «отцом» можно признать Л. фон Ранке (см.: Савельева, Полетаев, 2007).

Имманентный подход, т. е. внутридисциплинарный, представлен двумя устоявшимися точками зрения на действительность истории: первая — существует непрерывность традиции исторического письма от Геродота до наших дней; вторая — история как отрасль знания, напротив, действительно со времени разрыва с Геродотом. С того самого времени, когда она самоопределяется, преодолевая традицию нравоучительной или эпической новеллы о занимательных событиях.

А. К.: Против возможности применения институционального подхода можно привести банальный аргумент: существование кафедр теологии и периодических теологических изданий вовсе не делает теологию наукой и не позволяет ставить вопрос о применяемых ею научных методах. Предпочтительней искать основания действительности истории, а следовательно — и ее методов, в пределах движения самого исторического познания.

О. Л.: Тогда перед нами возникает еще одна проблема, которую требуется решить: как можно зафиксировать появление истории как науки, находясь в пределах самой исторической традиции? Иначе говоря: как понять, что началась современная историография — когда-то и как-то?

А. К.: В широком философском смысле начало есть момент, событие, нечто вроде точки сингулярности, когда нечто сущее преходит, подвергается отрицанию и это отрицание (в тот же момент и в том же определении) создает новую позитивную данность — это ответ на вопрос «как?». Что касается вопроса «когда?», стоит вспомнить рекомендацию лучшего эксперта по разного рода генеалогиям знания — М. Фуко. Он высказывал обоснованное сомнение по поводу существования длинных непрерывных интеллектуальных традиций и гомогенности любого дискурса (морального, религиозного, исторического)¹.

¹ «Генеалогия не претендует на то, чтобы повернуть время вспять и установить громадную континуальность, невзирая на разбросанность забытого; она не ставит перед собой

О. Л.: Стало быть, начало истории как действительной науки следует искать на короткой временной дистанции — в точке разрыва, когда она отделяется от метафизики и морализирующего литературного повествования. В последней трети XIX столетия, как было замечено бельгийским историком: «History was strictly distinguished from literature and philosophy» (Warland, 2010: 33).

А. К.: Согласившись с тем, что история действительна как наука с последней трети XIX столетия, мы получаем примерную датировку «разрыва», отрицания традиции, после которого можно предположить оформление исторического метода (или методов). Интересующее нас событие по времени неслучайно совпадает с господством позитивизма в интеллектуальной сфере.

О. Л.: Необходимо учесть еще и марксистский ответ позитивистам. К. Маркс действительно ответил на вызов, брошенный О. Контом. Главной заслугой немецкого философа Ф. Энгельс считал именно превращение истории в науку: «... это понимание наносит философии смертельный удар в области истории точно так же, как диалектическое понимание природы делает ненужной и невозможной всякую на-тур-философию. Теперь задача в той и в другой области заключается не в том, чтобы придумывать связи из головы, а в том, чтобы открывать их в самих фактах» (Энгельс, Айхенвальд, 1961: 316).

А. К.: Да, открывать связи в самих фактах — такую формулировку исторического метода не оспорил бы ни один ортодоксальный позитивист. Все совпадает: момент самоопределения науки, провозглашение метода, разрыв с метафизикой и моральным дискурсом. Действительно, точка сингулярности. И удивительно близко расположенная по отношению к современности. История как наука родилась под вифлеемской звездой позитивизма: в момент ее появления внутрь новой дисциплины была некритично экстраполирована из естествознания субъект-объектная структура наблюдения, релевантная классической рациональности².

задачу показать, что прошлое все еще здесь, благополучно живет в настоящем, втайне его оживляя, предварительно придав всем помехам на пути форму, предначертанную с самого начала [...] Поиск истока не приводит к основе, напротив, он растревоживает то, что мыслилось неподвижным, он дробит то, что полагалось единым, он показывает гетерогенность того, что мнилось пребывающим в согласии с самим собой» (Фуко, Фурс, 1996: 74–97).

²Классический идеал рациональности мы принимаем в формулировке М. К. Мамардашвили. (см.: Мамардашвили, 2004).

О. Л.: Русские историки-марксисты первого поколения декларировали и популяризировали эту идею совершенно открыто, как правило, в упрощенной форме, подчеркивая тождество истории и естествознания. Так, М. Н. Покровский утверждал, что историки могут прямо созерцать минувшее: «Совершенно ошибочно, будто непосредственное наблюдение культурно-исторических фактов — дело абсолютно невозможное: на земном шаре есть целый ряд народов, теперь еще стоящих на тех ступенях развития, которые для европейцев представляются более или менее отдаленным прошлым» (Очерк истории русской культуры, 2012: 19). Неповторимость исторических событий — не помеха: «Но уже в астрономии, например, индивидуального сколько угодно» (там же: 18).

По мнению Н. Рожкова, методические ходы историка неотличимы от действий естествоиспытателя: «...как современная физика сводит все физические явления, в конечном счете, к электрическим явлениям, объясняя многое и непосредственно этими элементарными процессами, так и современная социология многое в общественной жизни объясняет непосредственно влиянием экономических явлений, сводя все общественные явления, в конечном счете, к явлениям хозяйственным» (Рожков, 1926: 10).

А. К.: Позволю себе заметить, что в данном случае никакого представления об особых, специфических для исторического исследования методах мы не обнаруживаем ни у позитивистов, ни у марксистов. Историческая наука становится действительной не благодаря, а вопреки оригинальности подхода. Чуждый всякой метафизике (которой был нанесен «смертельный удар»), основанный сугубо на фактах научный метод должен был установить необходимые связи в самом предмете, открыв тем самым законы истории. Законы эти должны были обладать характерными особенностями всеобщего и необходимого (т. е. естествонаучного) знания и являться воплощением принципа детерминизма.

О. Л.: Реализация приведенной выше формулы Энгельса («открывать связи в самих фактах») породила множество противоречий. Говорить нечто подобное после «Трансцендентальной аналитики» И. Канта философу было просто неуместно. В этом разделе «Критики чистого разума» вполне убедительно обоснована роль априорной схематики в конструировании каких бы то ни было связей в естествознании. Они не «считываются» с фактов, иначе «разумная действительность» научного изображения природы просто не состоится. Взгляд ученого был бы обречен вечно блуждать по дурной бесконечности эмпирического.

А. К.: Чуть позже еще Э. Гуссерль, следуя за Кантом, продемонстрировал, как именно при непосредственном участии Г. Галилея в естествознание была внедрена *mathesis universalis* (универсальная математика) (см.: Гуссерль, Молчанов, 2000). Но эти философские предостережения были проигнорированы исполненными позитивистского оптимизма историками. Кажущаяся прозрачность аналогичного естествознанию исторического описания не позволяла даже поставить вопрос о том, что в труде историка выполняет функцию априорного математического разума в практике естествоиспытания. Эта роль в Советской России *de facto* исполнялась социологическими законами в их марксистской интерпретации³. Априорная схема все-таки пришла и немедленно стала дисквалифицировать факты, из которых, по идее, должна быть извлечена.

О. Л.: Вы имеете в виду письмо И. В. Сталина в редакцию исторического журнала, где он обличает «архивных крыс» и «безнадежных бюрократов», роющихся в «бумажных документах» (Сталин, 1951: 96)?

А. К.: Да, именно его. После этого директивного требования «факты» приобрели характер исчезающего момента реализации априорной «исторической закономерности», тем самым полностью утратив самостоятельное значение. Сама же историческая закономерность надолго стала компонентой властного дискурса⁴. Сталин сам определял, что является социальным законом, а что — нет. Всякие попытки самостоятельного формулирования законов общественного развития могли оказаться «вульгарным (абстрактным) социологизмом». «Открывать связи в фактах» стало занятием бесполезным, предосудительным и опасным. Параллельно происходил процесс дисквалификации позитивистских методов исторического исследования, на глазах превращавшихся в «буржуазный объективизм» и «методы фальсификации исторической действительности».

³ «Именно тогда для большинства историков не существовало дилеммы, должна ли история стать социальной наукой. В СССР вопрос так вообще не ставился, потому что единой для всех исследований объяснительной схемой был исторический материализм, развитая социальная теория». (Савельева, 2017: 7)

⁴ Михаил Геллер сформулировал различие между историческими доктринами М. Н. Покровского и И. В. Сталина: «Можно считать марксистскую интерпретацию прошлого в изложении Покровского и его „школы“ ошибочной или верной. Бесспорно то, что она была концептом, логической конструкцией, позволявшей иметь прочное мировоззрение. Доктрина может меняться мгновенно, по мановению верховной руки, но в промежутках — она неподвижна, нерушима. До очередного поворота» (Геллер, 1991: III).

О. Л.: Процесс завершился далеко не сразу. Н. И. Бухарин еще получил возможность высказать в газетной статье сомнение по поводу избыточной схематичности М. Н. Покровского: «...он оторвал общество от его агентов, абстрактное от конкретного, социологию от истории, „законы“ от „фактов“...» (Бухарин, 1936). Проницательный читатель мог догадаться, что речь шла не только и не столько о взглядах покойного академика.

А. К.: Таким образом, дисциплинарное становление советской историографии было абортировано. Она неизбежно стала приближаться к «доисторическому» облику исторической традиции, стремясь в пределе к назидательной новелле или эпическому мифу. Во всяком случае, именно по этим критериям исторические монографии оценивала партийная печать. Академик С. Б. Веселовский иронизировал: «...новостью является только то, что наставляя историков на путь истины „сравнительно недавно“ взялись литераторы, драматурги, театральные критики и кинорежиссеры» (Веселовский, 1963: 34).

О. Л.: Интересно то, что примерно в это же время в западной историографии, которая развивалась непрерывно и на собственных основаниях, следовательно — независимо от советских злоключений, тоже созрел внутридисциплинарный кризис. Его обозначил К. Поппер в своем докладе «Нищета историцизма», прочитанном в 1936 году в Брюсселе.

А. К.: Ваш тезис звучит еретически. Всем известно, что критика К. Поппера адресована именно марксистскому «историческому материализму». Да и сам он об этом неоднократно высказывался: «Моей главной целью была критика марксистского „материалистического понимания истории“ — попытки предсказать, что социализм (или коммунизм) неизбежно наступит в результате надвигающейся социальной революции» (Поппер, Кудрина, 1993: III).

О. Л.: Позволю себе не поверить самому автору текста. Речь шла об общем кризисе исторического знания. Марксизм в Европе был только частью общего позитивистского интеллектуального ландшафта с его прогрессизмом, верой в силу научного разума, в конечном счете — телеологичностью. Неслучайно в приведенной цитате марксизм обвиняется именно в недостаточной прогностической эффективности. Вот предсказывает же астрономия затмения и движение планет через столетия. А историки не смогли предвидеть наступления Нового Средневековья.

А. К.: Т.е. основным вызовом исторической науке стал национал-социализм, победивший в одной отдельно взятой стране?

О. Л.: Не совсем так. У Поппера прагматический, совершенно утилитарный подход, во многом подобный подходу Сталина. Для Иосифа Виссарионовича история есть служанка политики, целиком зависящая от меняющейся конъюнктуры. У Карла Поппера историческая наука должна давать обоснованные и достоверные прогнозы. Его навязчивые аналогии с астрономией свидетельствуют именно об этом. Реконструкция прошлого, приближающаяся к идеалу объективности, не имеет ни для того, ни для другого никакого самостоятельного значения. Совсем по Марксу: «В практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления» (Маркс, Айхенвальд, 1955: 1). В попперовском понимании история действительно только в качестве эмпирической базы для социологии⁵.

А. К.: Следовательно, неудовлетворительность прогностики вынудила позитивиста Поппера поставить вопрос о возможности позитивной исторической теории и, соответственно, произвести методологическую ревизию. Неизбежно должен был возникнуть вопрос и о пресловутых «законах истории». По мнению К. Поппера, они [законы] должны формулироваться по тем же правилам, что и законы «преуспевающих» наук, и производиться теми же процедурами. Никаких особых методов исторического познания он не признает.

О. Л.: Спустя тридцать лет эта тема всплыла в среде советских историков в процессе профессионального самоопределения научного общества. Отечественная историческая школа за малым исключением (Кертман, 1971: 55 - 68) никаких законов не открывала, предоставив это социологии. Академик Е. М. Жуков открыто признал фиаско исторической науки: «Разница в подходе социологии и истории к общему объекту исследования заключается в том, что социология выявляет и выделяет преимущественно то общее, типическое, что присуще процессу всемирной истории, история же концентрирует свое внимание преимущественно на частных проявлениях общих закономерностей ...» (Переход от феодализма к капитализму..., 1969: 104).

А. К.: Необходимо уточнить, что под социологией в данном случае понимается философия исторического материализма в соответствии со сложившейся традицией (см.: Ленин как философ, 1969; Колосов, 2004).

⁵ «Нелено было бы отрицать важность истории как эмпирического базиса социальной науки» (Поппер, Кудрина, 1993: 48).

О. Л.: Мне кажется, что в нашем диалоге присутствует какое-то слепое пятно. Мы все ходим вокруг да около исторических методов, но до сих пор не представили анализа ни одного из них.

А. К.: Это неслучайно. Ни один из упомянутых авторов — от Ф. Энгельса до К. Поппера — этим тоже не озаботился. Попросту говоря, номинация той или иной исследовательской процедуры («наблюдать», «открывать связи в самих фактах» и т. п.) не сопровождалась ее конкретным, я бы сказал, операциональным описанием. Т. е. «наблюдение исторических фактов осуществляется следующим образом ...». В «Ниццете историцизма», по крайней мере, описана процедура *наблюдения и эксперимента* и сделана попытка установить их возможность в историческом исследовании. Попытка поверхностная, если не сказать скверно выполненная. В сухом остатке оказалось следующее: экспериментальный метод в историческом исследовании принципиально не применим (не выполняется требование серийности и бесубъектности); сочиненные историками «законы» следует признать фальсифицированными. В силу того, что методы естествознания и социальных наук идентичны, история не обладает статусом социальных наук.

О. Л.: Возможно, академик Е. М. Жуков был знаком с этим выводом: «Исторические науки принимают универсальные законы за нечто само собой разумеющееся и заинтересованы главным образом в том, чтобы найти и проверить единичные утверждения» (Поппер, Кудрина, 1993: 165).

А. К.: После такого вердикта профессиональной корпорации историков следовало бы влиться в литобъединения. Были же, в конце концов, талантливые писатели: Эмиль Людвиг, Анри Моруа. Стефан Цвейг.

О. Л.: Можно добавить в этот ряд малоизвестного за пределами русской эмиграции Марка Алданова. Однако массовой переквалификации в литераторы в среде историков не произошло. Судя по всему, «внешняя» критика философа-методолога осталась незамеченной и историками, и университетской администрацией. Скажу больше: производительность «исторического цеха» в 30–50-е годы резко возросла. Запрос на его продукцию был сформирован Второй мировой войной, плавно перетекшей в холодную. В воюющих (холодно, горячо ли) обществах от историков ждали доступных и популярных текстов, вызывающих патристическое единение нации, предостерегающих от непоправимых ошибок, указующих на «исторических друзей» и «исторических врагов».

А. К.: Классическим примером востребованности исторического нарратива является успех книги американской журналистки Б. Такман

«Августовские пушки» (см.: Tuchman, 1962). Если верить современникам, она была настольной книгой Дж. Ф. Кеннеди. Он искал в ней ответ на вопрос, как избежать сползания к новой мировой войне, и рекомендовал ее всем своим посетителям (Sorensen, 1996: 577 - 578).

О. Л.: Союз с литературой состоялся: «Повествующая история была генетически связана с беллетристическим рассказом» (Вжозек, 1991: 69).

А. К.: При этом историки оставались историками, читали лекции и публиковали монографические исследования, ни сколько не сомневаясь в своей профессиональной идентичности. Мы едва ли сможем узнать что-либо о том, как историки формировали дисциплинарное знание. Можно предположить, что навыки «исторического ремесла» передавались именно «ремесленным» же способом, как «личностное знание» у М. Полани (см.: Полани, 1985). Мы не знаем, насколько эти рутинные практики были алгоритмизированы.

О. Л.: Во всяком случае, до того момента, пришедшегося на рубеж 50-х–60-х годов, когда историки в качестве младших партнеров вступили в альянс с социологами (Савельева, 2017: 5–24). С социологами, кстати, принадлежавшими к предшествующему поколению американских исследователей, которые были ориентированы на социальную статистику и всерьез претендовали на статус точной, генерализирующей науки. Вслед за ними историки стали бредить математикой. Хорошим тоном в профессиональной среде стало оснащение публикаций графиками и таблицами.

А. К.: Было бы интересно заглянуть в то «теневое» умозрительное пространство, в котором рождались исторические гипотезы, но это невозможно⁶. Дисциплинарно-методологические строгости затронули только процедуры их верификации (фальсификации). Тут царствовали принцип корреляционных коэффициентов и весьма несложная математика.

О. Л.: Вы не совсем правы. Частью ремесла историка все-таки является по-прежнему не алгоритмизированная (т. е. ускользающая от требований метода) процедура извлечения фактов из источников. О ней можно сказать только одно: общая сциентистская установка заставляла искать в них только экстенсивные параметры, т. е. массовые явления. В этом видели и зачастую видят аналог естественнонаучного понятия «репрезентативность».

⁶О том, «из какого сора» вырастают научные гипотезы (см.: Фейерабенд, Никифоров, 1986: 125–467).

А. К.: В профессиональном сообществе отечественных историков репрезентативность стала фетишем — главным аргументом в пользу научности исследования. Сработала лобовая аналогия с серийностью лабораторных экспериментов (и массовых социологических опросов): больше архивов, больше фондов, шире географический охват («А вы по Карелии данные проверяли?»).

О. Л.: Я вижу здесь только одну профессиональную слабость: слепую веру в документ, если в нем содержится таблица, заполненная цифрами. При этом сразу же забывают предостережение Ле Гоффа: «Документ отнюдь не отличает первозданная непогрешимость» (Ле Гофф, 2013: 13). Вы же считаете всю эту аналогию некорректной?

А. К.: Да. Но для того, чтобы развесть расхожее представление о репрезентативности и её действительном естественнонаучном смысле, нам придется на какое-то время забраться в дебри философии науки. Обратиться к тем теориям, которых большинство историков «ни при какой погоде» не читало. Дело в том, что достоверность (или объективность) вывода в естественных науках связана с серийностью наблюдений не в первую и даже не во вторую очередь. Деконструкция классической субъект-объектной схемы наблюдения показала, что она основана на некоторых гипотетических (неверифицируемых) основаниях.

О. Л.: Что Вы имеете в виду?

А. К.: Прежде всего, представление о едином, гомогенном пространстве гипотетического опыта. Проще говоря, наблюдаемое в нашей части Вселенной должно наблюдаться в любой ее части. Далее — и это главное — иллюзорное самоустранение наблюдающего субъекта. В классической эпистемологии он является бестелесной и асоциальной «точкой прозрачности». Не субъект наблюдает природу, а посредством него природа осуществляет репрезентацию себя себе самой. И, наконец, и в наблюдателе (которого нет), и в самом естестве присутствует одна и та же априорная математика. До того как нечто наблюдать, он производит расчет. Акт наблюдения либо верифицирует, либо фальсифицирует его. Мир является простым и бездушным механизмом, который не может сам по себе произвести нечто, чего бы наблюдатель не мог бы получить в предварительном вычислении. Мир не способен на поступок. Вот, собственно, это есть репрезентативность *per se*.

О. Л.: В таком случае серийность наблюдений того или иного феномена имеет очень ограниченное значение?

А. К.: Да. А именно то, что серия наблюдений может позволить уточнить характер тех или иных констант или параметров. Десять

тысяч «взвешиваний» точнее покажут массу электрона, нежели восемь тысяч, но не изменят понятия «электромагнитное взаимодействие».

О. Л.: Должно ли понимать это так, что объективность естествоиспытателя очень условна?

А. К.: Сформировавшееся в современной философии науки представление о неклассической и постнеклассической рациональности убеждает именно в этом (см.: Степин, 2013).

О. Л.: Вернемся к историкам. На заседаниях ученых советов часто можно услышать вопрос: насколько репрезентативно ваше исследование? Правильный ответ гласит: в моей диссертации представлены 120 фондов из 15 центральных и областных архивов. Скажем сразу, что к той репрезентативности, о которой шла речь выше, и вопрос, и ответ не имеют отношения. На самом деле подразумевается серийность, но отнюдь не репрезентативность. В противном случае нам придется различать репрезентативность по отношению к реальности и репрезентативность по отношению к источникам.

А. К.: Да, действительно, историк не вписывается в конфигурацию «точки прозрачности», в которой социум представляет себя самому себе. Во-первых, не следует считать, что социальное пространство в исторической перспективе гомогенно. Во-вторых, элиминировать наблюдателя — самого историка — невозможно в силу его профессиональной и общекультурной нагруженности. В-третьих, реальность исторических событий всегда дана ему через гипотетического другого — автора текста, сохраненного в документе.

О. Л.: А вот это хорошо понимал А. А. Кизиветтер, предостерегавший от поисков народной души в казенных бумагах: «Московские дьяки умели писать не хуже петербургских статс-секретарей» (см.: Кизиветтер, 1928).

А. К.: Массовые источники, следовательно, лгут массово? И репрезентативность исторического исследования — это не просто внутринаучная иллюзия, но иллюзия в квадрате?

О. Л.: В историческом исследовании репрезентативность, понимаемая как серийность, должна была стать эквивалентом естественнонаучной объективности. Формальная схожесть множественности привлеченных источников (в истории) и выполненных наблюдений (в естествознании) могла создавать иллюзию научной обоснованности. Однако это сходство следует признать содержательно ничтожным и ничего не объясняющим, но функционирующим как регулятивный принцип И. Канта: направляющим познание к окончательному синтезу опыта, т. е. в дурную

бесконечность. В конце концов, всегда останется Мезенский уезд или Карагайский район, не охваченный диссертантом.

А. К.: А можно из этой дурной бесконечности выскочить? Если да, то как?

О. Л.: Прежде всего нужно перестать подражать науке XIX века и не делать вид, будто гипотезы рождаются из фактов, которые даны сами по себе, т. е. независимо от сложившихся в науке конвенций. Это избавляет от необходимости стремиться к завершенности эмпирического синтеза. Дело в том, что единственный контраргумент («В Верхней Пышме, возможно, было не так») способен дисквалифицировать любой вывод. Поэтому приверженцам традиционного представления о репрезентативности исторического исследования следует помнить: индукция совершенна только в том случае, если она полна. В современной науке, напротив, сложилось устойчивое представление о релевантных и аномальных по отношению к теории фактах. Представление о чисто индуктивной науке, где «независимые» факты просто подводятся под теоретическую крышу (обобщение) давно осталось в прошлом.

А. К.: Получается так, что историки, реализуя проект дисциплинарной строгости, загоняют себя в методологическую ловушку. Следуя не вполне адекватно понятому идеалу научности, они предъявляют к себе явно не выполнимые требования. Бремя общенаучных (в классическом понимании) методов оказалось непомерным. В такой ситуации теоретически мыслящие историки рано или поздно должны были прийти к идее замещения единого научного метода (как они его понимали) множеством частных, профессиональных методов.

О. Л.: В данном случае речь идет о типичном идеологическом трансферте. Свои скрытые комплексы по отношению к научному «сверх-Я» (физикам) историки реализовали в представлении об особенных, исключительно им принадлежащих методах исследования, свидетельстве дисциплинарной зрелости и первенства советской науки над западной.

А. К.: Можно ли зафиксировать момент их появления?

О. Л.: И довольно точно. Это 80-е годы XX века, когда И. Д. Ковальченко опубликовал свою монографию (Ковальченко, 1987). Терминологический словарь по теории и методологии исторической науки так представляет вклад И. Д. Ковальченко в современную историографию: «Понятие „основные методы исторического исследования“ было введено И. Д. Ковальченко для обозначения наиболее распространенных логических схем исторического дискурса, которые связаны с типовыми аналитическими задачами научного исследования [...] Совокупность исполь-

зуемых аналитических процедур была положена в основу выделения следующих основных методов исторического исследования: историко-генетического, историко-сравнительного, историко-типологического, историко-динамического (историко-диахронного), историко-системного. Каждый из них задает свой логический план исследования» (Теория и методология исторической науки, 2014: 362–363).

А. К.: Как же эти методы были обнаружены?

О. Л.: На пике сциентистских увлечений историков 60–70-х годов Иван Дмитриевич много работал в области моделирования исторических процессов. Основной проблемой, поднимаемой в его публикациях той поры, являлась возможность построения концептуальных моделей исторической реальности. Например, его интересовал переход от феодально-крепостнического к капиталистическому укладу в сельском хозяйстве Российской империи. Основой применения количественных методов исследования (построения таблиц и графиков) должна была стать «сущностно-содержательная модель», т. е. конкретно-историческая теоретическая схема (Ковальченко, 1978: 72–93). Для количественных методов было достаточно несложной математики. С сущностно-содержательной концептуальной матрицей дело обстояло не так просто. Для ее получения и были сконструированы специфические методы, упомянутые выше.

А. К.: Знакомство с авторефератами диссертаций по истории, рабочими программами дисциплин, учебной литературой позволяет утверждать, что на сегодняшний день в российской историографии эти методы стали общим местом, не нуждающимся в какой бы то ни было интерпретации, а уж тем более — в деконструкции. В лучшем случае их иллюстрируют примерами. Так, Р. Коллингвуд применял «историко-генетический метод» (интересно, знал ли он об этом?), Дж. Фрезер — «историко-сравнительный» и т. п. А если поставить вопрос: не являются ли эти методы простыми номинациями без содержательного наполнения, ящичками с надписями, в которых ничего не лежит?

О. Л.: Напрашивается простая аналогия. Представим себе теоретика музыки. Тщательно наблюдая за игрой музыкантов в течение долгих лет, он решает сформулировать особенные методы исполнительского процесса. Он отмечает, что ударная группа пользуется стучально-ритмическим методом, в то время как исполнители, играющие на духовых инструментах, применяют дифференциально-дудельный метод. Названные методы являются результатом обобщения зрелой практики и основой стратегии музыкального образования. Спросим себя, какова эвристическая ценность подобных такого рода методов?

А. К.: Разумеется, любая аналогия хромает. И. Д. Ковальченко опирался на мощную сциентистскую традицию и стремился соединить ее с марксистской концептуальной схематикой. Выдвинутые им методы идеально выписываются в этот проект, более того, они в нем являются содержательными. За пределами подобного подхода специфические методы исторического исследования превращаются в плеоназм — избыточное удвоение содержания, и без того присутствовавшего в трудах историков.

О. Л.: Означает ли дисфункциональность вышеизложенных методов исследования дисквалификацию истории как научной дисциплины? Неизбежен ли методологический пессимизм, который заметен даже в учебно-методических изданиях? В пособии для историков, опубликованном в 2016 году, можно обнаружить следующие ламентации: «Здесь, конечно же, используются традиционные средства научного исследования. Однако сам объект изучения делает выводы, полученные с помощью этих и других методов (реконструкция исторического прошлого, интерпретация исторических источников, генерализация и др.), порой, весьма размытыми, относительными и спорными» (Мартюшов, 2016: 4).

А. К.: Вообще нет. Необходимо учитывать то обстоятельство, что представления о самой научности необратимо меняется, прежде всего, в философии постпозитивизма и даже частично в неопозитивизме. Поздние тексты К. Поппера, например, существенно отличаются от ранних. В них появляется тезис о конкуренции различных научных программ, требование строгой верифицируемости замещается «мягким» положением о принципиальной фальсифицируемости и т. п. (см.: Поппер, Кудрина, 1993). А наиболее ярко и аргументировано современный взгляд на содержание научной деятельности представлен в работах П. Фейерабенда. Мы просто должны правильно понять ситуацию, сложившуюся после появления его анархической эпистемологии. А полученные выводы будут действительны и для историков.

О. Л.: Если абстрагироваться от методического пуризма, можно построить универсальную модель научной деятельности: она подразумевает два последовательных цикла (или фазы). Первый — это выдвижение гипотезы, которое осуществляется в предельно широком социокультурном контексте. Второй начинается с отбора релевантных гипотез фактов, на основе которых осуществляется ее верификация. Методы здесь работают самые обычные, общенаучные, одинаковые для любого вида исследований. Гипотеза всегда содержит в себе онтологическую

схему, привязывающую исследование к определенной предметной области. Так, однажды Мишель Фуко выдвинул гипотезу о значимости дисциплинарных практик для конкретно-исторической стадии эволюции человеческих обществ. Гипотеза позволила, во-первых, ввести в оборот или реинтерпретировать множество источников, во-вторых, разметила новые «области сущего» (М. Хайдеггер) в историческом контексте, в-третьих, стала конструктивным проектом, она была многократно верифицирована в исследовании различных обществ, в том числе и советского (см.: Хархордин, 2002).

А. К.: Для историков это означает появление возможности формулировать гипотезы на основе всего корпуса гуманитарного знания. В том числе на основе беллетристики, кинематографа, театра и т. п. И это вовсе не является свидетельством теоретической вторичности истории. Так реализуется общенаучный принцип исчерпывающей полноты возможных версий и объяснительных моделей. Главное, чтобы они «работали», т. е. позволяли обнаруживать релевантные гипотезе источники, расширяли их круг, фокусировали взгляд исследователя на те или иные аспекты прошлого. Это предполагает также личную ответственность историка за адекватную интерпретацию источников, ведь работает именно исследователь, а не абстрактный метод. Только широта его эрудиции, знание исторического контекста и языков эпохи, последовательно-критическое отношение к памятникам прошлого и обязательное владение технологиями верификации гипотез определяет дисциплинарный статус его продукции.

О. Л.: Следовательно, отсутствие специфических методов исторического исследования — это благо для профессиональной корпорации?

А. К.: Да. Поскольку оставляет ее в пределах науки. Историк — не тот, кто сочиняет версии, а тот, кто следует общенаучному принципу достаточности оснований. Сама же эта достаточность определяется, кстати, самим профессиональным сообществом в рамках сложившихся в нем конвенций. Эпистемологический анархизм в процессе выдвижения гипотез всегда дополняется строгостью и формализованностью предъявляемой аргументации.

О. Л.: Значит, существует научная жизнь у историков и после П. Фейерабенда?

А. К.: Такая возможность есть.

ЛИТЕРАТУРА

- Арсланов К. М.* Исторический метод и современные цивилистические исследования // Методологические проблемы цивилистических исследований. — 2019. — № 1. — С. 101–114.
- Бухарин Н. И.* Нужна ли нам марксистская историческая наука? : О некоторых существенно важных, но несостоятельных взглядах тов. М. Н. Покровского // Известия. — 1936. — № 27.
- Веселов С. И.* Автомобильно-дорожное строительство на севере Западной Сибири в 1963–91 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Веселов С. И. — Сургут, СурГУ, 2019.
- Веселовский С. Б.* Исследования по истории опричнины. — М. : Изд-во АН СССР, 1963.
- Вязозек В.* Историография как игра метафор : судьбы «новой исторической науки» // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. — 1991. — С. 60–75.
- Геллер М.* История и политика // Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / под ред. М. Н. Покровского. — London : Overseas Publications Interchange, 1991. — С. 1–4.
- Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / пер. с нем. В. И. Молчанова // Логические исследования. Картезианские размышления. — М., Минск : АСТ, Харвест, 2000. — С. 544–624.
- Кант И.* Критика чистого разума / пер. с нем. Б. А. Фохта // Сочинения. В 6 т. Т. 3 / под ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. — М. : Мысль, 1964.
- Кертман Л. Е.* Законы исторических ситуаций // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. — 1971. — С. 60–75.
- Кизиветтер А. А.* Общие построения русской истории в современной литературе // Современные записки. — 1928. — № 37. — С. 310–341.
- Ковальченко И. Д.* О моделировании исторических процессов и явлений // Вопросы истории. — 1978. — № 8. — С. 72–93.
- Ковальченко И. Д.* Методы исторического исследования. — М. : Наука, 1987.
- Колосов В. А.* Социология как наука : дискуссии в отечественной литературе 20-х – начала 30-х годов XX века. — Архангельск : изд-во Арх.ГТУ, 2004.
- Ле Гофф Ж.* История и память / пер. с фр. К. З. Акоюна. — М. : РОС-СПЭН, 2013.
- Ленин как философ* / под ред. М. М. Розенталя. — М. : Госполитиздат, 1969.
- Мамардашвили М. К.* Классический и неклассический идеалы рациональности. — М. : Логос, 2004.
- Маркс К.* Тезисы о Фейербахе // Собрание сочинений. В 50 т. Т. 3 / К. Маркс, Ф. Энгельс ; пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1955. — С. 1–4.

- Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология // Собрание сочинений. В 50 т. Т. 3 / пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1955. — С. 7–544.
- Мартышов Л. Н.* Методы исторического исследования : учебное пособие. — Екатеринбург : УрГТУ, 2016.
- Переход от феодализма к капитализму в России : материалы Всесоюзной дискуссии / под ред. В. И. Шункова. — М. : Наука, 1969.
- Покровский М. Н.* Очерк истории русской культуры. Экономический строй: от первобытного хозяйства до промышленного капитализма. Государственный строй: обзор развития права и учреждений. — М. : Книжный дом «Либроком», 2012.
- Полани М.* Личностное знание / пер. с англ. М. Б. Гнедовского. — М. : Прогресс, 1985.
- Поппер К.* Нищета историцизма / пер. с англ. С. А. Кудриной. — М. : Прогресс, 1993.
- Рожков Н.* Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). — М. : Книга, 1926.
- Савельева И. М.* Историческая наука в XXI веке : ключевые слова // Диалог со временем : Альманах интеллектуальной истории. — 2017. — № 58. — С. 5–24.
- Савельева И. М., Полетаев А. В.* Становление исторического метода : Ранке, Маркс, Дройзен // Диалог со временем : Альманах интеллектуальной истории. — 2007. — № 18. — С. 68–96.
- Сталин И. В.* О некоторых вопросах истории большевизма : письмо в редакцию журнала «Пролетарская Революция» // . — М. : Государственное издательство политической литературы, 1951. — С. 84–102.
- Степин В. С.* Типы научной рациональности и синергетическая парадигма // Сложность. Разум. Постнеклассика. — 2013. — № 4. — С. 45–59.
- Теория и методология исторической науки : терминологический словарь / под ред. А. О. Чубарьяна. — М. : Аквилон, 2014.
- Фейерабенд П.* Против метода. Очерк анархистской теории познания // Избранные труды по методологии науки / пер. с англ. А. Л. Никифорова. — М. : Прогресс, 1986. — С. 124–467.
- Фуко М.* Нищета, генеалогия и история / пер. с фр. В. Фурс // Философия эпохи постмодерна : Сборник переводов и рефератов / под ред. А. Усмановой. — Минск : Красико-принт, 1996. — С. 74–97.
- Хархордин О. В.* Обличать и лицемерить : генеалогия российской личности. — СПб., М. : Европейский университет в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2002.
- Хатанзейская Е. В.* Стратегии выживания населения в повседневной жизни советского города, 1929–1945 гг. по материалам Архангельска : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Хатанзейская Е. В. — Архангельск, САФУ, 2019.
- Энгельс Ф.* Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Собрание сочинений. В 50 т. Т. 21 / К. Маркс, Ф. Энгельс ; пер. с нем.

- Ю. И. Айхенвальда. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1961. — С. 269–317.
- New Perspectives on Historical Writing / ed. by P. Burke. — University Park : The Pennsylvania State University Press, 2001.
- Sorensen T. Kennedy. — New York : Bantam, 1996.
- Tuchman B. The Guns of August. — London : Macmillan, 1962.
- Warland G. Towards Professional History in Belgium and France : “l'école de la méthode” and “l'école de la citoyenneté” // *Leidschrift*. — 2010. — No. 1. — P. 33–53.

Kazankov, A. I., and O. L. Leybovich. 2020. “Yest' li zhizn' posle Feyyerabenda [Is There Life After Feयरabend]: dialog ob istoricheskom metode [A Dialogue About the Historical Method]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 71–92.

KAZANKOV ALEKSANDR IGOREVICH
PHD IN PHILOSOPHY, ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF CULTURAL STUDIES AND PHILOSOPHY
PERM STATE INSTITUTE OF CULTURE (PERM, RUSSIA); ORCID: 0000-0002-6647-5047

LEYBOVICH OLEG LEONIDOVICH
DOCTOR OF LETTERS IN HISTORY, PROFESSOR
HONORED WORKER OF THE HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
HEAD OF CULTURAL SCIENCE AND PHILOSOPHY DEPARTMENT
PERM STATE INSTITUTE OF CULTURE (PERM, RUSSIA); ORCID: 0000-0001-5191-939X

IS THERE LIFE AFTER FEYERABEND A DIALOGUE ABOUT THE HISTORICAL METHOD

Submitted: June 15, 2020. Reviewed: Aug. 20, 2020. Accepted: Aug. 29, 2020.

Abstract: The discussion about modern situation with methods of historical research takes place in the form of a dialogue of two practicing historians with philosophical background. The topic of historical methods is considered by two participants of the dialogue in the broad context of the history of science. The main theses stated in the dialog are as follows: The idea of the existence of a special historical method, or a set of methods, is a distinctive feature of the Soviet school of history. The genealogy of the historical method, as well as the conditions of its possibility, is connected with the process of self-determination of history as positive knowledge. Positivism presupposed the unity of the method for the whole body of science: from astronomy to sociology. This positivist idea was perceived by Marxism. According to F. Engels' formula, the historian is obliged to open connections in the facts themselves, like any natural scientist. In this way, history from the field of metaphysics and the genre of inspirational literature becomes a scientific discipline. It has to discover the universal universal laws of the historical process. The first generation of Soviet Marxist historians (M. Pokrovsky, N. Rozhkov) fully identified themselves with naturalists; they identified their opponents and predecessors with the owners of false consciousness — ideologists. They used a ready-made a priori scheme: the doctrine of historical formations and class struggle. But they did not subject it to reflection. The result of this approach was a dismissive attitude to the content

of historical sources, enshrined in Stalin's 1931 directive. In the 1930s, the disciplinary status of history was criticized by K. Popper for lack of prognostication. After that the status of the empirical base of other social disciplines was fixed for a long time. The reaction to this was the formulation of special methods of historical research that were not critically accepted by Soviet and post-Soviet university science. The presence of these methods returned the status of a theoretical discipline to history. In the final part of the dialogue, this position is deconstructed on the basis of the postpositivist philosophy of science by P. Feyerabend.

Keywords: Historical Method, Philosophy of Science, Positivism, Soviet Historiography, Methodology of History, Modern Epistemology.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-71-92.

REFERENCES

- Arslanov, K. M. 2019. "Istoricheskiy metod i sovremennyye tsivilisticheskiye issledovaniya [Historical Method and Modern Civilist Research]" [in Russian]. *Metodologicheskiye problemy tsivilisticheskikh issledovaniy [Methodological Problems of Civilist Research]*, no. 1: 101-114.
- Bukharin, N. I. 1936. "Nuzhna li nam marksist-skaya istoricheskaya nauka? [Do we Need Marxist Historical Science?: O nekotorykh sushchestvenno vazhnykh, no nesostoyatel'nykh vzglyadakh tov. M. N. Pokrovskogo [On Some Essential but Untenable Views of M. N. Pokrovsky]" [in Russian]. *Izvestiya [News]*, no. 27.
- Burke, P., ed. 2001. *New Perspectives on Historical Writing*. University Park: The Pennsylvania State University Press.
- Chubar'yan, A. O., ed. 2014. *Teoriya i metodologiya istoricheskoy nauki [Theory and Methodology of Historical Science]: terminologicheskii slovar' [Terminological Dictionary]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Akvilon.
- Engel's, F. 1961. "Lyudvig Feyyerbakh i konets klassicheskoy nemetskoy filosofii [Ludwig Feuerbach and der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie]" [in Russian]. In vol. 21 of *Sobraniye sochineniy [Collected Works]*, by K. Marks and F. Engel's, trans. from the German by Yu. I. Aykhenval'd, 269-317. 50 vols. Moskva [Moscow]: Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- Feyerabend, P. 1986. "Protiv metoda. Ocherk anarkhist-skooy teorii poznaniya [Against Method. Outline of an Anarchist Theory of Knowledge]" [in Russian]. In *Izbrannyye trudy po metodologii nauki [Selected Works on the Methodology of Science]*, trans. from the English by A. L. Nikiforov, 124-467. Moskva [Moscow]: Progress.
- Foucault, M. 1996. "Nitsshe, genealogiya i istoriya [Nietzsche, la genealogie, l'histoire]" [in Russian]. In *Filosofiya epokhi postmoderna [The Philosophy of the Postmodern Era]: Sbornik perevodov i referatov [Collection of Translations and Abstracts]*, ed. by A. Usmanova, trans. from the French by V. Furs, 74-97. Minsk: Krasiko-print.
- Geller, M. 1991. "Istoriya i politika [History and Policy]" [in Russian]. In *Diplomatiya i i voyny tsarskoy Rossii v XIX stoletii [Both Diplomacy and Wars of Tsarist Russia in the 19th Century]*, ed. by M. N. Pokrovskiy, 1-4. London: Overseas Publications Interchange.
- Husserl, E. 2000. *Krizis yevropeyskikh nauk i transtsendental'naya fenomenologiya [Die Krisis Der Europäischen Wissenschaften Und Die Transzendente Phenomenologie]* [in Russian]. In *Logicheskiye issledovaniya. Kartezianskiye razmyshleniya [Logische Untersuchungen. Méditations cartésiennes]*, trans. from the German by V. I. Molchanov, 544-624. Moskva [Moscow] and Minsk: AST / Kharvest.

- Kant, I. 1964. *Kritika chistogo razuma [Kritik der reinen Vernunft]* [in Russian]. In vol. 3 of *Sochineniya [Collected Works]*, ed. by V. F. Asmusa, A. V. Gulygi, and T. I. Oyzermana, trans. from the German by B. A. Fokht. 6 vols. M.: Mysl'.
- Kertman, L. Ye. 1971. "Zakony istoricheskikh situatsiy [Laws of Historical Situations]" [in Russian]. *Odissey. Chelovek v istorii. Kul'turno-anthropologicheskaya istoriya segodnya [Odyssey. The Man in History. Cultural and Anthropological History Today]*: 60–75.
- Kharkhordin, O. V. 2002. *Oblichat' i litsemerit' [Denounce and Dissemble]: genealogiya rossiyskoy lichnosti [A Genealogy of the Russian Identity]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg] and Moskva [Moscow]: Yevropeyskiy universitet v Sankt-Peterburge / Letniy sad.
- Khatanzeykaya, Ye. V. 2019. "Strategii vyzhivaniya naseleniya v povsednevnoy zhizni sovet-skogo goroda, 1929–1945 gg. [Survival Strategies of the Population in the Daily Life of the Soviet City, 1929–1945]: po materialam Arkhangel'ska [Based on Materials of Arkhangel'sk]" [in Russian]. Published summary of a PhD diss., Arkhangel'sk, SAFU.
- Kizivetter, A. A. 1928. "Obshchiye postroyeniya russkoy istorii v sovremennoy literature [General Constructions of Russian History in Modern Literature]" [in Russian]. *Sovremennyye zapiski [Contemporary Papers]*, no. 37: 310–341.
- KolosoV, V. A. 2004. *Sotsiologiya kak nauka [Sociology as a Science]: diskussii v otechestvennoy literature 20-kh – nachala 30-kh godov XX veka [Discussions in Russian Literature of the 20s – Early 30s of 20th Century]* [in Russian]. Arkhangel'sk: izd-vo Arkh.GTU.
- Koval'chenko, I. D. 1978. "O modelirovaniy istoricheskikh protsessov i yavleniy [About Modeling Historical Processes and Events]" [in Russian]. *Voprosy istorii [History Issues]*, no. 8: 72–93.
- . 1987. *Metody istoricheskogo issledovaniya [Methods of Historical Research]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Le Goff, J. 2013. *Istoriya i pamyat' [Histoire et mémoire]* [in Russian]. Trans. from the French by K. Z. Akopyan. Moskva [Moscow]: ROSSP-EN.
- Mamardashvili, M. K. 2004. *Klassicheskiy i neklassicheskiy idealy ratsional'nosti [Classic and Non-Classic Ideals of Rationality]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Logos.
- Martyushov, L. N. 2016. *Metody istoricheskogo issledovaniya [Methods of Historical Research]: uchebnoye posobiye [Study Guide]* [in Russian]. Yekaterinburg: UrGTU.
- Marx, K. 1955. "Tezisy o Feyyerbakhe [Thesen über Feuerbach]" [in Russian]. In vol. 3 of *Sobraniye sochineniy [Collected Works]*, by K. Marks and F. Engel's, trans. from the German by Yu. I. Aykhenval'd, 1–4. 50 vols. Moskva [Moscow]: Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- Marx, K., and F. Engels. 1955. "Nemetskaya ideologiya [Die deutsche Ideologie]" [in Russian]. In Marks and Engel's 1955, 7–544.
- Pokrovskiy, M. N. 2012. *Ocherk istorii russkoy kul'tury. Ekonomicheskii stroy: ot pervobytnogo khozyaystva do promyshlennogo kapitalizma. Gosudarstvennyy stroy: obzor razvitiya prava i uchrezhdeniy [Essay on the History of Russian Culture. Economic System: from Prehistoric Economy to Industrial Capitalism. State System: Review of Development of Law and Institutions]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Knizhnyy dom "Librokom".
- Polanyi, M. 1985. *Lichnostnoye znaniye [Personal Knowledge]* [in Russian]. Trans. from the English by M. B. Gnedovskiy. Moskva [Moscow]: Progress.
- Popper, K. 1993. *Nishcheta istoritsizma [The Poverty of Historicism]* [in Russian]. Trans. from the English by S. A. Kudrina. Moskva [Moscow]: Progress.

- Rozental', M. M., ed. 1969. *Lenin kak filosof [Lenin as a Philosopher]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Gospolitizdat.
- Rozhkov, N. 1926. *Russkaya istoriya v sravnitel'no-istoricheskom osveshchenii (osnovy sotsial'noy dinamiki) [Russian History in Comparative Historical Lighting (Basics of Social Dynamics)]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Kniga.
- Savel'yeva, I. M. 2017. "Istoricheskaya nauka v XXI veke [Historical Science in the Twenty-First Century]: klyuchevyye slova [Keywords]" [in Russian]. *Dialog so vremenem [Dialog with Time]: Al'manakh intellektual'noy istorii [Intellectual History Almanac]*, no. 58: 5–24.
- Savel'yeva, I. M., and A. V. Poletayev. 2007. "Stanovleniye istoricheskogo metoda [Establishment of the Historical Method]: Ranke, Marks, Droyzen [Ranke, Marx, Droysen]" [in Russian]. *Dialog so vremenem [Dialog with Time]: Al'manakh intellektual'noy istorii [Intellectual History Almanac]*, no. 18: 68–96.
- Shunkov, V. I., ed. 1969. *Perehod ot feodalizma k kapitalizmu v Rossii [The Transformation from Feudalism to Capitalism in Russia]: materialy Vsesoyuznoy diskussii [Materials of the All-Union Discussion]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Sorensen, T. 1996. *Kennedy*. New York: Bantam.
- Stalin, I. V. 1951. "O nekotorykh voprosakh istorii bol'shevizma [On Some Issues in the History of Bolshevism]: pis'mo v redaktsiyu zhurnala 'Proletarskaya Revolyutsiya' [A Letter to the Editorial Board of the Journal 'Proletarian Revolution']" [in Russian]. In *Sochineniya [Works]*, vol. 13 of *Sochineniya [Works]*, 84–102. Moskva [Moscow]: Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- Stepin, V. S. 2013. "Tipy nauchnoy ratsional'nosti i sinergeticheskaya paradigma [Types of Scientific Rationality and Synergistic Paradigm]" [in Russian]. *Slozhnost'. Razum. Postneklassika [Complication. Mind. Postneclassic]*, no. 4: 45–59.
- Tuchman, B. 1962. *The Guns of August*. London: Macmillan.
- Veselov, S. I. 2019. "Avtomobil'no-dorozhnoye stroitel'stvo na severe Zapadnoy Sibiri v 1963–91 gg. [Road Construction in the Torth of Western Siberia in 1963–1991]" [in Russian]. Published summary of a PhD diss., Surgut, SurGU.
- Veselovskiy, S. B. 1963. *Issledovaniya po istorii oprichniny [Studies on the Oprichnina History]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Izd-vo AN SSSR.
- Vzhozek, V. 1991. "Istoriografiya kak igra metafor [History as a Game of Metaphors]: sud'by 'novoy istoricheskoy nauki' [The Fate of the 'New Historical Science']" [in Russian]. *Odissey. Chelovek v istorii. Kul'turno-antropologicheskaya istoriya segodnya [Odyssey. The Man in History. Cultural and Anthropological History Today]*: 60–75.
- Warland, G. 2010. "Towards Professional History in Belgium and France: 'l'école de la méthode' and 'l'école de la citoyenneté'." *Leidschrift*, no. 1: 33–53.

ROLF TORSTENDAHL*

WHAT IS THE OBJECTIVE OF “THEORY OF HISTORY”?**

Submitted: June 15, 2020. Reviewed: Sept. 02, 2020. Accepted: Sept. 10, 2020.

Abstract: The article argues that the “theory of history” has gradually changed from being an analysis of what historians actually do or what historians ought to do into a discipline or art of its own. Historical theorists communicate with each other but rarely with historians. The making of “theory of history” into a discipline of its own is recent, even if the roots are perceptible in the philosophy of Kant and his successors, especially Fichte and Hegel. The community of theorists of history rarely accepts practicing historians as discussants. In the present analysis of six articles written by six different well-known historical theorists, (Hayden White, A.R. Louch, Gabrielle Spiegel, Herman Paul, Marek Tamm, and Chris Lorenz), the author points out the unanimity among them in considering “history” to be texts on the past and nothing else. When these historical theorists exemplify historical texts, they often use surveys and overviews of history instead of historical knowledge as an outcome of original research. The article asks for a closer relation to the professional writing of history as a search for new historical knowledge. Hayden White and A. R. Louch, in other respects advancing quite different ideas, want to identify “history” with texts written about (parts of) the past. For them “history” is a narrative (Louch) or a representation (White) but not the past itself. The struggle with concepts of this kind is also typical of Herman Paul’s thinking (performing or producing history) as well as Marek Tamm’s (performative speech acts), and the latter drives this to the extreme of making truth (of historical statements) into a “truth pact” between historians and their readers.

Keywords: Historiography, Theory of History, Philosophy of History, History as Past Events, Conceptualisation, Art, Narrative, Fact, Scientific History.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-93-112.

When I was young “theory of history” signified speculations that some historians had proposed on the purport of their craft and its methods. Their ambition was not to compete with “great thinkers” such as, Wilhelm Dilthey, Heinrich Rickert, or Wilhelm Windelband. These were “philosophers” and their business was different from that of the historians. Where Karl Marx was to be placed was not clear, nor much contemplated by historians. Collingwood was (only partially wrongly) counted among historians. The

*Rolf Torstendahl, Professor Emeritus, Uppsala University (Sweden), rolf.torstendahl@hist.uu.se, ORCID: 0000-0003-0100-3601.

**© Rolf Torstendahl. © Philosophy. Journal of the Higher School of Economics.

division of theories about history into “theory of history” and “philosophy of history” depending on the discipline of the writer has disappeared, but what has emerged instead?

The six authors presented here with one article each, are well-known theoreticians in the field of theory (or philosophy) of history. Hayden White, Gabrielle Spiegel, and Chris Lorenz, are dominating theoreticians of an “older” generation, A. R. Louch is nowadays often forgotten and belonging to a recent past, while Herman Paul and Marek Tamm have found their place in theory in the twenty-first century. This means that my selection has not been done quite by chance, as I mean that they have all played an important role in the theoretical debate during the last fifty years, but it does not mean that I hold them to represent the current theory of history in its entirety. It is a subjective selection, and it is subjective also in my choice of one article from each of them. If asked, they might have proposed quite other contributions as more representative of what they want to say about theory of history. I will not pretend that I know well their whole production on theory so that I can contend that I have chosen the most suitable article of each of them, but I can only assure the reader that I have had the intention not to misrepresent the ideas of the treated authors by my choice of articles to analyse.

What sort of theory is now “theory of history” or, alternatively, “philosophy of history”? In the *Journal of the Philosophy of History* Herman Paul in his commemorative article on Hayden White, and the editor of the *Journal*, Jouni-Matti Kuukkanen have both touched upon the matter, and the latter seems to underestimate the intricate terminology of the field (Paul, 2019: 3–20)¹. Their main question is however, if philosophy of history is a discipline or not, and that is not the problem I wanted to draw attention to. For the matter of clarity, I must tell the reader that I will make no distinction in this article between “theory of history” and “philosophy of history”, though I am well aware of the possibility to make sophisticated differences between the two, as the words “theory” and “philosophy” are by no means generally equivalent. The word “history” makes the matter further complicated. Are we thinking here of history as “*events* that took place in the past and *social conditions* of the past” (or something of the kind)? Or are we thinking

¹Jouni-Matti Kuukkanen states: “There is very little technical jargon which would make it difficult, or even impossible, for outsiders to read and understand papers in philosophy of history. This state of affairs would seem to make philosophy of history particularly well-disposed to have a visible and active role in cultural arenas outside the academia” (Kuukkanen, 2019: 1–2).

of “*accounts* of past events or of past social conditions in the form of descriptions, narratives, or analyses presenting past occurrences in words and concepts of their day” in any kind of media?

In the following reflections, I will primarily focus on “theory of history” as something practised and formed by philosophically minded persons when they talk about history, that is, the past conceptualised and put into words. Here arises another problem: Is there any difference between “theory of history” and “the theory (or art) of historiography”? If so, what kind of difference do we then talk about? To make things still more opaque, we have concepts like “metahistory”, signifying an aspect or perspective on past writings on past events, and “history of historiography”, signifying a description or analysis of past writings on past events.

In this bewildering mess of concepts it is important to make clear that the objective of most researchers of history is to produce new knowledge about the past. “This was not known by earlier researchers” and “here I have been able to show ‘how people lived’ in the treated period, which has not been correctly presented by earlier historians”—such are statements that are made by historical researchers or can be inferred from their texts. Very often, they do not want to make epistemological theories about the past but just show something new that they find important (for an argument, a narrative, or an interpretation). As historical researchers I classify only those who write about findings in their own research and how these findings can be placed in the bulk of historical knowledge presented by other researchers. In my view, it is important to make a distinction between writings by researchers on the one hand, and history texts by history narrators, who compile what others have said about a topic without contributing with own research results on the other hand. Some such narrators have contributed with research earlier but have left research or have written a book as pastime or for the imagined benefit of others.

The following parts of this essay will try to find out at least what some people had in mind when they in the recent past used the concept of “theory of history” (or some words that may be taken to signify almost the same). The background objective of my reflections is to find out firstly, if these people had an intention to establish any connection between history-writing and historical knowledge production; or secondly, if they want to deny any such connection; or thirdly, if they do not bother which is the case. One lead to answering the question about their purpose is to analyse articles (or books), which can be said to relate their subject matter to “theory of history”, in order to analyse what they find to be the most important

theoretical aspects on “history” or “history-writing” or “writing on the past”. This will be done in order to elucidate my background objective. My sample of such texts is very limited and very much steered by my opinion of who has made interesting contributions to the subject.

HOW DOES “THEORY OF HISTORY” RELATE TO HISTORIOGRAPHY AND TO EPISTEMOLOGY OF HISTORY?

HAYDEN WHITE

It may be appropriate to begin this analysis with Hayden White, who was a dominant figure in the theoretical discussion about historiography during the last five decades up to his recent decease. I will use a polemical article on historiography as art or science (White, 2000: 391–406) that he wrote occasioned by a review by Georg Iggers of his works from his book *Metahistory* (1973) and onward to the turn of the century. Among White’s many publications, this is an outspoken defence of his views and a sharp dismissal of “traditional historiography”. As a complement, I will use also an article from 1966, “The Burden of History” (White, 1966: 111–134), which shows that White had formed many of his later views already several years before *Metahistory*, even though part of the introductory comments about “modern” theories of the relations between natural science, social science and history state standpoints that he did not repeat later.

A most striking characteristic of Whites article on history as art or science is that he is using the word “history” all through the article in the sense of writing of history. He also uses the word historiography, but this is reserved, as far as I can find, for the collective of “histories” written on a specific subject matter (a period or a theme). In a couple of instances he uses this term for historical works that are treated by “historians of historiography”, that is, historians devoting their work to the development of history-writing, in general or nationally or about a theme. The word “history” as such is therefore central in the text, and it signifies texts written by historians (or by anyone treating events or people in earlier times). However, it is important that it does not signify the past as such. White is very precise about this: “The representation of a thing is not the thing itself”. He continues: “[in *Metahistory*] I was more interested in the ways by which historians constituted a past as a subject that could serve as a possible object of scientific investigation”; and further, “... to believe that an entity

once existed is one thing, to constitute it as a possible object of a specific kind of knowledge is something else altogether” (White, 2000: 396–397).

White also makes a link here to historical research (which is rare in his texts). “In their research, historians typically try to determine not only ‘what happened’, but the ‘meaning’ of this happening, not only for past agents of historical events but also for subsequent ones. And the principal way meaning is imposed on historical events is by narrativization” (ibid.: 397). The last concept, goes beyond what the Oxford English Dictionary defines as “narrativize” (or “narrativise”), namely, “present or interpret... in the form of a narrative”. Here, I want to present what White sees as the main research function of the historian (White 2000: 397):

During the research phase of a historian’s inquiry into the past, she is interested in constructing an accurate description of her object of interest and of the changes it undergoes in time, based on the documentary record, out of the contents of which she produces a set of facts. I say “produces” a set of facts because I distinguish between an event (as an *occurrence* happening in worldly time and space) and a *fact*.

A further step, typical for historians according to White, is that they use their research findings to establish a “meaning” of events, which goes beyond what they find in their documentary evidence, as I have already quoted.

One should observe the word “description” used for the sort of textual organisation that historians make of their research findings. Such findings do not yet constitute “history” in White’s sense. “In other words, if a historical explanation or interpretation is a construction, conceptual and / or imaginative as the case may be, so too is the object on which these explicatory techniques are brought to bear. When it comes to historical phenomena, it is construction all the way down” (ibid.: 398). Historical documents give only a lead. “What can be studied by direct observation, of course, are the documents that attest to the nature of the past object”, but documents require interpretation. White continues (ibid.):

This leads me to conclude that historical knowledge is always second-order knowledge, which is to say, it is based on hypothetical constructions of possible objects of investigation which require a treatment by imaginative processes that have more in common with “literature” than they have with any science.

In the text analysed, White thus argues that historians both want to express things that go beyond what they find in documents and have to use imagination to make those constructions that constitute historical knowledge, as direct observation of the past is not possible. Therefore history

is quite kin to any other sort of literature, an art but not necessarily fiction but as many other sorts of literature using true statements to depict images of what the author thinks is reality.

In “The Burden of History” White uses the main part of the text to show that several well-known authors of imaginative literature have been very critical of “history”. They have talked about “the burden of history”, as they have found so-called “history” narrowly occupied with past events and states of affairs and not giving any lead for life in the present or the future². The article ends with reflections on the possibility to “allow the historian to participate positively in the liberation of the present from the burden of history” (White, 1966: 124). This can take place, White says, only if historians “recognize that what constitutes the facts themselves is the problem that the historian, like the artist, has tried to solve in the choice of the metaphor by which he orders his world, past, present, and future” (ibid.: 131). Posing a problem means formulating a question. The concepts used in the question are (often) metaphorical, and the metaphor may bring about new insights (as the use of “individualism” did to Burckhardt) (ibid.: 128).

Turning back to White’s article on history as art or science, I want to underline that he makes a distinction between two modes of narration. One is a mode of speaking about the world that is different from the mode characterized as description, and from narrativisation, as a way of representing the world and its processes as if they possessed the structure and meaning of a story (White, 2000: 399). After discussing the relation between “factualisation” and “fictionalisation”, White states that many modern novels could claim to show the real conditions of life in society as much as historical works. Thus, there is no incompatibility between art and truth. A central sentence in this connection is: “Historiography is a discourse that typically aims towards the construction of a truthful narrativization of events, not a static description of a state of affairs” (ibid.: 404).

The point with White’s somewhat intricate reasoning about history as art and the role of narrativisation is that historians ought not to forget to present their findings in a way that connects the past with the understanding

²White comprising sections 2 and 3, which treat the dissatisfaction and the brushing aside of history among fiction authors and social scientists respectively (White, 1966: 114–124).

of the present and future. The basis for this opinion is the statement that all historical knowledge is a construction, as the past cannot be observed.

GABRIELLE SPIEGEL

In a very interesting article, Gabrielle Spiegel (Spiegel, 2014) has given an overview of the development of the philosophical foundations for historiography since the “adoption” in the late nineteen-sixties and the nineteen-seventies by historians of the “linguistic turn”, that is, the conception that all past events are transmitted to us only dressed in the words and concepts of earlier times or reconstructed in any later conceptual forms.

Superficially, Spiegel’s description of the development of historiography can be characterised in the following way: first came a victory of cultural history after the acceptance of the linguistic turn. This cultural history was succeeded by a revival of structural and social history around the turn of the century and both these trends have been challenged later by a revival of a phenomenological and traditional writing of history with achievements of individuals as the basis of history. However, as Spiegel lets the reader understand, Hayden White has later advanced another form of reshaping history, and he has won adherents among historians. This direction of historiography stresses the ethical basis, which Spiegel exemplifies by the role of memory for the grasping of human suffering and perpetrators’ guilt in recent history.

On a deeper level, Spiegel in this article is discussing different theories of history and their implications for historiography. What she calls “traditional” writing of history is brushed aside as obsessed by methods and empirical data, and she directs interest to what happened after the “linguistic turn”. Her focus on the linguistic turn makes her see social and economic history, which has been successful later, as a branch of structuralism. She presents a couple of social anthropologists (Geertz, Sahlins) and some critical views of their work, and lets the reader infer that this criticism applies also to social history in general (ibid.: 154).

A later turn toward individualism goes via “practice theory” or “practice itself assumes the form of a sociology of meaning, or *sémantique des situations*”, as Spiegel quotes the French historian Bernard Lepetit (ibid.: 157), which she stresses as part of a “revitalisation” of the concept “social”. This leads Spiegel to connect to historians occupied with “historical agency”, that is actor-centred perspectives, and she concludes that two different epistemologies are used. One “reverts to ... an objective basis for historical

investigation” while the other “entails at least a partial reliance on a semi-otic understanding of the constructed nature of our apprehension of that very social reality”. Spiegel finds here “the deployment of two very different epistemologies at play in an empirically grounded social history and/or a linguistically mediated cultural history” (Spiegel, 2014: 159).

Thus, in a main part of her article Spiegel tries to show that the “linguistic turn” lives on as a main alternative in the theory of history. She quotes, with at least partial assent, Joan Scott’s words that (ibid.: 161)

a renewed emphasis on empiricism and quantitative analysis, the rehabilitation of the autonomous willing subject as the agent of history and other new trends constitute a “trivialization and denunciation of the ‘linguistic turn’ — an attempt to deny it a serious place in the recent life of the discipline”.

The “trivialisation” of the linguistic turn leads further to some “present” trends among young historians in the USA, whose standpoints have been characterised as returning to Ranke and his “documentary evidence, descriptive particularism, and ‘explanation by narration’ in the service of a reconstructive history of ‘what actually happened’” (ibid.). From this historiographical criticism, Spiegel somewhat unconnectedly states (ibid.: 162–163):

One extremely powerful movement, not centrally in play in these discussions of cultural and social history but significant nonetheless for the ways in which it is changing the conceptual, methodological and ethical imperatives that guide the writing of history, is the growing, indeed now massive, attempt to incorporate memory into the field of history.

For Spiegel this is an important transition, as the remaining half of the article deals with the role of memory and its connection with the moral reactions and reflections of historians. The writing of history should recognise memory as an important part of its material and should use it for taking a standpoint to the sufferings that form the background to almost all collective remembrances. This forms the background for the ethical imperative, which Spiegel elaborates in the form of memory history in the second half of her article.

A. R. LOUCH

A. R. Louch’s article on historical narratives (Louch, 1969) was published in 1969, when the current debate about theory of history was another than in the first two decades of the twenty-first century. One will immediately feel

the difference, when he states his problem. Narration in history had been a main topic in historiography for more than a decade, since some historians had argued that the influence of the social sciences had become too great on historians and that they ought to go back to earlier ideals of presenting good narratives. In that situation, with good reasons one could pose the problem of what characterises a well-conducted historical narrative.

“Narrative, ideally, stands proxy for experience” (Louch, 1969: 56) is one of the central sentences in the first part of Louch’s article. The idea behind it is that the past itself is unattainable for us and the historian must, therefore, try to approach it with inventiveness and artistic means. Louch continues (*ibid.*):

We do not, of course, attain this ideal, and no criterion can be formulated that will tell us when the story is complete enough. We might even want to say that in this sense historical knowledge is always relative to a certain place in the history of historiography. We judge an account to be better than its predecessors, not that it is the best or that it is complete.

The historian writing a narrative about something in the past must consider two main conditions for such narratives, according to Louch. The first is that the historian’s business is to fill in gaps in the current knowledge of the topic. The second is that the perspective has important effects on what is important and what is not. “Episodes that enjoy prominence in the account of a decade may disappear from the account of an epoch”, he writes (*ibid.*: 58).

Most important is Louch’s idea, that narration is a way to evade the epistemological difficulties that arise with the word “cause”. Narration is a way to describe a chain of events from a certain perspective, in order to make attention focus on the perspective. As such it reveals connections between events (*ibid.*: 58–59). “The force of such explanations does not depend upon covering laws or theories, but rests instead on a covert assimilation of these accounts to what is directly perceived” (*ibid.*: 59).

In order to strengthen the claim to validity for the narrative process, Louch launches the idea of narration as proxy experience, making the narrative (rather than the narrator) a stand-in for an eyewitness of the events taking place. “We need to amend this to say, stories are pictures of facts, for it is not the elements that are verified separately in proxy-experience or narrative accounts, but the story as a whole” (*ibid.*: 62).

COMPARATIVE CONCLUSIONS

The three articles presented here have one striking thing in common. They are theoretical in the sense that they are difficult to understand properly without considerable earlier knowledge in the field of “theory of history”.

Thus they are not written for the historian in general. Further, they are similar in dealing in the first hand with history in the sense of writing of history, not in the sense of past events, occurrences and states of affairs. Relating to the past, the three authors are not completely alike, as Hayden White makes a clear difference between history and the past, but he is also making clear that he is writing primarily about history-writing. Both White and Spiegel make understand that they know what historical research is and demands, but none of them shows any interest in the production of new knowledge about the past.

In one central question, there is also a similarity between them, even though they express the idea in different manner. Louch dismisses the idea of causality for historical writing and he wants to replace it with a narrative. White does not speak of narratives as any form of replacement for causality, but his argument for narrativisation as a way to present a development with structure and meaning comes close to Louch’s argument. Spiegel does not say anything about narration in history that could be interpreted as giving it a central function, but her interpretation of the consequences of the linguistic turn seems to lead her in the same direction as White.

All three authors of these articles write on theory of history entirely (Louch) or almost entirely for specialists in theory and philosophy.

FOR WHOM IS THE THEORY ON HISTORIAN’S WORK AIMED?

HERMAN PAUL

More than is usual in historical texts (including metahistorical ones like those on theory of history) Herman Paul says explicitly that his article “Performing History” is intended for philosophers of history (2 places) and historians of historiography (1 place) (Paul, 2011: 2–4). His article centres on the concept of “historical knowledge”. However, he is not advancing a new “theory of historical knowledge” of his own. He chooses instead to discuss the differences between different approaches to historical knowledge, from William Dray’s ambiguous formulation, that philosophy of history ought to focus on “what counts as historical knowledge” with its possible normative or descriptive interpretations. Paul exemplifies with different philosophical

(!) interpretations of this dilemma between normative or descriptive, which he finds typical of twentieth-century philosophy of history (Paul, 2011: 2).

Philosophy of history since these times seems to agree that “historical knowledge must be conceived of as a *product*, made and ready for inspection, rather than as a *production process*, continuously underway and in development” (ibid.: 3). This goes both for Carl G. Hempel and the covering law adherents and for the narrativists like Arthur C. Danto, Louis O. Mink, and Hayden White. Paul states also that this narrativism became the dominant successor paradigm to Hempel’s covering-law approach. The narrativists shared with their predecessors a “fascination” for the outcome of the historian’s research. However, they were not interested in how historians worked with their archival material and how they brought this material together into narratives, “but the outcome of that process” was what they wanted to investigate. Even White, who was interested in analysing “metahistorical” conventions, did not investigate the intellectual operations involved in doing archival research (ibid.).

Thus, Herman Paul states the importance of making the production of historical knowledge the object of philosophical or theoretical investigations. He declares that historians bending over archival volumes and interpreting their content “are engaged in performative activities”, and he wants to analyse these activities as performance.

In other words, whereas philosophy of history from Hempel to White has focused on the materialisation of the historian’s performances (be it explanations offered in historical accounts or narratives produced in discursive fields), I would invite philosophers of history, and historians of historiography, to pay attention the performances themselves (ibid.: 4).

With these words, Paul makes clear that his first aim is to lead philosophy of history on new path. He certainly recognises some predecessors with this aim, but these have mostly been working in adjacent disciplines, such as, political science and history of science. A crucial element for this analysis should be “epistemic virtues” as diligence, accuracy, and truthfulness.

The main part of Paul’s article is devoted to showing how historical methodologists, e. g. Langlois and Seignobos, and Marc Bloch, present and look upon “epistemic virtues” and, in a next step, Paul scrutinises what philosophers in general say about such virtues. Socialisation into a discipline is important, even though sociologists no longer embrace Robert Merton’s theory of this process, and Paul stresses that socialisation includes epistemic

virtues in combination with routines, which researchers of the discipline have developed.

The study of virtues and routines of past historians it is possible to develop a field of history of historiography, which is not a variety of philosophy of history, according to Paul. He especially develops how the examination of epistemic virtues and their shift between generations is focused on understanding the development of the discipline without recommending one or the other (Paul, 2011: 13). Paul also underlines that this need not lead to a closed disciplinary history, as virtues may spread to other disciplines than the one where they were first used. He concludes the article with a discussion, whether his recommendation of studying epistemic virtues entails a standpoint in favour of a prescriptive history of historiography. On the contrary, he emphasises that his aim is rather descriptive than prescriptive. This leads him to present a series of problems regarding epistemic virtues, which finally makes him state that if philosophy of history engaged in them, it might “eventually become a philosophy, not merely of explanations and narrative discourse, but of historical performances, that is, of historical scholarship in action” (ibid.: 19).

In this article, Herman Paul argues for a new philosophy of history based on his desire that the historians’ practices should be a central object of analysis. Only then one can understand how new knowledge in history is created. It would seem that he thereby had pointed to detailed studies of historians’ day-to-day work both manually and intellectually, in order to reach their creative process. However, this is hardly the case. Instead, Paul focuses on epistemic virtues and performances, which can be generalised. They can be examined in the history of historiography as differences between generations and, as the end of the article underlines, they may be the object of philosophical analysis. However, he does not go into the question of how historical researchers make their conclusions, and he does not, even, make a distinction between historical researchers and those who compile historical works based on what others have presented earlier.

MAREK TAMM

In the article on truth, objectivity and evidence in historical writings Marek Tamm (Tamm, 2014) has approached what historians do and how this ought to be understood. As I found in the preceding section Herman Paul makes the same in his article without really go into the historians’ practice. The title of Tamm’s article may sound as if he was intending a more theoretical approach, but this cannot really be said to be the case.

Tamm starts out with discussing the concept truth and some philosophers who have rejected it or at least expressed doubts on the possibilities to use it. Tamm leaves that question with stating this standpoint and says (Tamm, 2014: 267):

The calls for rejecting truth have fallen on a particularly barren ground amongst historians who still, quite unanimously and shamelessly, regard the pursuit of truth as a cornerstone of their professional work and don't feel the slightest inclination towards giving up debates over truth... .

So far, Tamm is only introducing his main theme, a pragmatist theory of history. First, he emphasises that he wants to analyse written history in the light of the theory of speech acts, and refers to the grand trio of Charles S. Peirce, William James and John Dewey. Pragmatists used terms of experience to analyse problems and concepts, and they evaded to separate theory and practice, Tamm says (ibid.: 269). The pragmatist approach has similarities to present-day philosophy of science where a “performative turn” has led to “the shift from conceiving of science as *knowledge* to conceiving of science as *practice*”, Tamm says with a quote from John Zammito (ibid.).

This pragmatist approach to the theory of history leads Tamm further to regard the writing of history as founded on a “truth pact” between historians and their readers. In earlier philosophic discussions about truth in history writing was about philosophical definitions of truth, while Tamm finds that the pragmatic interpretation of history as a series of speech acts, or “an assertive illocutionary act”, appears more relevant (ibid.: 272). He also uses Philippe Lejeune’s term for the relation between the readers and autobiographies as a pact with contractual effect for the relation between historians and their readers. The truth claim by the historians is communicated through verbal or other signals (ibid.: 275). Among the signals the use of footnotes has a prominent place. Besides communicating information, the footnote signals the author’s truth intent (ibid.: 276).

Readers become ready to accept truth signals such as, disciplinary objectivity, which Tamm defines as pragmatic by nature in accordance with Peirce’s and Dewey’s conceptions of objectivity. “Objectivity is not a feature characteristic of the statements, but describes the activity of inquirers”, Tamm says (ibid.: 281). The role of the discipline of history and the community of professional historians leads Tamm to observe, after Aviezer Tucker, that the consensus among historians does not concern the answers to historical problems but the questions raised and how it is possible to

answer to them. It will seem that Tamm finds disagreement between professional historians as conspicuous, but he does not explain in what way this differs from disagreements between professionals of other disciplines such as, sociology or physics. It would seem to me that disciplinary consensus generally concerns methods and queries, not new results. It will take time and many tests and empirical investigations before a result is incorporated in the body of “accepted knowledge about *A*”, which other researchers take as a starting point for setting their problems.

Leaving disciplines and consensus Tamm devotes the final section of his article to evidence and fallibleness in the writing of history. He states immediately that the main prerequisite for the truth claim is its foundation on evidence. “Thus the central problem of the philosophy of history is not the relation between history writing and reality, but between history writing and evidence” (Tamm, 2014: 285). Further, he says (*ibid.*: 286):

Thus, historical knowledge is nothing but a critical analysis of all existing evidence [for a specified problem?] and the conclusions drawn from it concerning historical reality. These conclusions are never final (although sometimes beyond reasonable doubt), but merely probable and subject to later revisions.

After this entry into the laboratory of the historian, he poses the question what evidence is and states that nothing is evidence in itself, but only in relation to a problem. He also quotes Collingwood’s proposal that “Evidence is evidence only when someone contemplates it historically”. These standpoints are presented as if they were new insights and the essence of Tamm’s article, which may be somewhat surprising to anyone who has followed methodological discussions in the discipline of history, where similar standpoints are abundant.

To conclude, Tamm’s article starts out with a very theoretical introduction, which leads directly into the heart of “theory of history”. His stance is taken as a pragmatist, and he advocates a pragmatic theory of history in the form of “practice” or “performance” and “doing” for the historian. So far, he directs his discussion to other theoreticians of history. In the second half of the article, Tamm strikes another tone and approaches the actual practice of the historian. His viewpoints on disciplinary consensus and on the role of evidence would be met by recognition by many practising historians, even if not everything he says would meet immediate acceptance.

One observation must be made. As historical theorists usually do, Tamm starts his article with the conventional use of “history” or “history writing” for any texts about the past. This is natural for the part, which is dealing with

theoretical matters. When he goes over to matters that relate immediately to the practice of historians, especially when he discusses evidence and its role in the writing of history, he continues to talk of history writing in the same manner. Thereby he neglects the difference between texts founded on the author's research and texts, which narrate something that they have found in other historians' texts.

CHRIS LORENZ

The article by Chris Lorenz (Lorenz, 2008), which I have chosen to analyse here from the point of view of the intended readership and intended influence, starts out with taking up William McNeill's concept "mythistory" launched in an article in 1985.

Lorenz says that he will use this article as a starting point for an analysis of two claims made by "scientific" historians in the academic discipline of history. One claim is epistemological. It is (ibid.: 36)

related to the status of history writing as a *Wissenschaft*, that is, a methodical truth-seeking discipline: academic history above all else, claimed to do away with all myths about the past and to replace them with The Truth — or at least some truths.

Academic history "had become" (past tense) characterised by its claim to "scientificity", "although this claim could be based on a wide variety of methodological positions, ranging from Comtean positivism to Rankean historicism" (ibid.). The other claim was that history fulfilled a function to provide some guidance in life by giving an orientation, mostly in the form of identification with the state. Lorenz states that this claim was dominant among professional historians over much of the nineteenth and twentieth centuries.

After this introduction, Lorenz says that his article intends to show that there was an unresolved opposition between the epistemological and the practical claims of scientific history. But first he makes an analysis of McNeill's effort to build a bridge between the two claims, which is a bit outside my aims with the present article though in itself interesting, especially in regard to the question if methods could create consensus between "scientific" historians (ibid.: 39). Lorenz further says that McNeill's distinction between source criticism and the "art" of using facts for creating meaningful patterns in narratives goes back to Ranke, and he further states that when McNeill pleads for an ecumenical understanding among historians as a moral duty, he makes a transition from the cognitive to the

normative level, which is a “typical methodological move for a historian” (Lorenz, 2008: 40).

Lorenz then gives a historical survey of the concept of myth and this leads over to the nation with the question: Is the nation a myth? Important here is that Lorenz points out that the nation has become the object of a cult as religion is based on cult. “Both cults also worship special persons, who are regarded as ‘mediators’ between the world of the sacred and the world of the profane”—saints and martyrs and national heroes (ibid.: 45). To sacrifice one’s life for the sacred cause is regarded as utterly laudable in both religion and nationalism. Lorenz concludes that “the case for ‘mythistory’ in national history is very convincing” and that the diagnosis only gets worse when one realises that much twentieth-century national history was no better than its nineteenth-century counterpart (ibid.: 46). He finishes this reasoning with the admonition [to historians?]: “‘Don’t look back’ still seems the safest strategy for everybody with an unsettling past—including ‘scientific’ historians” (ibid.).

In the last section Lorenz wants to explain the roots of the “crisis of ‘scientific’ history”, as he says. This crisis is not just a temporary phenomenon, but stems from the “fathers” of “scientific” history, Leopold von Ranke and Wilhelm von Humboldt. Ranke’s dictum “*wie es eigentlich gewesen*” has been misinterpreted as an “advocacy of hardboiled ‘empiricism’, implying a restriction of scientific history to ‘the facts’”. With “*eigentlich*” Ranke meant not “factuality” but concentration on the essential. This essential was for Ranke his idealistic theory of history. Specific ideas, for instance, state, religion, and language, worked as forces in history. “Only by connecting established facts to their immanent ideas [...] ‘scientific’ history was born” (ibid.: 48).

Both Ranke and Humboldt (who advanced a similar theory of history) were aware that facts and factuality were not enough for good history, and that theory was needed. For them theory was equal to the theory of ideas. Later historians who realised that there were other theories “lacked the theoretical tools and the theoretical justification to compare and evaluate them rationally”. The theory of history was placed outside of rational discourse on epistemology. Therefore, “mythistory” is inherent in the “scientific” history itself (ibid.: 49).

Concluding the section on Chris Lorenz and his article, the following comments seem most urgent. First must be mentioned that Lorenz uses “history” in the same way as other philosophers of history, that is, it is a concept that embraces all sorts of texts the aim to describe or narrate

about the past. It is true that he mentions historical research and researchers on a couple of occasions, but this is not to specify a research activity and distinguish it from other forms of writing history. It is rather to include historical texts founded on research in the “history” family.

Second he makes a distinction between scientific history (often with a quotation sign around scientific) and other forms of history. These other forms seem to be more modern, not exactly narrative in Hayden White’s sense but rather without Ranke’s *Historismus* based on an idealistic theory of history and without the cult of facts that he means has characterised the misinterpretation of Ranke that dominated among historians far into the twentieth century. One may ask whether there were not in reality several other theories of history, that gave other bases for meaningful conclusions from facts, but Lorenz here gives no room for alternatives beside an old-fashioned identification of God’s will manifested in the state on the one hand, and factualism on the other. He seems to have a tunnel vision of only national(istic) historiography to be observed before his own time of writing, although he exhorts historians to create alternative theories in the future to embrace the pro-tempore true facts that they have found in meaningful interpretations.

Third, Lorenz is writing here (and in other articles as well) for an intended audience of philosophers or theoreticians of history. His argument has no direct bearing on the problems of historical research.

CONCLUDING REMARKS

Among the six theoreticians presented in this article only Louch does not demonstrate a dissociation from “traditional historiography”. What he wants to show is, however, that narration is a very important instrument for historians. These do not just want to describe historical findings as facts, but they want to create connections between events, and this is done through narration. Louch takes this to an extreme, when he states that narratives get the role of “proxy experience”, when they connect events in a form that creates an explanation.

When Louch wrote this in 1969 the theory of history was already taking a much more radical turn, but the basic reason was the same as for Louch. Hayden White was also stressing the limitation of what was observable for the historian in the article he wrote occasioned by Iggers’ criticism. The problem he stressed was also, like Louch’s, how history writing might overcome the fact that the past as such was not observable for historians.

His solution was more radical. “This leads me to conclude that historical knowledge is always second-order knowledge”, and he continues, “which is to say, it is based on hypothetical constructions of possible objects of investigation which require a treatment by imaginative processes that have more in common with ‘literature’ than they have with any science”. All sorts of “history”, that is all historical writings aiming at giving a picture of the past, are a sort of literature among other sorts, based on imagination to construe the links between the statements that can be formed on the basis of documents.

The theory of history is then for White as well as for Louch a theory about written history or historical texts in general. It does not matter that narrative was a solution of the problem for Louch, while it was just an instrument for a deeper lying epistemological solution through constructivism and imagination in White’s thinking. Both of them tried to say something about the relation between research and history writing, but none of them analysed the research work of the historian but just talked of documents.

Contrary to this, Herman Paul states that earlier theoreticians, both followers to Hempel and those like Danto and White, have analysed history only as a product, but not the process of producing it by historians. He points to the need for a closer theoretical analysis of the research work of historians, and he recommends this analysis to start out from epistemic virtues, such as, “diligence, accuracy, and truthfulness”. This is something where he is alone among this collection of theorists. To pay close attention to the “performance” part of the historians work and not only to the outcome is Paul’s specific hallmark. However, he does not say that there is a specific difference between research products and other works of history. It will seem that he is equally interested in the production process of both.

It seems natural to connect Tamm’s article to Paul’s, as he also mentions the practice and performance of historians as important objects for historical theory. He wants to connect this approach with theoretical pragmatism in the sense of Dewey, James and Peirce, something that seems alien to Paul. The consequences of Tamm’s approach are somewhat difficult to follow in his text, but the theoretical basis seems to have obscured the news in the approach. This is obvious when he uses the term history for all sorts of historical works in the same way as other theorists had done earlier.

In spite of her specific approach via the linguistic turn to historical theory, Gabrielle Spiegel does not make her stance in the theory of history quite original. Her history of the linguistic turn and of the deviations from it is interesting in itself, but it does not really give a new dimension to the theory

of history. Her persistence with the linguistic turn (shared by Joan Scott), is to an extent shared by Hayden White, but he moved his attention to ethical theory in his later works. The linguistic turn as something characteristic of history writing is confusing. When one sees natural scientists looking at their computers in order to observe the reactions of their experiments staged in another room, one must ask if there is any knowledge based on “direct observation”, that is, a knowledge which is not transformed into words and concepts. One might have expected her to penetrate the theoretical presuppositions of the research work of historians.

Finally, Chris Lorenz uses “history” in the same way as other philosophers of history for all sorts of historical texts. That makes the unanimity among the six great, even if Paul and Tamm deviate in principle with their insistence on the need to analyse the “performance” aspect of the historian’s work, but even they seem to count all sorts of historical texts as such history. Lorenz opposes “scientific” history to narrative history, and he identifies the former with Rankean ideals in idealism as well as in methods. This idealism gave the state an elevated position and state and nation were identified. That sort of nationalistic history is what Lorenz opposes, and he seems not to have really observed other types of historical writing during the last two centuries. Lorenz’ “scientific” history alludes to the same historical works as Spiegel characterised as narrow empirical fact collections. She is then one of those theoreticians who have not grasped Ranke’s theoretical influence in idealistic terms, according to Lorenz. On the other hand one must say that Lorenz makes the “traditional” history-writers more uniform than they were.

In sum, most of the historical theorists who are presented here do not in their articles bother much about historical research and how it should be understood. Only Paul and Tamm mention the problem, but their articles are more programmatic than analytic in concerning historical research. All of them seem bound by a conservative theoretical notion of what history is and how it is written.

REFERENCES

- Kuukkanen, J.-M. 2019. “Editorial: What is this Field Called Philosophy of History.” *Journal of the Philosophy of History*, no. 13: 1–2.
- Lorenz, Ch. 2008. “Drawing the line: ‘Scientific’ History between Myth-making and Mythbreaking.” In *Narrating the Nation : Representations in History, Media and the Arts*, ed. by S. Berger, L. Eriksonas, and A. Mycock, 35–55. New York: Berbabn Book.
- Louch, A. R. 1969. “History as Narrative.” *History and Theory* 8 (1): 54–70.

- Paul, H. 2019. "A Loosely-Knit Network: Philosophy of History after Hayden White." *Journal of the Philosophy of History*, no. 13: 3–20.
- Paul, H. 2011. "Performing History: How Historical Scholarship is Shaped by Epistemic Virtues." *History and Theory* 50 (1): 1–19.
- Spiegel, G. M. 2014. "The Future of the Past: History, Memory and the Ethical Imperatives of Writing History." *Journal of the Philosophy of History*, no. 8: 149–179.
- Tamm, M. 2014. "Truth, Objectivity and Evidence in History Writing." *Journal of the Philosophy of History*, no. 8: 265–290.
- White, H. 1966. "The Burden of History." *History and Theory* 5 (2): 111–134.
- . 2000. "An Old Question Raised Again: Is Historiography Art or Science? (Response to Iggers)." *Rethinking History* 4 (3): 391–406.

Torstendahl R. [Тюштэндал Рольф] What is the Objective of "Theory of History"? [В чем цель проекта «теория истории»?] // Философия. Журнал Высшей школы экономики. — 2020. — Т. 4, № 3. — С. 93–112.

РОЛЬФ ТОШТЕНДАЛЬ

ЭМЕРИТ-ПРОФЕССОР, УНИВЕРСИТЕТ УППСАЛЫ (ШВЕЦИЯ); ORCID: 0000-0003-0100-3601

В ЧЕМ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «ТЕОРИЯ ИСТОРИИ»?

Получено: 15.06.2020. Рецензировано: 02.09.2020. Принято: 10.09.2020.

Аннотация: В статье говорится о том, что «теория истории» из анализа того, что историки действительно делают или что историки должны делать, выросла в самостоятельную дисциплину или даже искусство. Теоретики истории общаются друг с другом, но редко общаются с историками. Такое обособление «теории истории» — явление недавнее, несмотря на то его истоки можно найти в философии Канта и его последователей, особенно у Фихте и Гегеля. Однако теоретики истории не видят в историках полноценных участников дискуссии. Автор статьи анализирует шесть статей, написанных известными теоретиками истории (Хейденом Уайтом, А. Р. Лоучем, Габриэлем Шпигелем, Германом Паулем, Марекком Таммом и Крис Лоренц), в которых «история» понимается как работа с текстами о прошлом и не более того. Когда же теоретики истории доходят до примеров с историческими текстами, чаще всего они обращаются к обзорам или кратким содержаниям вместо того, чтобы использовать отдельную исследовательскую работу как результат исторического знания. В статье ставится задача пересмотреть роль профессионального исторического исследования в поиске нового исторического знания. Хайден Уайт и А. Р. Лоуч, хотя и предлагают совершенно разные концепции, сходятся в идее отождествления «истории» с текстами, написанными о прошлом (или его частях). Для них «история» — это нарратив (Лоуч) или репрезентация (Уайт), но не само прошлое. Такой подход оспаривает Герман Пауль и Марек Тамм. Для последнего истина (исторических утверждений) становится «пактом истины» между историками и читателями.

Ключевые слова: историография, теория истории, философия истории, история как события прошлого, концептуализация, искусство, нарратив, факты, научная история.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-93-112.

ВАСИЛИЙ СЫРОВ*

НАРРАТИВ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ**

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРРАТОЛОГИИ

Получено: 15.06.2020. Рецензировано: 14.08.2020. Принято: 11.09.2020.

Аннотация: В статье предпринят анализ возможностей применения нарратологии к историческому познанию. Мы отметили, что она может быть использована в критическом и нормативном аспектах, а именно — быть связана с правомерностью использования тех или иных принципов организации текста и определить, как и какие достижения нарратологии могут способствовать развитию исторического познания. Показано, что для этого исторический нарратив следует распространить не только на репрезентацию событий и действий, но и на трактовку любых исторических объектов, а также необходимо определиться с решением проблем соотношения истории и литературы, нарратива и «исторической реальности». Было подчеркнуто, что источник их возникновения связан с эпистемологией эмпиризма и способствует формированию определенного нарративного формата. Предложено называть его нарративом повествовательного типа. Нами выдвинут тезис, что продуктивное обсуждение места и роли нарратологии требует радикальной смены нарративного формата. Утверждается, что историческое знание должно конституироваться нарративной структурой, в основе которой лежит выдвижение и доказательство гипотезы. Отмечено, что данная нарративная структура может выступить точкой отсчета для применения нарратологии. Пути применения показаны на примере структуры повествовательных инстанций, а именно способов использования фигуры нарратора. Мы показали, что наиболее типичным для нарратива повествовательного типа является использование имплицитного нарратора. Отмечено, что фигура такого нарратора фактически становится способом снятия ответственности с автора. Также обсужден вопрос о возможности использования ненадежной наррации, показаны пути ее опознания в историческом нарративе. В заключение отмечены пути применения нормативной функции нарратологии. Ее реализация связана с использованием фигуры эксплицитного нарратора и его трактовкой как необходимого условия создания исторического нарратива.

Ключевые слова: исторический нарратив, нарратология, автор, нарратор, имплицитный нарратор, ненадежная наррация.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-113-135.

* Сыров Василий Николаевич, д. филос. н., профессор, философский факультет Томского государственного университета (Томск), narrat@inbox.ru, ORCID: 0000-0002-5498-4610.

** © Сыров, В. Н. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00421).

В своей программной статье, как известно, Лоуренс Стоун провозгласил возрождение нарратива в историческом познании. Автор связал возвращение к нему — неудачи т. н. «научных подходов» к истории, связанных с применением экономического подхода, заимствованного у марксизма, установок французской школы Анналов (третьего поколения) и американской «клиометрии». Характерные черты «нарративной истории» им были выражены в следующих тезисах: она носит более дескриптивный, чем аналитический характер и фокусируется на человеке, а не на окружающих его обстоятельствах. По сути, фиксация этих свойств отразила те существенные аспекты прошлого, которые, по мнению Стоуна, были упущены в вышеупомянутых «научных подходах». Он, естественно, указал на отличия новой нарративной истории от традиционного нарратива, среди которых стоит отметить актуализацию роли аналитических процедур и влияние современных литературных жанров, и столь же заботливо выделил те трудности, которые могут возникнуть на пути возрождения нарратива (Stone, 1979: 3–24).

Судя по всему, Стоун связывал поворот к нарративу с актуализацией определенной тематики, относящейся к истории индивидуальных действий и событий, и полагал, что нарративный формат является наиболее уместным для ее подачи. Несколько позднее Франклин Анкерсмит в своей примечательной работе «Нарративная логика» (1983 г.) отметил, что не видит оснований, по которым нарративной историографии не может быть позволено выходить за рамки изучения интенциональных человеческих действий. Он подчеркнул, что в ее компетенции находится изучение вопросов о том, как историки объединяют большое количество исторических фактов в одно синтетическое целое (например, в «промышленную революцию» или «холодную войну») (Анкерсмит, Гавришина и Олейников, 2003: 26). Поль Рикер в своем фундаментальном труде «Время и рассказ» (Рикер, Славко, 1998) достаточно убедительно показал, что даже обращение к сущностям типа государства, класса, культуры, античности, Возрождения и т. д. не исключает возможности описывать их в терминах события или интриги, традиционно связываемых с нарративностью (там же: 228–238). Рикер, правда, называл их квази-событиями и квази-интригой, поскольку, с одной стороны, они выходят за границы пространства и времени жизни отдельных индивидов, но, с другой стороны, сохраняют структурное сходство с событием и интригой. Благодаря этим трудам и работам других нарративистски ориентированных авторов становилось возможным в целом рассматривать историю как одну из форм наррации, а нарративизацию — как

общий способ превращения прошлого в историю. В итоге становится ясно, что к настоящему времени для большинства теоретиков истории (Манслоу, Анкерсмит, Рюзен и т. д.) тезис о нарративной форме исторического знания как такового стал общепринятым, причем нарративизации (особенно конструктивистски настроенными авторами) стал приписываться конститутивный статус, обеспечивающий превращение прошлого (или совокупности свидетельств) в историю. Иначе говоря, «концепт нарратива внутри современной теории истории является эпистемологическим концептом» (Fulda, 2008: 174).

К настоящему времени сам термин прочно вошел в словарь уже не только философов истории или методологов, но и самих историков. Но вот перевернул ли он что-либо в их работе? Если судить по контексту употребления, то иногда создается ощущение, что либо историки всегда писали нарративы, только не использовали новомодный словарь, либо нарративы по-прежнему просто отражают традиционные форматы подачи прошлого, о чем предупреждал тот же Стоун. Поэтому представляется, что вопрос о роли нарратива как исследовательского метода, а не риторического приема, остается в силе. Полагаем, что постановка и обсуждение этого вопроса невозможны без обращения к достижениям такой дисциплины, как нарратология. Таким образом, в данной статье предполагается обсудить вопросы, связанные с тем, каким исторический нарратив должен быть, чтобы сохранить или реализовать свою эвристичность, и предложить набросок тех достижений нарратологии, которые возможно использовать на этом пути. Развивая данную тему, мы выдвигаем тезис, что продуктивное использование тех или иных наработок нарратологии возможно только благодаря радикальному пересмотру структуры исторического нарратива.

Почему нарратология? Она возникла в конце 60-х гг. XX в., и первоначально приоритетным объектом ее анализа и основным источником построения теории нарратива являлась литературная продукция. Однако с момента своего возникновения нарратология претерпела ряд трансформаций и модификаций. В частности, многие нарратологи считают возможным говорить о «классическом» и «постклассическом» этапах ее развития и в качестве одной из существенных черт «постклассической» стадии подчеркивать ее интердисциплинарный характер (см. например, Rimmon-Kenan, 2002: 149–150). К настоящему времени нарратология является вполне устоявшейся самостоятельной исследовательской дисциплиной, трактуемой как теория нарратива с более-менее определенным набором специальных тем и проблем, списком классиков

жанра и даже достаточно внушительным перечнем учебных пособий. Как и всякая теория (или комплекс теорий), нарратология движется от частного к общему. Расширение объектов исследования (кино, пресса, психология, историография и т. д.) для неё является источником построения и развития теории, хотя современные нарратологи подчеркивают, что обращение к выявлению специфических свойств нарративов в той или иной сфере культуры предстает одной из сущностных черт постклассического периода. Такое понимание нарратологии предполагает, во-первых, осознание ее автономии как исследовательской дисциплины, несводимой к другим; во-вторых, различие процедур создания теории и ее применения. Последнее тогда будет более связано с потребностями той исследовательской области, к которой достижения нарратологии могут быть применены. В-третьих, общий вопрос о роли нарратива в историческом познании может приобрести более конкретный характер, а именно как вопрос о том, какие аспекты теории нарратива могут быть актуализированы профессиональным сообществом историков.

Резонно предположить, что достижения нарратологии могут быть использованы в двух исследовательских направлениях: критическом и нормативном. Что касается первого, суть такого применения заключается в утверждении, что возражения и претензии, предъявляемые авторам исторической продукции, могут быть связаны не только с упреками в релевантности источниковой базы (что рассказывается), но и с сомнением в продуктивности используемых ими принципов (как правило, имплицитных) организации текста, например, способами использования времени, типами нарратора, жанрами и т. д. (как рассказывается). Что касается второго (нормативного), речь идет о том, как и какие достижения нарратологии могут способствовать развитию исторического знания и познания.

Если говорить о реализации критической функции, то полагаю, что для ее осуществления историческому познанию стоит освободиться от определенного наследия, связанного с темой соотношения истории и нарративности, а именно с определенной трактовкой природы исторического нарратива. Она нашла свое выражение в двух проблемах, традиционно относимых к области философии истории. Это, прежде всего, весьма почтенная (идущая еще от Аристотеля) проблема соотношения истории и литературы и, во-вторых, проблема соотношения нарратива и «исторической реальности». Отметим еще раз, что основанием для их объединения будет являться определенная интерпретация исторического нарратива.

Проблема соотношения истории и литературы была, как известно, реанимирована в трудах Хайдена Уайта. В несколько упрощенной форме его основная мысль заключалась в следующем тезисе: «Какую конфигурацию придать данной исторической ситуации будет зависеть от утонченности историка в сочетании специфической сюжетной структуры со списком исторических событий с целью осмыслить их особым образом. По существу, это есть литература, т. е., так сказать, операция по созданию фикции» (White, 1978: 48). Проблема соотношения нарратива и «исторической реальности» (или проблема референции) нашла свое выражение в известной фразе американского исследователя Луиса Минка: «Истории не проживаются, но рассказываются. Жизнь не имеет начала, середины и финала» (Mink, 1987: 60). Имплицитное, как правило, убеждение о бытии истории в нарративной форме он назвал «нерассказанной историей». С этой позиции задача историка заключалась в том, «чтобы открыть такую нерассказанную историю или часть ее и пересказать пусть в сокращенной или отредактированной форме» (ibid.: 188). Оппонентом данного подхода выступил известный американский исследователь Дэвид Карп, который вполне справедливо подчеркнул, что сведение нарративной структуры только к области исторических и художественных текстов будет либо выполнять эскапистскую функцию (функцию «бегства» от действительности), либо стремиться «навязать моральное видение реальности в интересах господства и манипуляции» (Carr, 1991: 15–16). Обе проблемы, породившие соответствующие подходы, как известно, обрели достаточное число сторонников и противников и вполне богатую традицию обсуждения.

Рискнем утверждать, что в большинстве случаев историк вряд ли рефлексирует по поводу наличия или значимости этих проблем. Самый распространенный формат, в котором он действует, представляет собой работу с источниками и свидетельствами на уровне как статей, так и монографий, где само содержание материала, язык описания, а уж тем более используемые жанры вряд ли подталкивают к размышлениям по поводу сходств и различий между историей и литературой, а типичное использование в создаваемой продукции фигуры имплицитного безличного нарратора, который зачастую бессознательно воспринимается как стандарт написания исторического текста, свидетельствует либо о столь же бессознательной вере в существование «нерассказанных историй», либо неявно подталкивает к ней.

Понятно, что не столь высокая степень рефлексии по этому поводу в профессиональном сообществе историков, обусловленная, помимо прочего, тем, что их повседневная практика, как правило, не провоцирует их к актуализации вышеописанных проблем, не является аргументом для отрицания как факта их наличия, так и факта значимости их обсуждения и выработки продуктивных путей решения для самого сообщества историков. Хотя резонно утверждать, что обсуждением вопросов, связанных с проблемами соотношения как истории и литературы, так и нарратива и «реальности», в большей степени занимаются методологи или философы. Как следствие, правомерно полагать, что недостаточное внимание к этим вопросам поддерживает сохранение тех форматов, в которые зачастую упаковывается или может упаковываться историческая продукция и которые, в свою очередь, остаются основанием для периодической актуализации вышеописанных проблем.

Как уже отмечалось выше, нетрудно заметить, что объединяет обе рассмотренные проблемы сохраняющееся в той или иной мере в профессиональном сообществе убеждение в правомерности использования определенного формата исторического письма. Формат этот по сей день передается по традиции, в частности, через требования, явно или неявно предъявляемые сообществом к написанию квалификационных сочинений всякого рода и уровня (от дипломных работ до докторских диссертаций). Можно назвать его нарративом повествовательного типа или традиционным нарративом. Резонно ожидать, что он будет обладать определенными чертами или тяготеть к ним: прежде всего, такой нарратив предстает чаще повествованием или описанием, чем рассуждением с последовательностью доказательств того или иного тезиса. Соответственно, он будет стремиться к тематической или хронологической организации текста. Организовывать текст тематически — значит подавать его в виде совокупности и последовательности утверждений или положений, которые предполагают их развертывание (например, сначала про это, потом про то) и в которых используемый эмпирический материал более выглядит как иллюстрация тех или иных положений, чем их доказательство, а полнота доказательной части зачастую сводится к обилию ссылок на источники. Писать на тему, иначе говоря, значит пытаться создать нарратив, «корректно сообщающий всякую мало-мальски ценную информацию, содержащуюся в архивах по тому или иному аспекту прошлого» (Анкерсмит, Гавришина и Олейников, 2003: 83). По сути, данный подход строится на убеждении, что те или иные вещи объективно имели место в прошлом и осталось лишь в тексте вывести

их на свет. В реализации такого нарративного формата проявляется сохранение представления о том, что писать истории — значит воссоздать какой-то отрезок прошлого, поэтому тематически организованные тексты предстают своеобразными эксплицированными фрагментами нерассказанной истории. Если же полагать, что любой нарративный формат выполняет не орнаментальную, а конститутивную функцию, то можно утверждать, что самой своей организацией традиционный нарратив будет блокировать новаторские возможности и потребности исследователя. Если сказать более категорично, то он будет форматировать не только текст, но и направление мысли исследователя.

На этом этапе рассуждений основной наш тезис заключается в утверждении, что источник стирания граней между историей и литературой и сохранения представлений о «нерассказанной истории» (или, наоборот, скепсиса по поводу места и роли нарративизации исторического знания) лежит не в их действительном сходстве, не в имманентно присущих исторической мысли чертах и уж тем более не в имманентных свойствах самого прошлого, а в сохраняющейся концепции исторического знания и теории познания, лежащей в ее основе.

Резонно предполагать, что в основе формата, названного нами традиционным или нарративом повествовательного типа, лежала и лежит эпистемология, которая строилась на убеждении сенсуалистов (эмпиристов) в существовании некоторых элементарных, далее неделимых единиц, непосредственно данных в опыте. В исторической мысли эта программа выразилась в доверии к т. н. первоначальному свидетелю (как наиболее достоверному источнику) и в убеждении, что история — это, в сущности, сумма фактов (или должна таковой быть), которую надлежит не столько доказать, сколько связно передать (Коллингвуд, как известно, называл такую программу «историей ножниц и клея»). Очевидно, что при таком подходе всякая попытка выстроить связь, выходящую за пределы хронологической связи, между данными фактами грозила стереть и без того хрупкую грань (хрупкость, порожденную рассматриваемой эпистемологией) между истиной и вымыслом. Понятно тогда, почему на любое целостное и связное повествование, созданное на основе какой-либо идеи, навешивался ярлык вымысленности. Этим объясняется сохраняющаяся осторожность профессионального сообщества к тем исследовательским практикам, которые им воспринимались как гипотезы по поводу эмпирического материала или его интерпретации, поскольку они трактовались как отрыв от фактов —

гарантии надежности в восприятии сторонников такого понимания сути исторического познания.

Не останавливаясь подробно на аргументации выдвинутых тезисов, полагаю, что перспективный путь решения этих давних проблем заключается не в призыве более интенсивно использовать современные литературные эксперименты, рассказывать истории с разных точек зрения, эксплицировать роль нарратора и т. д. (см.: например, Burke, 2001: 308–315) и не в реализации тезиса Карра, что «действительное различие между „искусством“ и „жизнью“ состоит не в противопоставлении организации хаосу, а в отсутствии в жизни такой точки зрения, которая трансформировала бы события в историю рассказом о них» (Carra, 1991: 59), что предполагает трактовку текстуальных нарративов как расширение и без того нарративно организованного человеческого бытия.

Считаю, что предложенный способ решения должен, с одной стороны, соответствовать стандартам исследовательской деятельности, которые историческое знание в состоянии реализовать, а с другой стороны, критериям нарративности, которые к настоящему времени тоже приобрели достаточно стандартизированный облик. Если говорить о требованиях реализации принципов исследовательской деятельности, то Алан Мегилл выразил столь же распространенное убеждение профессионального сообщества:

...Информация становится свидетельством, когда используется в качестве аргумента, который старается показать, что используемая информация поддерживает или опровергает некоторое утверждение. Идеологически ориентированный историк избегает задавать вопрос: «Как выдвигаемое мною утверждение может быть доказано или опровергнуто?» (Megill, 2007: 11).

Резонно полагать, что аргументативность подобного рода должна выступать одним из принципов организации исторического текста, а не его побочным элементом, которым можно пожертвовать в угоду плавности и гладкости изложения содержания и который ставит проблему сочетания повествовательности и доказательности (см.: например, Gallie, 1964: 65).

С другой стороны, австрийский нарратолог Моника Флюдерник, критикуя структуралистские версии нарратива, неоднократно подчеркивала, что репрезентацию человеческого опыта следует считать центральной целью нарратива (Fludernik, 1996: 37). Следуя за автором, можно

отметить, что такую репрезентацию надлежит полагать не отражением вненарративных форм бытия, а имманентной чертой организации человеческого опыта, который, кстати, как она отмечает, может быть представлен в разнообразных формах (Fludernik, 1996: 37). Если выражать эту мысль категоричнее: трактовать какие-либо акты как опыт и значит выстроить их в виде нарратива. Знание и познание соответственно можно рассматривать как одну из форм организации или выстраивания такого опыта.

Можно утверждать, что диалектическим синтезом сформулированных выше критериев стала бы структура, конституированная проблемой — гипотезой (следствиями из гипотезы) — последовательностью доказательств. Если связывать ее с традиционными критериями нарративности, то наличие темпоральной организации и таких ее структурных элементов, как, к примеру, начало — середина — финал или экспозиция — завязка — кульминация — развязка, в ней кажется вполне очевидным, только задаваться они будут не хронологией, а логикой постановки и решения задачи. Так, функцию экспозиции может взять на себя историографический анализ; функцию завязки — а видимо, и интриги — демонстрация ограниченности и неполноты взглядов предшественников; функцию кульминации — авторская гипотеза; ну а функцию развязки — экспликация серии аргументов (как правило, в виде интерпретации релевантных источников) с целью ее верификации.

Здесь стоит оговорить статус предложенной нарративной структуры. Конечно, сама по себе она не специфицирует историческое познание, поскольку может быть использована в любой сфере исследовательской деятельности. С другой стороны, она не является имманентно присущей научному познанию, поскольку представления о нормах и стандартах научной работы также менялись. Видимо, Карлу Попперу следует отдать приоритет в проработке и развитии такой версии научного знания:

Смелые идеи, неоправданные предвосхищения и спекулятивное мышление — вот наши единственные средства интерпретации природы, наш единственный органон, наш единственный инструмент ее понимания. И мы должны рисковать для того, чтобы выиграть. Те из нас, кто боится подвергнуть риску опровержения свои идеи, не участвуют в научной игре (Поппер, Садовский, 1983: 228).

Также стоит отметить, что и с позиций самой нарратологии данную структуру резоннее трактовать как один из возможных нарративных форматов, а не как сущностную черту любого нарратива. Собственная

задача нарратологии заключается скорее в обосновании нарративного статуса вышеописанной структуры и определении ее эвристических возможностей для ее собственных нужд. Например, мы можем исследовать варианты прочтения с позиций такого нарративного формата традиционных тем нарратологии (структуры повествовательных инстанций, соотношения автора и нарратора и т. д.). Поэтому речь идет не столько об оригинальности предложенной структуры или чьей-либо монополии на ее разработку и применение, сколько о превращении ее в принцип и рутинный формат исторического мышления и организации продуктов его деятельности — исторических нарративов.

Но можно утверждать, что представленный в таком формате исторический нарратив никакого отношения не имеет к литературе и не дает оснований проведения каких бы то ни было параллелей с ней. Конечно, некто в духе Борхеса мог бы создать текст, имитирующий вышеописанную структуру, но она не стала бы принципом организации литературных жанров. Естественно, что предложенный формат не отрицает роли фантазии, метафор, композиции, но они обретают функцию эпистемологическую, а не риторическую. Фантазия принимает облик воображения, а не вымысла. Но воображение является в данном случае сутью любой гипотезы, какой бы предельно эмпирической она ни была. Метафора выступает неотъемлемым способом формулировки новизны и оригинальности гипотезы. Композиция становится способом организации последовательности доказательств, формируя порядок изложения и отбор содержания и объема излагаемого по степени вклада в решение проблемы. Можно сказать, что в таком контексте предложенный формат становится не просто вариантом модификации традиционных исторических нарративов, а способом «снятия» самой проблемы сопоставления истории и литературы.

Важный момент, как нам представляется, заключается в способности данного формата упаковать любой исторический объект без ущерба для его идентичности. Ведь автор оформляет в нарратив не чуждый ему мир, а процесс и результаты своей собственной деятельности. Поэтому структуры, процессы, действия, события, типичное, уникальное, локальное, масштабное могут быть представлены в нем, ничего не теряя. Этот тезис позволяет другими глазами посмотреть на проблему соотношения нарратива и «исторической реальности». Для радикального конструктивиста данный формат вступает также способом «снятия» самой этой проблемы, поскольку для конструктивиста история возникает только в трудах самих историков, а данная структура нарратива

прямо указывает на вид знания. Но и для реалиста данный формат сам по себе не может предстать прямым отражением или репрезентацией «нерассказанной истории», даже если в виде гипотезы будет высказан тезис о природе самой такой реальности.

В качестве предварительного вывода можно утверждать, что предложенная структура исторического нарратива будет выступать точкой отсчета в определении вклада нарратологии в историческое познание, а точнее, в конкретизацию критической и нормативной функций в реализации данного вклада. Иначе говоря, именно с позиций такого нарративного формата мы будем определять эвристическую ценность для исторического познания тех или иных тем, входящих в состав объекта интереса самой нарратологии. Еще раз скажем предварительно, что, говоря об историческом познании, мы будем иметь в виду работу обычного историка, которая воплощается в совокупности статей и монографий, как правило, эмпирически ориентированных и не содержащих масштабных обобщений. Поэтому вопрос о роли нарратологии в осмыслении теоретических и философских вопросов перенесем на финал наших рассуждений.

Если говорить о значении нарратологии в вышеописанном контексте, то оно может заключаться в возможности: а) открыть новые аспекты осмысления (подразумевая под такими аспектами не только критический анализ, но и определение направления создания) исторических нарративов как продуктов работы профессионального сообщества, выходящих за пределы обсуждения полноты источниковой базы. Иначе говоря, применение нарратологии обеспечивает более богатую палитру осмысления исторических текстов; б) предоставить конкретные методологические направления такого осмысления, а именно — что и как использовать.

Вопрос о вкладе нарратологии резонно начать с довольно стандартной темы, а именно структуры повествовательных инстанций или коммуникативных уровней. Традиционная модель представлена, как известно, следующей структурой: реальный автор — подразумеваемый автор — нарратор — фокализатор — фокализуемый (или имплицитный зритель) — наррататор — подразумеваемый читатель — реальный читатель. Начнем с того, что, следуя завету Ролана Барта: «кто говорит (в самом повествовательном произведении), — это не тот, кто пишет (в реальной жизни), а тот, кто пишет, — это не тот, кто существует» (Барт, Косиков, 2000: 221), под автором будем понимать автора подразумеваемого и извлекаемого (из текста). На первый взгляд, результаты применения такой

модели для исторического познания будут выглядеть весьма скромными. Даже если, как принято считать, автор отвечает за замысел, а нарратор — за его реализацию, то необходимость различения автора и нарратора в историческом дискурсе кажется ненужной и надуманной. Причина в том, что, как первоначально представляется, эпистемология не предоставляет автору такого разнообразия возможностей и приемов как литературная деятельность. Цель получения истины, говоря классическим языком, требует — и это закреплено профессиональной этикой — только рациональной аргументации, а не риторики. Для исторического познания она, как правило, носит эмпирический характер, а способы представления аргументации тяготеют к однообразию, в том числе и в том, что касается как характеристик нарратора, так и самой необходимости его отличия от автора.

Но это только на первый взгляд, к тому же при сохранении убеждения, что природа исторического дискурса не изменилась. Но уже выше мы предложили различать два типа исторических нарративов, что дает основания начать с реализации критической функции нарратологии в том, что касается результатов применения структуры повествовательных инстанций по отношению именно к традиционному нарративному формату. В осуществлении этой процедуры можно оттолкнуться от рассуждений Барта о месте и роли нарратора в историческом тексте (правда, сам Барт это термин не употреблял в цитируемом ниже фрагменте). Хотя объектом его анализа были великие тексты великих историков прошлого, но идеи французского мыслителя, как представляется, не утратили своего значения и по сей день по отношению к оценке обычной работы современного историка.

Примечательным является замечание Барта о том, что «исторический дискурс не знает отрицания» (Барт, Зенкин, 2003: 435). Иначе говоря, для нарративного формата традиционного типа характерной будет организация материала не как дискуссии с оппонентами по поводу убедительности той или иной гипотезы, а как изложения так сказать самой исторической действительности. Такой подход предполагает скорее описание, а не рассуждение; повествовательность, а не доказательность. Поэтому «подвергается радикальной цензуре акт высказывания (ощущение которого единственно и делает возможным негативное преобразование), происходит сдвиг всего дискурса к самому высказыванию и даже (в случае историка) к референту; взять на себя ответственность за высказывание некому» (там же). Другими словами, для вышеописанного

нарративного формата характерно отсутствие (или малое использование) маркеров акта высказывания типа «логично предположить», «по-нашему (или моему) мнению данные аргументы не убедительны, потому что...», «следовательно», «наша гипотеза подтверждается тем-то и тем-то» и т. д. Если же подобные моменты и имеют место, то выглядят разрывом в плавном течении повествования.

В итоге результат деятельности историка подается как «продукт так называемой референциальной иллюзии, поскольку историк здесь делает вид, будто предоставляет говорить самому референту» (Барт, Зенкин, 2003: 432). С точки зрения нарратологии это означает использование фигуры имплицитного, безличного, но всеведущего и вездесущего нарратора. Иначе говоря, предполагается, что слово как бы дается самим фактам, предоставляя истории течь самой по себе, в чем и воплощается требование писать, как было на самом деле. Поэтому не случайно, что такое описание превращается в осознанное намерение избегать употребления интерпретативных и объяснительных процедур, поскольку они явно демонстрируют присутствие субъектности, а в трактовке сторонников использования традиционной наррации — субъективности историка.

Следовательно, продукт, порожденный таким повествовательным форматом, страдает монологичностью и существует как бы в вакууме, поскольку, как правило, лишен знаков дискуссионности, полемичности, репрезентации собственных аргументов, а значит, включенности в диалог с предшественниками и последователями. Как минимум такое положение дел усложняет решение вопроса о выборе и предпочтении одной версии исторического нарратива другой. Сокрытием меток присутствия рассказчика такой нарратив создает у читателя только иллюзию объективности, но в действительности становится производителем мифов и идеологических иллюзий. Говоря мягче, он беззащитен перед экспансией идеологических или мифологических толкований. В итоге в осуществляемой последовательности изложения трудно различить, где собственно авторский вклад, а где повторение сделанного предшественниками, где информация, значимая для раскрытия вопроса, и чем можно пренебречь. Именно поэтому в таком повествовании не на кого возложить ответственность за всю совокупность сделанных высказываний.

Вопрос о такой ответственности можно рассматривать как рефлексивный сдвиг от фигуры нарратора к фигуре автора, а использование фигуры имплицитного нарратора — как способ автора снять с себя

ответственность. Этот сдвиг позволяет актуализировать еще один аспект темы структуры повествовательных инстанций, а именно вопрос о ненадежном нарраторе. Как известно, эта идея была выдвинута американским литературоведом Уэйном Бутом и характеризовала ситуацию несовпадения норм, исповедуемых нарратором, с нормами подразумеваемого автора (Booth, 1961: 158–159). Еще один шаг, который по праву можно считать наиболее значимым вкладом в этом направлении после Бута, был сделан немецким нарратологом Ансаром Нюннингом, отметившим, что ненадежная наррация зависит не только от дистанции между нормами и ценностями нарратора и автора, но и от различия между мирами нарратора и читателя (Nünning, 2005: 95). Иначе говоря, ненадежность может опознаваться читателем, но не осознаваться автором. Такой подход к идентификации ненадежности был обозначен как когнитивистский в противовес традиционному риторическому подходу.

Опять-таки на первый взгляд может показаться, что эта тема в целом относится только к области литературы и трактуется как одна из авторских стратегий для усиления эстетического эффекта. Используя бартовскую метафору, можно сказать, что здесь автор как бы «подмигивает» читателю за спиной нарратора. Более пристальный взгляд, однако, может показать, что и в исследовательских текстах такая ситуация может иметь место, в частности, когда окружающая среда (тип политического режима, нормы научного сообщества и т. д.) не позволяет автору открыто выразить свою позицию (в качестве примера можно обратиться к работам советского периода, посвященным критике буржуазной историографии; понятно, однако, что каждый такой случай требует специального анализа, ибо автор в качестве оправдания может задним числом так представить свой текст).

Рискнем утверждать, что подход Нюннинга открывает в данной теме новые перспективы, которые можно применить к анализу исторического текста. Прежде всего, он позволяет в новом свете говорить о когнитивном аспекте темы ненадежной наррации. Этот аспект будет заключаться не в определении роли читателя, хотя наличие этой позиции в лице члена профессионального сообщества следует полагать необходимой при определении надежности анализируемой продукции (истинности в традиционной терминологии) и принятии конструктивистского подхода (поскольку референтом будут выступать другие тексты, а не «историческая реальность»). Речь идет об эпистемологической функции ненадежной наррации, а именно об ее роли в приращении

знания. Во-вторых, взгляд с позиции читателя, позволяет иначе представить взаимоотношения автора и нарратора. Риторический подход, как правило, требовал от читателя вставать на позицию автора. Но мы можем представить ситуацию, когда эмпирический материал может выйти из-под контроля автора и фактически предстать либо дополнением, либо отрицанием его установок. Это дает нам — читателям — возможность и право встать на позицию рассказчика.

Несовпадение позиций автора и нарратора, зафиксированное читателем, может открыть новые пути в анализе исторических текстов. Ключевая мысль, развиваемая Нюнингом, заключается в утверждении, что проблема ненадежной наррации не может быть решена только на основе анализа внутритекстуальных данных и требует принимать во внимание те концептуальные внетекстуальные предпосылки, которые читатель и критик привносят в тексты (Nünning, 2008: 45). Поэтому Нюнинг предлагает достаточно развернутую методологическую модель опознания ненадежной наррации: от принятых допущений о природе так называемого реального мира до моделей жанров (*ibid.*: 47–48). Представляется, что данную модель можно использовать для критического анализа исторических нарративов. Подход Нюнинга предполагает, что ситуация ненадежности опознается читателем (прежде всего членами профессионального сообщества) при убежденности автора в правомерности используемых целей и средств. Можно сказать, что такое опознание ненадежности будет строиться на умении критика показать расхождение авторского намерения (цели) и реализованных средств (к числу которых и относится использование нарратора).

Некоторый набросок модели такого анализа мог бы выглядеть следующим образом. К внутритекстуальным способам опознания ненадежности можно было бы отнести т. н. ненадежность на уровне истории или сомнение в надежности представленной картины прошлого и ненадежность на уровне дискурса, а именно сомнение в характере использования источников (то, что обычно характеризуется в терминах односторонности, поверхностности, неполноты и т. д.), упрек в скрытом использовании риторических приемов как аргументов в доказательстве.

Далее, следуя методологии Нюнинга, мы можем говорить о несовпадении миров нарратора и читателя или ненадежности на уровне метанаррации. Такая ненадежность, во-первых, была бы связана с трактовками тех или иных аспектов прошлого, которые в конкретном тексте выступали бы в качестве имплицитного контекста. Кроме того, такая ситуация предполагала бы искреннее признание (после критики коллег)

автором ненадежности контекста, реализованного используемым им типом нарратора. Очевидно: если бы автор продолжал утверждать, что именно такую трактовку прошлого он считает правильной, то использование аргумента ненадежности не имело бы смысла.

Во-вторых, ненадежность могла бы опознаваться на уровне критического анализа используемых форматов исторического нарратива. Питер Берк, как уже отмечалось выше, полагал, что обращение историков к осмыслению новых литературных форм ясно показывает, что старые формы неадекватны для новых целей и что эксперименты, спровоцированные современной литературой, могут открыть новые решения проблем, с которыми историки борются уже длительное время (Burke, 2001: 308–315). Такие призывы были весьма популярны некоторое время назад, особенно в литературе, посвященной теоретико-методологическим вопросам исторического познания. Теперь задним числом рискуем утверждать, что подобного рода призывы и попытки их реализации могут быть квалифицированы как ситуация ненадежной наррации или, образно говоря, как попытка влить молодое вино в старые мехи.

Отдельные вопросы, которые выходят за пределы использования такого критического аргумента, как ненадежная наррация, будут связаны, во-первых, с правомерностью использования явных или скрытых (как правило моральных) оценок, употребление которых обычно входит в список характеристик нарратора (Шмид, 2003: 68); во-вторых, с использованием такого структурного (хотя и спорного в самой нарратологии) уровня, как фокализация. Фокализация, как известно, предполагает постановку вопроса, чьими глазами видится описываемый мир. Призыв использовать разные точки зрения для описания прошлого стал достаточно популярным в исторической литературе и даже подается в качестве одной из продуктивных исследовательских стратегий, особенно в ситуации конфликта интерпретаций, порожденного социально-культурными, классовыми, национальными и иными различиями (см. например: Bevernage, 2018: 76–80). Требование предоставить право голоса тем, кто был его лишен или чье мнение не считалось достойным учета, также достаточно распространено в современной исторической литературе (см. например: Wyschogrod, 2004: 28–44). Соответственно, дискуссии о характере моральной вовлеченности историка и о его статусе как судьи, адвоката или следователя также стали имманентной частью современного исторического дискурса.

Полагаю, что обращение к данным темам можно считать переходом от критической к нормативной функции нарратологии в историческом познании. Мы можем связать ее реализацию с использованием фигуры нарратора от первого лица и трактовать такого нарратора не как факультативное, а как необходимое условие создания исторического нарратива. Выше уже было отмечено, что продуктивная реализация фигуры рассказчика такого типа видится возможной именно в контексте нарративной структуры, конституированной проблемой — гипотезой — доказательством гипотезы. Понятно, что формулировка гипотезы немыслима без нарратора, позиционирующего себя как Я или Мы. Понятно также, что в историческом (да и научном в целом) дискурсе фигура такого нарратора является наиболее приемлемым способом взять на себя ответственность за те или иные высказывания.

И наконец, использование нарратива исследовательского типа — это хороший путь возвращения к актуализации и значимости роли автора, поскольку выдвижение гипотезы невозможно помыслить без отсылки к автору и маркировки авторской позиции. Кроме того, стоит повторить, что использование такой нарративной структуры избавляет от постановки вопроса о соотношении формы и содержания. Ведь употреблением такого нарративного формата, как говорилось выше, автор (историк) говорит не о чуждом ему мире, а о своей собственной деятельности. С другой стороны, мы могли бы утверждать, что эксплицитность является, наверное, единственной характеристикой нарратора, которая могла бы соответствовать нормативам исследовательской деятельности. Любые иные тенденции антропоморфизации нарратора были бы чреваты опасной субъективизацией исторического дискурса.

Конечно, представленные выше размышления, скорее, набросок, а не исчерпывающая картина. Исходная цель заключалась в стремлении показать, как достижения нарратологии могут быть использованы в обычной работе историка, хотя мы отталкивались от тезиса, что продуктивное использование тех или иных тем нарратологии предполагает предварительное обсуждение вопросов, которые более относятся к компетенции философии истории. Было подчеркнуто, что наработки нарратологии могут быть использованы с целью как критики существующего исторического дискурса, так и возможности внести свой вклад в развитие исторического познания. В нарратологии аналогом такого подхода могут выступить симптоматическое и адаптивное чтение

(см. например: Abbot, 2002: 97–100). Было отмечено, что в общеметодологическом плане вклад нарратологии связывается с перспективой расширения пространства обсуждения исторических нарративов.

В качестве примера использования достижений нарратологии была взята тема нарратива как совокупности коммуникативных уровней, хотя применение слова «пример» является не совсем удачным. Лучше было бы сказать, что тема была выбрана, потому что она видится ключевой в рамках современного понимания природы исторического познания, а для конструктивистов — определяющей, поскольку установление надежности содержания того или иного исторического текста они связывают не с его соответствием т. н. «исторической реальности», а с его сопоставлением с другими историческими текстами. Нам показалось, что вопросы, касающиеся типологии нарраторов, в частности, с их открытостью (говорить от первого лица) или закрытостью (говорить от третьего лица), а также тему ненадежной наррации, следует считать приоритетными при определении того, какие достижения нарратологии стоит внедрить в первую очередь в культуру исторической работы.

Конечно, даже здесь вопрос не исчерпан. Выше уже отмечалось, что такой спорный среди самих нарратологов коммуникативный уровень, как фокализация, может найти свое применение в историческом дискурсе. За пределами анализа осталась фигура читателя, которая при современном переосмыслении темы истинности знания выходит на передний план как в нарратологии, так и в гуманитарном знании в целом. Отдельный и сам по себе интересный вопрос заключается в том, какие аспекты нарратологии проблематичны для применения в сфере познания в силу природы познавательной деятельности, ведь нетрудно заметить, что и по сей день существенная доля нарратологической тематики опирается на анализ художественной литературы. Нет нужды говорить, что пристального внимания заслуживает тема времени, поднятая в трудах Жерара Жюнетта, в частности, как именно могут быть использованы в анализе исторического дискурса такие аспекты времени, как длительность, порядок и частота (Жюнетт, Васильева и Гречанова, 1998: 69–180).

В заключение хотелось бы вернуться к философскому аспекту вопроса о перспективах нарратологии, то есть о возможности применения нарративного формата к определению специфичности исторического знания. В обсуждении этого вопроса оттолкнемся от современных (постмодернистских) установок, настаивающих на том, что рассуждать об

истории вне наших знаний о ней затруднительно. В контексте процитированных выше идей Флюдерник можем настаивать на правомерности использования нарративного формата для этих целей. Конечно, речь идет не о возвращении метанарративов. Полагаем, что для осмысления специфичности исторического знания наиболее уместно было бы использовать формат опыта, но не в смысле совокупности чувственных данных, а в смысле структуры, конституированной такими элементами, как цель — действия в соответствии с поставленной целью — столкновение с препятствиями — непредвиденные последствия действий. Не будем касаться здесь вопроса об аналогиях с гегелевскими рассуждениями о «хитрости разума». Не будем специально обосновывать возможность темпоральной растянутости такой структуры и выходе ее за пределы индивидуальных действий (например, «жизнь и смерть» культуры можно трактовать как исторический опыт). По этому поводу выше уже были приведены рассуждения Рикера о квази-событиях, и квази-интриге, и расширении понятия субъекта нарратива. Отметим лишь, что в эпистемологическом аспекте предпочтительность формата опыта заключается в том, что, с одной стороны, он повернут к нам, ибо только мы нуждаемся в нем, а с другой стороны — к источникам (реалист сказал бы, что к самому прошлому), ведь только тот, кто нуждается в опыте, а не в утешениях или восхвалениях, стремится к максимальной беспристрастности и полноте в их интерпретации.

Важно отметить, что формат опыта носит скорее имплицитный, чем эксплицитный характер и относится более к компетенции читателя. Предполагается, что он способен включить многообразие содержания конкретных статей и монографий в определенный формат, который был бы ответом на вопрос: «В чем смысл всей этой многообразной информации?» Можно назвать это процедурой связывания частей в целое. В свете тезиса о мировоззренческой ценности гуманитарного знания также можно было бы утверждать, что таким читателем должен быть не только член профессионального сообщества, а любой рационально мыслящий индивид, ведь знание о прошлом вполне оправданно считается частью идентичности современного человека.

ЛИТЕРАТУРА

Анкерсмит Ф. Нарративная логика : семантический анализ языка историков / под ред. Л. Б. Макеевой ; пер. с англ. О. Гавришиной, А. Олейникова. — М. : Идея-Пресс, 2003.

- Барт Р.* Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика : семантический анализ языка историков / пер. с фр., под ред. Г.К. Косикова. — М. : ИГ Прогресс, 2000. — С. 196–238.
- Барт Р.* Дискурс истории // Система моды : статьи по семиотике культуры / пер. с фр., под ред. С.Н. Зенкина. — М. : Изд.-во им. Сабашниковых, 2003. — С. 427–441.
- Женетт Ж.* Фигуры. В 2 т. Т. 2 / пер. с фр. Е. Васильевой, Е. Гречаной, И. Иткина. — М. : Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.
- Поппер К.* Логика и рост научного знания : избранные работы / пер. с англ. В. Садовского. — М. : Прогресс, 1983.
- Рикер П.* Время и рассказ. В 2 т. Т. 1 / под ред. С.Я. Левит ; пер. с фр. Т.В. Славко. — М. : Университетская книга, 1998.
- Шмид В.* Нарратология. — М. : Языки славянской культуры, 2003.
- Abbot P. H.* The Cambridge Introduction to Narrative. — Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
- Bevernage B.* Narrating Pasts for Peace? : A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through “Historical Dialogue” and “Shared History” // Ethos of History : Time and Responsibility / ed. by S. Helgesson, J. Svenungsson. — New York : Berghahn Books, 2018. — P. 76–80.
- Booth W.* Rhetoric of Fiction. — Chicago : University of Chicago Press, 1961.
- Burke P.* History of Events and the Revival of Narrative // The History and Narrative Reader / ed. by G. Roberts. — London : Routledge, 2001. — P. 308–315.
- Carr D.* Time, Narrative, and History. — Bloomington (Indiana) : Indiana University Press, 1991.
- Fludernik M.* Towards a “Natural” Narratology. — London : Routledge, 1996.
- Fulda D.* “Selective” History : Why and How “History” Depends on Readerly Narrativization, with the Wehrmacht Exhibition as an Example // Narratology Beyond Literary Criticism : Mediality, Disciplinarity / ed. by J. C. Meister, T. Kindt, W. Schernus. — Berlin : Walter de Gruyter, 2008. — P. 173–194.
- Gallie W. B.* Philosophy and Historical Understanding. — London : Chatto & Windus, 1964.
- Megill A.* Historical Knowledge, Historical Error : A Contemporary Guide to Practice. — Chicago : University of Chicago Press, 2007.
- Mink L. O.* Historical Understanding. — Ithaca (New York) : Cornell University Press, 1987.
- Nünning A. F.* Reconceptualizing Unreliable Narration : Synthesizing Cognitive and Rhetorical Approaches // Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel / ed. by E. D’hoker, G. Martens. — Berlin : Walter de Gruyter GmbH & Co, 2005. — P. 89–107.
- Nünning A. F.* Reconceptualizing the Theory, History and Generic Scope of Unreliable Narration : Towards a Synthesis of Cognitive and Rhetorical Approaches //

- Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel / ed. by E. D'hoker, G. Martens. — Berlin : Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. — P. 29–76.
- Rimmon-Kenan S.* Narrative Fiction : Contemporary Poetics. — London, New York : Routledge, 2002.
- Stone L.* The Revival of Narrative : Reflections on a New Old History // Past and Present. — 1979. — No. 85. — P. 3–24.
- White H.* Historical Text as Literary Artifact // The Writing of History : Literary Form and Historical Understanding / ed. by R. Canary, H. Kozicki. — Madison : University of Wisconsin Press, 1978. — P. 41–62.
- Wyschogrod E.* Representation, Narrative, and the Historian's Promise // The Ethics of History / ed. by D. Carr, T. R. Flynn, R. A. Makkreel. — Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 2004. — P. 28–44.

Syrov, V. N. 2020. "Narrativ v istoricheskom poznanii [Narrative in Historical Knowledge]: o perspektivakh ispol'zovaniya narratologii [On the Prospects of Using Narratology]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 113–135.

VASILII SYROV

DOCTOR OF LETTERS IN PHILOSOPHY, PROFESSOR, PHILOSOPHICAL FACULTY OF THE TOMSK STATE UNIVERSITY (TOMSK, RUSSIA); ORCID: 0000-0002-5498-4610

NARRATIVE IN HISTORICAL KNOWLEDGE

ON THE PROSPECTS OF USING NARRATOLOGY

Submitted: June 15, 2020. Reviewed: Aug. 14, 2020. Accepted: Sept. 11, 2020.

Abstract: The article discusses the possibility of applying narratology to historical knowledge. I suppose that such an approach will help to give a critical assessment to the use of various narrative structures and to identify the potential of narratology for the development of historical knowledge. I believe that for this aim historical narrative should be extended to the interpretation of any historical objects. It is also necessary to discuss the solution of old problems such as the relationship between history and literature and the relationship between narrative and "historical reality". I believe that their source is related to the epistemology of empiricism and leads to the use of a specific narrative format. Approaches to using narratology are discussed using the theory of communicative levels and the typology of narrators as an example. I believe the most typical historical narrative is the use of an implicit narrator. The role of the narrator is concretized as a discussion of the possibility of using an unreliable narration. The article shows the ways of its identification in historical narrative. I argue that the productive use of narratology requires the use of an explicit narrator figure and its interpretation as a necessary condition for creating a historical narrative.

Keywords: Historical Narrative, Narratology, Author, Narrator, Implicit Narrator, Unreliable Narration.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-113-135.

REFERENCES

- Abbot, P. H. 2002. *The Cambridge Introduction to Narrative*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ankersmit, F. R. 2003. *Narrativnaya logika [Narrative Logic]: semanticheskiiy analiz yazyka istorikov [A Semantic Analysis of the Historian's Language]* [in Russian]. Ed. by L. B. Makeyeva. Trans. from the English by O. Gavriushina and A. Oleynikov. Moskva [Moscow]: Ideya-Press.
- Barthes, R. 2000. "Vvedeniye v strukturnyy analiz povestvovatel'nykh tekstov [Introduction à l'analyse structurale des récits]" [in Russian]. In *Frantsuzskaya semiotika [French Semiotics]: semanticheskiiy analiz yazyka istorikov [From Structuralism to Poststructuralism]*, ed. and trans. from the French by G. K. Kosikov, 196–238. Moskva [Moscow]: IG Progress.
- . 2003. "Diskurs istorii [Le discours de l'histoire]" [in Russian]. In *Sistema mody [Le système de la mode]: stat'i po semiotike kul'tury [Essais de sémiologie de la culture]*, ed. and trans. from the French by S. N. Zenkin, 427–441. Moskva [Moscow]: Izd.-vo im. Sabashnikovykh.
- Bevernage, B. 2018. "Narrating Pasts for Peace?: A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through 'Historical Dialogue' and 'Shared History'." In *Ethos of History: Time and Responsibility*, ed. by St. Helgesson and J. Svenungsson, 76–80. New York: Berghahn Books.
- Booth, W. 1961. *Rhetoric of Fiction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Burke, P. 2001. "History of Events and the Revival of Narrative." In *The History and Narrative Reader*, ed. by G. Roberts, 308–315. London: Routledge.
- Carr, D. 1991. *Time, Narrative, and History*. Bloomington (Indiana): Indiana University Press.
- Fludernik, M. 1996. *Towards a "Natural" Narratology*. London: Routledge.
- Fulda, D. 2008. "'Selective' History: Why and How 'History' Depends on Readerly Narrativization, with the Wehrmacht Exhibition as an Example." In *Narratology Beyond Literary Criticism: Mediality, Disciplinarity*, ed. by J. Ch. Meister, T. Kindt, and W. Schernus, 173–194. Berlin: Walter de Gruyter.
- Gallie, W. B. 1964. *Philosophy and Historical Understanding*. London: Chatto & Windus.
- Genette, G. 1998. [in Russian]. Vol. 2 of *Figury [Figures]*, trans. from the French by Ye. Vasil'yeva, Ye. Grechanova, and I. Itkin. 2 vols. Moskva [Moscow]: Izd.-vo im. Sabashnikovykh.
- Megill, A. 2007. *Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary Guide to Practice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mink, L. O. 1987. *Historical Understanding*. Ithaca (New York): Cornell University Press.
- Nünning, A. F. 2005. "Reconceptualizing Unreliable Narration: Synthesizing Cognitive and Rhetorical Approaches." In D'hoker and Martens 2008, 89–107.
- . 2008. "Reconceptualizing the Theory, History and Generic Scope of Unreliable Narration: Towards a Synthesis of Cognitive and Rhetorical Approaches." In D'hoker and Martens 2008, 29–76.
- Popper, K. 1983. *Logika i rost nauchnogo znaniya [Logic and the Growth of Scientific Knowledge]: izbrannyye raboty [Selected Works]* [in Russian]. Trans. from the English by V. Sadovskiy. Moskva [Moscow]: Progress.
- Ricoeur, P. 1998. [in Russian]. Vol. 1 of *Vremya i rasskaz [Temps et Récit]*, ed. by S. Ya. Levit, trans. from the French by T. V. Slavko. 2 vols. Moskva [Moscow]: Universitet-skaya kniga.
- Rimmon-Kenan, Sh. 2002. *Narrative Fiction: Contemporary Poetics*. London and New York: Routledge.

- Shmid, V. 2003. *Narratologiya [Narratology]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Yazyki slavyanskoj kul'tury.
- Stone, L. 1979. "The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History." *Past and Present*, no. 85: 3–24.
- White, H. 1978. "Historical Text as Literary Artifact." In *The Writing of History : Literary Form and Historical Understanding*, ed. by R.H. Canary and H. Kozicki, 41–62. Madison: University of Wisconsin Press.
- Wyschogrod, E. 2004. "Representation, Narrative, and the Historian's Promise." In *The Ethics of History*, ed. by D. Carr, T. R. Flynn, and R. A. Makkreel, 28–44. Evanston and Illinois: Northwestern University Press.

Ирина Рудковская*

«ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА»

Н. А. Полевого**

МАРКЕРЫ ТЕМПОРАЛЬНОГО КАНОНА ПОЗДНЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В ПЕРВОЙ МАКРОИСТОРИИ ПОСТКАРАМЗИНСКОГО ПЕРИОДА

Получено: 14.07.2020. Рецензировано: 26.08.2020. Принято: 10.09.2020.

Аннотация: Статья посвящена компаративному анализу решения проблем структурирования времени в трудах Н. М. Карамзина и Н. А. Полевого. Автор полагает, что вариант «овременивания», предложенный Н. А. Полевым на рубеже 20–30-х гг. XIX столетия в «Истории русского народа», формировался под влиянием темпоральной составляющей британского историографического канона позднего Просвещения. «История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688» Д. Юма, «История Шотландии», «История государствения императора Карла V» и «История Америки» В. Робертсона, «История упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона ранее оказали значительное влияние на «Историю Российскую от древнейших времен» М. М. Щербатова и «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина. В посткарамзинский период Н. А. Полевым была предложена версия презентации времени, в которой значимые черты сходства с вариантами его предшественников преобладали над заметными различиями. Об этом свидетельствует компаративный анализ комплексов темпоральных маркеров, выделенных в текстах макроисторий Н. М. Карамзина и Н. А. Полевого. Сопоставление роли точной датировки, временных отрезков неопределенной длительности, периодизации, деления по столетиям, персонафицированного времени, лучшего и худшего времени, синхронизации, связи времен в исследуемых текстах дает основания утверждать, что в посткарамзинский период «История государства Российского» сохраняла в российской исторической науке статус историографического образца как минимум в области структурирования времени.

Ключевые слова: компаративистика, макроистории, историографический канон, темпоральный канон, темпоральные маркеры.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-136-172.

«История русского народа» Н. А. Полевого была представлена читателям в качестве альтернативы «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Идея демократизации науки истории в то время, что называется, витала в воздухе. Наиболее рельефно и кратко ее выразил

*Рудковская Ирина Евгеньевна, к. и. н., доцент, Томский государственный педагогический университет (Томск), iri-rudkovskaya@yandex.ru.

**© Рудковская, И. Е. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

Н. М. Муравьев: «История принадлежит народам» (Муравьев, 1990: 170). В рецензии на труд Карамзина Полевой подчеркивал, что тот был «Литератор, Философ, Историк *прошедшего века, прежняго, не нашего поколения*» (Полевой, 1829: 472). Насколько основательна была убежденность Полевого в том, что ему удастся создать историю, во всех отношениях основывающуюся на позициях нового поколения?

Новаторство исторического труда определяется не столько названием или посвящением новейшему исследователю, сколько соответствием устоявшемуся или формирующемуся на иных основаниях историографическому канону: тем, как труд структурирован (структурный канон), каким образом происходит «овременивание» (темпоральный канон), как выстраивается диалог историка с читателями (коммуникативный канон), каков его научный словарь (терминологический канон). В междисциплинарном поле, в сфере пересечения научных интересов историографии и источниковедения, эти аспекты анализа дополнены проблемой значимости «источниковедческих штудий» в формировании канонов научного исторического сочинения (Казаков, 2013: 9). Сопоставление макроисторий как текстов, масштабных с точки зрения пространственно-временных характеристик, ставит перед исследователем задачу выделения комплекса маркеров каждого из структурных элементов историографического канона эпохи.

Историографический канон позднего Просвещения предопределил специфику процесса становления исторической науки в России, сделал возможным успех нарратива Карамзина, значительно расширившего читательскую аудиторию, интересующуюся историей, повысив ее статус в российском образованном обществе и облегчив ее институционализацию. В середине 50-х гг. XIX в. С. М. Соловьев, первые тома «Истории России с древнейших времен» которого тогда уже вышли из печати, в статье в «Отечественных записках» высказал уверенность в том, что все великое значение работы Карамзина можно увидеть, лишь определив, каково было его отношение к последующим трудам по русской истории (Соловьев, 1995: 186). Проблема, поставленная тогда Соловьевым в источниковедческом ключе, исследуется здесь с позиций историографической компаративистики, для которой ракурс темпоральности является одним из важнейших аспектов сопоставления.

Временные координаты признаны «системообразующим элементом, вокруг которого выстраивается все древнерусское летописание» (Данилевский, 2005: 183), предшествовавшее собственно историописанию. Понятие темпоральности вошло в разряд ключевых «как для понимания

исторического процесса, так и его описания средствами исторической науки» (Румянцева, 2010b: 25). Категоричный тезис Ф. Броделя, подчеркнувшего, что вся работа историка состоит «из декомпозиции минувших времен, выбора среди хронологических реалий в соответствии с более или менее осознаваемыми предпочтениями и исключениями» (Бродель, Орлова, 2015: 32), настраивает на восприятие проблем «овременивания» в качестве центральных для историографической компаративистики. Необходимость фиксировать «специфические способы игры со временем, организующие подачу хода событий» (Сыров, 2006: 7), при компаративном анализе макроисторий не подлежит сомнению. Значимость времени на стадии репрезентации материала, правомерность введения в научный оборот комплексов темпоральных маркеров признана в современных методологических и историографических исследованиях (Румянцева, 2010a: 77; Чеканцева, 2011: 68), однако этот ракурс — за исключением, может быть, проблем периодизации — до сих пор нельзя отнести к числу разработанных.

В эпоху позднего Просвещения был сформирован оригинальный темпоральный канон, ориентированный как на придание истории статуса научной дисциплины, так и на максимальное привлечение внимания читателей. Визуализация этих установок осуществлялась с помощью комплексов маркеров, частью унаследованных от средневековых текстов, частью являвшихся находками историков второй половины XVIII в. Представляемый здесь комплекс темпоральных маркеров был сформирован на основе изучения трудов британских и российских историков позднего Просвещения и опробован в процессе анализа специфики «овременивания» в трудах Д. Юма, В. Робертсона, Э. Гиббона, Щербатова, Н. М. Карамзина (Рудковская, 2014a; Рудковская, 2014b; Рудковская, 2018).

Есть ли основания для утверждения, что, создавая свою «Историю», Полевой отказался от следования как минимум темпоральному канону позднего Просвещения? Анализ его подхода к презентации времени позволяет выявить, был ли подвергнут процессу обновления темпоральный канон как значимая составляющая историографического канона в ситуации провозглашенного им отказа от прежней традиции исторического описания. При последовательном анализе структурных элементов канона это в перспективе позволит выявить различные сочетания архаизации и новаторства в его нарративе в сравнении с трудами его предшественников.

ДАТИРОВКА КАК ТЕМПОРАЛЬНЫЙ МАРКЕР

Хронологический принцип в историографии позднего Просвещения соблюдался, но отстаивалось и право исследователя соблюсти его не всегда (Hume, 1830a: 526), не увлекаясь хронологической точностью при разъяснении причин и событий (Robertson, 1817a: 22)¹. Даты — постоянный элемент текста нарративов Д. Юма (Hume, 1830a: 323 (3), 324 (2), 325, 326 (2), 327–328, 332 (2)) и В. Робертсона (Robertson, 1817a: 239 (3), 243, 251 (2), 255 (2), 262–263, 265–269). С главы III даты регулярно появляются на полях труда Э. Гиббона (Gibbon, 1815a: 120, 121 (2), 123, 138, 140, 143, 147). Конец года или начало следующего в британской традиции отмечались нечасто (Hume, 1830b: 129; Robertson, 1817b: 37, 44; Robertson, 1817c: 81 (2), 134)², но маркеры «в течение этого года», «к концу этого года»; «в следующем году», «год спустя» и др. варьировали погодную запись³. Они есть у Юма (Hume, 1830c: 37, 185, 418; Hume, 1830d: 253, 272), у Робертсона (Robertson, 1817b: 88, 138, 180, 185, 312; Robertson, 1817c: 81), у Гиббона (Gibbon, 1815a: 107, 205).

В российской традиции уже М. М. Щербатов, отчетливо разграничивавший летописание и историописание (Щербатов, 1790a: 180), допускал отступления от погодного изложения событий. Но в его замечаниях об отсутствии интересного в истекшем году (Щербатов, 1794: 285, 323; Щербатов, 1805: 33; Щербатов, 1774: 130–131, 196)⁴ нельзя не видеть преобладающего влияния хронологической формулы средневековых летописей и анналов, где, как отмечал Т. В. Гимон (Гимон, 2011: 124–125, 137–139), выделялись «пустые годы». Наследие средневекового канона проявлялось и в стремлении Щербатова придерживаться в нарративе «нити истории», «течения истории», следовать «временисчислительному порядку» (Щербатов, 1794: 197, 267, 271; Щербатов, 1786: 441; Щербатов, 1789: 187)⁵, обосновывать отступления от него (Щербатов, 1786: 170, 257, 264–265)⁶, фиксировать возвращение к нему (Щербатов, 1774:

¹ «In pointing out and explaining these causes and events, it is not necessary to observe the order of time with a chronological accuracy».

² «In the beginning of that year»; «towards to conclusion of this year»; «towards the end of the year».

³ «During this year»; «towards the end of that year»; «Next year»; «a year after».

⁴ «Следующий 1274 год весьма не изобилен в приключениях, касающихся до гражданския истории».

⁵ «...О чем в будущем году, дабы елико можно менее прерывать нить истории, мною помянуто будет».

⁶ «Хотя может статься сие излишним некоторым покажется; но должность истории писателя... заставляет меня некоторыя размышления... предложить».

306; Щербатов, 1774: 248, 268; Щербатов, 1781: 137; Щербатов, 1786: 170, 257, 265)⁷, упоминать о начале / конце года (Щербатов, 1794: 73, 164; Щербатов, 1774: 64, 101, 345; Щербатов, 1789: 126, 148, 182, 191)⁸. Однако его усилия по установлению точных дат («чисел приключений»), ссылки на «обстоятельства дел» при обосновании корректировки дат (Щербатов, 1805: 33, 75; Предисловие к Щербатов, 1774; Щербатов, 1791: 6, 10)⁹, обнаруживают в нем исследователя, стремившегося соответствовать требованиям нового темпорального канона. На уровне макроструктуры текста — т. е. на уровне деления на тома, части, главы — дат не было. Даты на полях представляли «овременивание» на уровне микроструктуры текста. Из маркеров, ориентированных на годичный цикл, Щербатов предпочитал «в следующем году», «до следующего году» (Щербатов, 1774: 82, 86, 196; Щербатов, 1786: 101, 188; Щербатов, 1790b: 69, 113, 137; Щербатов, 1805: 158)¹⁰.

В Предисловии Н. М. Карамзина подчеркивалось, что приоритетом для историка является не время, а «свойство и связь деяний» (Карамзин, 1988a: XIII). Но даты были вынесены на уровень и макроструктуры, и микроструктуры, включались в названия почти всех событийных глав¹¹, части обобщающих¹², отмечались на полях, вводились и в основную часть труда (Карамзин, 1988b: 5 (5), 6, 8–12, 17–18, 28, 29 (2), 30–31), и в Примечания (там же: 5 (2), 6 (5), 7, 8 (2), 10 (7), 11 (9), 12 (2)). Историк приводил в качестве аргумента «обстоятельства времени» (Карамзин, 1988a: 94; Карамзин, 1989a: 71)¹³, указывал на хронологические ошибки и расхождения (Карамзин, 1988b: 19; Карамзин,

⁷ «Возвращаюся к продолжению истории»; «Возвращаюся к повествованию бывших приключений при начале сея брани».

⁸ «Сей первый год вторагонадесять века начался кончиною...»; «Мы окончим повестие о приключениях сего года...»

⁹ «Для утверждения же верности Хронологии за потребно почитаю упомянуть, [...] что в сем году [...] было великое затмение солнца»; «о едином лунном затмении [...] упоминаю, яко могущем служить ко утверждению Хронологических чисел»; «однако по обстоятельству дел можно почти им время определить».

¹⁰ «Следующий год летописцами примечен, ради совершенныя тишины и спокойства бывшаго в России».

¹¹ «Рюрик, Синеус и Трувор. Г. 862–879»; «Олег Правитель. 879–912»; «Князь Игорь. 912–945». Дат нет в краткой главе XI тома II.

¹² «Состояние России с XI до XIII века» (гл. VII т. III); «Состояние России в конце XVI века» (гл. IV т. X); в главе IV т. VII даты обозначены годами: «Состояние России. Г. 1462–1533».

¹³ «...Так сообразно с обстоятельствами времени, что мы не можем усомниться в их истине»; «...что изъясняется обстоятельствами времени».

1989а: 159–160)¹⁴. В отличие от Щербатова Карамзин не комментировал отступления от «нити истории», конец / начало года. Из годичных маркеров он использовал маркеры «в следующий год», «к следующему году», «через год» (Карамзин, 1988а: 111; прим. к там же: 94; Карамзин, 1988b: 13, 48–49, 61, 83 (2), 106; там же: 70, 160).

В труде Н. А. Полевого презентация дат событий начиналась на уровне макроструктуры текста. В названиях книг как основных частей каждого тома за краткой характеристикой периода обычно следовали даты (Полевой, 1829; Полевой, 1830а; Полевой, 1830b; Полевой, 1833а; Полевой, 1833b)¹⁵. В название главы дата была введена лишь однажды (там же: гл. III)¹⁶. Хронологии была посвящена часть «Дополнений» к тому I (Полевой, 1829: 279–285, 306–327, 364–370)¹⁷. Даты на уровне микроструктуры нередки среди обобщающих рубрик (Полевой, 1830b: 112; Полевой, 1833а: 15, 245 (2))¹⁸. В рубриках кратко упоминался год либо дата и событие, ряд лет (Полевой, 1830b: 284, 343; Полевой, 1833а: 53, 111, 309)¹⁹, временные отрезки с начальной датой, числом лет (Полевой, 1830b: 284; Полевой, 1833b: 81; Полевой, 1833с: 9)²⁰. В основном тексте тома I отмечено свыше ста дат (Полевой, 1829)²¹, в томе IV — уже свыше 370 (Полевой, 1833а)²². В конце глав, где давалась информация

¹⁴ «В рассуждении *года* новое сомнение... Остается или не верить хронологии грамот или году Ермаковой смерти».

¹⁵ Кн. I: «От древнейших времен до разделения России на уделы (до 1055-го года)»; Кн. II: «От разделения России на уделы... (с 1055-го до 1157-го года)»; Кн. III: «От перенесения Великаго Княжества из Киева...: от 1157-го до 1236-го года». Кн. IV: «От нашествия Монголов до утверждения Великаго Княжества за Княжеством Московским... (с 1236-го до 1341-го года)»; Кн. VI: «От образования политической самобытности русского государства...: с 1505-го по 1598 год».

¹⁶ «Характер Димитрия. Противоположность событий до 1378 года...».

¹⁷ «О хронологии в Несторовой летописи», «О порядке, в каком должно рассматривать начало Несторовой летописи», «Хронологическое показание событий...», «Генеалогическая роспись русских князей (с 862-го по 1055 год)».

¹⁸ «Обозрение двадцати семи лет (от 1182-го до 1209 года)»; «Доказательства верности сих идей обозрением событий с 1157-го по 1237-й год»; «Обозрение сущности событий от кончины Александра Ярославича (1263 года); различие их против событий от 1243-го до 1263 года».

¹⁹ «1236-й год». «События с 1236-го до 1244-го года».

²⁰ «С 1212 года, он (Мстислав Удалой — *И. Р.*) был главным действующим лицом в Руси»; «Начало десятилетней вражды».

²¹ С. 14, 18 (2), 43 (6), 82, 85 (2), 89, 92 (2), 93, 96 (2), 97, 100, 107, 110, 111 (2), 112, 113 (4), 114 (2), 119 и др.

²² С. 7, 10 (2), 17 (5), 18 (2), 19 (2), 20 (2), 39, 50–51, 53 (2), 54 (5), 55–57, 58 (2), 60–61, 62 (2), 63 (2), 64 (2) и др.

о «частных» событиях и бедствиях, дат больше (Полевой, 1833b: 72–73, 176–180)²³. Как Щербатов (Щербатов, 1791: 158)²⁴ и Карамзин (Карамзин, 1988a: 59)²⁵, Полевой отмечал отсутствие точной информации о времени событий (Полевой, 1833a: 337)²⁶. Маркеры «на другой год» (там же: 182, 187, 193, 199, 204, 220, 238, 240, 249 (2), 257 (2), 258 (2), 286, 303, 307, 321, 328, 358, 360–361, 363), реже — «в следующем году», «через год» и др. (Полевой, 1829: 109, 147, 186–187, 217, 219, 260, 262, 268, 348) использовались им как аналоги погодного воспроизведения «цепи времен».

МАРКЕРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Создание масштабных текстов о прошлом ставило перед историками эпохи позднего Просвещения проблему презентации хронологических пробелов. Не все события, упомянутые в источниках, были обеспечены сколько-нибудь вероятными временными ориентирами. Э. Гиббон признавал, что пытается извлечь из весьма сомнительной хронологии наиболее возможные даты (Gibbon, 1815b: 41)²⁷. Одним из вариантов решения проблемы стало регулярное использование маркеров неопределенной длительности, не заменявших датировку, но помогавших выстраивать нарратив. Наиболее значимыми представляются маркеры 3-х видов:

- ◊ маркеры, фиксировавшие обращение к *предыстории*;
- ◊ маркеры, фиксировавшие «долгое время»;
- ◊ маркеры, фиксировавшие временные неопределенности относительно *небольшого масштаба*.

В британской традиции к первому виду могут быть отнесены маркеры «от начала времен», «с ранних времен», «в течение варварских времен», «в древние времена», «в прежние времена», «в отдаленный период», «в примитивные века»²⁸. Их использовали Юм (Hume, 1830a: 306, 317, 363, 502, 506, 521, 583; Hume, 1830e: 18; Hume, 1830c: 28, 463) и Робертсон (Robertson, 1817a: 40; Robertson, 1769: 5; Robertson, 1817d:

²³ «Частныя замечательныя события, начиная с 1340 года...».

²⁴ «Летописцы наши чисел сих приключений не повествуют...».

²⁵ «Мы не можем определить точнаго времени сих происшествий Всеволодова княжения...»

²⁶ «Не знаем года кончины Тройдена».

²⁷ «From a very doubtful chronology I have endeavoured to extract the most probable date».

²⁸ «In ancient times»; «from the beginning of time»; «in former times»; «in the primitive ages»; «from earliest times»; «during barbarous times»; «till some distant period»; «in remote period».

3, 69, 273; Robertson, 1817e: 280). Гиббон выделил века деревенской и военной простоты (Gibbon, 1815c: 346)²⁹. Юм признавал, что история отдаленных веков погружена в темноту, сомнения, противоречие; он предупреждал читателей, что будет спешить, проходя с ними через темный и неинтересный период саксонских анналов (Hume, 1830a: 1–2)³⁰.

Ключевые характеристики в приведенном отрывке из вводного текста Юма оказались близки восприятию истории в России: Щербатов неоднократно подчеркивал «великую темноту» ранней истории, «темноту времен» (Щербатов, 1794: 115, 117, 124, 193; Щербатов, 1805: 295, 328; Щербатов, 1774: 410; Щербатов, 1790b: 25, 48)³¹, отмечал «отдаленные времена», «отдаленность времени» (Щербатов, 1794: 116, 123; Щербатов, 1805: 118, 295, 301; Щербатов, 1774: 400; Щербатов, 1781: 74; Щербатов, 1790b: 60, 162). Карамзин вводил в текст маркеры «издревле» («from earliest times» в британских нарративах) (Карамзин, 1988a: 4, 17, 21, 24, 26, 38–39, 51, 62, 64) и «некогда» («in former times» у британцев) (там же: XVI, 21, 29, 36, 41, 43, 50, 63–64; Карамзин, 1988b: 97–98, 100). У Полевого также часто можно найти маркер «издревле» (Полевой, 1829: 10, 21, 24, 41 (2), 63; Полевой, 1833a: 12, 35, 59), реже — «древле» (Полевой, 1829: 39, 47, 165 (2)) и «некогда» (Полевой, 1833a: 29–30, 64, 193, 265).

Маркерами, фиксирующими «долгое время», в трудах британских историков являются словосочетания «в течение долгого времени», «в течение многих лет», «в течение нескольких веков» и т. п.³². Их вводили в макроистории и Юм (Hume, 1830a: 9, 17, 54, 57, 60, 62, 85, 159, 207, 523, 529; Hume, 1830c: 6–7, 19, 22, 87, 343, 561; Hume, 1830f: 75, 101, 183, 219, 374, 485), и Робертсон (Robertson, 1817a: 8–9, 20, 39, 106; Robertson, 1769: 21, 34, 43, 49, 65, 68, 73, 76–77, 89–90, 93, 96–97, 109, 125, 151, 168, 183), и Гиббон (Gibbon, 1815b: 27).

Маркер «долгое время» использовали Щербатов (Щербатов, 1794: 222; Щербатов, 1805: 262, 573; Щербатов, 1774: 144, 179, 392; Щербатов, 1791: 15) и Карамзин (Карамзин, 1988a: 15, 17, 34, 46, 64, 100, 151;

²⁹ «In the ages of rustic and martial simplicity».

³⁰ «...The history of remote ages should always be so much involved in obscurity, uncertainty, and contradiction [...] we shall hasten through the obscure and uninteresting period of Saxon annals».

³¹ «Понеже темнота времен и сокрытия таинства в царских кабинетах никогда не дают довольного известия историку...»

³² «During a long period»; «during a long course of years»; «for a long time»; «till a long tract of time»; «during so many ages»; «through many ages»; «during several ages»; «during several centuries».

Карамзин, 1988b: 64, 72, 81, 86, 105, 131)³³. Для текста труда Карамзина характерны и маркеры «в течение времени» / «в течение времен» (Карамзин, 1988a: 13, 43, 57, 63–64, 125, 151), «гораздо прежде» (Карамзин, 1988b: 158, 168). У Полевого встречаются маркеры «гораздо прежде», «много лет», «столь многие годы» и др. (Полевой, 1829: 18, 27; Полевой, 1833a: 104, 193, 260, 439). Маркер «впоследствии» / «в последствии», возможно, занимал промежуточное положение между маркерами, фиксировавшими «долгое» и «краткое» время (там же: 33, 60, 64 (2), 67, 84, 87, 101–102, 107, 110, 122, 144, 169, 181, 239, 288, 311; 1833b: 132, 176).

Комплекс маркеров, фиксировавших *временные неопределенности небольшого масштаба*, был самым крупным. В британских текстах выделялись маркеры «вскоре», «как только», «в течение некоторого времени», «в течение нескольких лет», «в краткое время»³⁴. Они есть в трудах Юма (Hume, 1830e: 35, 53–54, 56, 59–60, 68, 73, 233, 235; Hume, 1830c: 250, 288, 296, 299–300, 305, 307, 309, 315), Робертсона (Robertson, 1817a: 26, 39, 76 (2), 92, 107, 111, 132; Robertson, 1817b: 244–245, 260, 270; Robertson, 1769: 27, 32, 38–39, 61, 66 (4), 73 (3), 78, 81, 89, 92, 97, 104, 109, 113, 128, 135; Robertson, 1817d: VII, 20, 34, 69, 240, 243, 250, 257–258, 264, 313, 326, 329), Гиббона (Gibbon, 1815a: 140, 173, 177, 224, 256; Gibbon, 1815c: 135, 143, 147).

Для отечественной традиции характерны те же маркеры. Щербатов чаще вводил маркер «вскоре» (Щербатов, 1805: 73, 269, 295, 364; Щербатов, 1774: 26–27, 29, 61, 83, 95, 118 (2), 156, 171, 185; Щербатов, 1791: 11, 161), но использовал и маркеры «несколько времени» (Щербатов, 1794: 177; Щербатов, 1774: 62, 125, 170, 328, 410; Щербатов, 1791: 7), «краткое время» (Щербатов, 1805: 321, 328, 364; Щербатов, 1774: 216). В «Истории» Карамзина чаще встречаются маркеры «несколько времени» (Карамзин, 1988a: 3, 25, 56, 92, 153; Карамзин, 1988b: 99, 103, 107, 161, 169, 179, 184, 233), «несколько лет» (Карамзин, 1988a: 11, 53, 61, 114, 182, 185; Карамзин, 1988b: 30, 80, 147, 205 (2), 206, 210). Маркеры «скоро», «чрез некоторое время», «на краткое время» у него появляются относительно редко (Карамзин, 1988a: 35; Карамзин, 1988b: 4, 91, 154, 189; там же: 103, 169 (2)). У Полевого преобладал маркер «вскоре»

³³Маркер «долгое время» не всегда соответствует современному (броделевскому) пониманию термина, указывая, например, на временные отрезки в ходе битв, монашеского служения и др.

³⁴«During the course of several years»; «soon»; «soon after»; «as soon as»; «some time after»; «for some time»; «during some time»; «a few years after»; «during some years»; «during several years»; «during a short time».

(Полевой, 1833а: 17–18, 59, 173, 181, 199, 206, 212, 221, 236, 244, 246, 283, 287, 306, 330; 1833б: 34, 47, 131, 154, 165, 189), но были и маркеры «несколько времени», «несколько лет» (там же: 68, 209, 337; Полевой, 1833б: 40, 52, 200; Полевой, 1833с: 92, 105, 257, 315, 329, 345, 368).

МАСШТАБНЫЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ КАК ТЕМПОРАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ

Проблемы периодизации так или иначе решались всеми историками позднего Просвещения. Британские исследователи регулярно вводили термин «период» в тексты своих нарративов. Он характерен для «Истории Англии» (Hume, 1830a: 2, 96, 121, 156, 175, 184, 186, 218; Hume, 1830b: 1–2, 9, 69, 159, 203)³⁵ и для «Истории Шотландии» (Robertson, 1817a: 1, 5–6, 9; Robertson, 1817b: 392, 397)³⁶. В труде об эпохе Карла V этот термин был введен в первые же предложения Посвящения монарху и Предисловия (Robertson, 1769: v, ix). Он был значим и в «Истории Америки» (Robertson, 1817d: 17, 38, 40, 43, 53, 57–58, 74; . Robertson, 1817e: 280, 292, 317, 322, 357, 359)³⁷, и в труде Гиббона (Gibbon, 1815a: 40, 209, 254; Gibbon, 1815b: 1, 157–158; Gibbon, 1815c: 298; Gibbon, 1815d: 126; Gibbon, 1815e: III; Gibbon, 1815f: 252, 367; Gibbon, 1815g: 69)³⁸.

О периодах истории Российской в представлении Щербатова мы можем судить, вероятно, преимущественно на основе деления его труда по томам, частям и книгам. Отстаивавшаяся Карамзиным периодизация, кратко сформулированная в Предисловии, противопоставленная им эмоциональному подходу А. Шлецера (Карамзин, 1988а: XIII–XIV), была вполне созвучна идеям Просвещения. Более того, она представлялась современной даже на рубеже XX–XXI вв.: в 1993 г. М. Ходжсон признал, что единственной используемой до сих пор общей периодизацией — наряду с периодизацией по столетиям — является периодизация, согласно которой история делится на эпохи Древности — Средних веков — Нового времени, (Ходжсон, 2001: 98), что, в сущности говоря, совпадает с подходом Карамзина.

³⁵ «The obscure and uninteresting period of Saxon annals; „in the most enlightened period“; «during a longer period in England than in France»; «in the period preceding the Norman conquest»; «during the period immediately preceding the Conquest»; «during the period of the Anglo-Saxons»; «during the Saxon period».

³⁶ «The first period»; «in the second period»; «In the third period»; «During the fourth period»; «during a long period».

³⁷ «During a long period» (2).

³⁸ «In a period of three thousand years»; «the most shining period of the British history or fable»; «During a long period»; «in the period of the Scottish history»; «In a period when Europe was plundred in the deepest barbarism».

Анализируя подход Н. А. Полевого, А. Е. Шикло справедливо отметила, что его отказ от следования периодизациям А. Л. Шлецера и Н. М. Карамзина не привел к созданию принципиально иной схемы, что в изложении событий второй (средней) и третьей (новой) эпох — от Ивана III до Петра и от Петра до Александра I — он пошел за схемой Карамзина (Шикло, 1981: 131–132). В эпицентре размышлений Полевого о проблемах времени были именно периоды, а термин «период» многократно вводился им в текст (Полевой, 1833а: 8 (2), 9 (3), 10 (3), 11 (3), 12 (3), 13, 14 (3), 15–17, 23–24; Полевой, 1833b: 9–10, 11 (2), 12 (2), 13 (2), 14, 18, 23–24, 161). Характеристики периодов помогали выстраивать сценарий российской истории на основе идей провиденциализма. Автор делал акцент на необходимости событий, рассматривая период Уделов как «какое-то распадение целостности народной, какое-то стремление частных к самобытному образованию», подчеркивая, что лишь в одном месте действий сохранится остаток древней Руси. «Провидение, — отмечал он, — явит там людей сильных духом», и тогда «возстанет из мелких Русских Княжеств великое Российское Государство» (Полевой, 1833а: 8–9). Период «Монгольского владычества над землями Русскими» был представлен как необходимый «по таинственным судьбам Провидения, для того, чтобы пережив оный, Русь явилась самобытным государством, в ряду других государств» (там же: 9)³⁹. Полевой признал великим этот период, со времени «нашествия Монголов, до низвержения рабства, ими наложенного», когда «рука Провидения будет писать Историю Руси огромными, могучими чертами» (там же: 11). Подчеркнув, что Россия «переходила свой особенный Средний век, время Феодализма и вольных городов, по подобию Европы и образу Азии», он сопоставил Монгольский период на Руси с эпохой Крестовых походов в Европе как время противостояния христианства магометанству (Полевой, 1833b: 10–11). Последний том его труда начинался с повторной информации о завершении третьего периода русской истории (Полевой, 1833с: 9). Далее, по Полевому, на смену «периоду государственной самобытности» и «политического образования»⁴⁰ пришел Европейский период (там же: 13, 23–24). Периодизация в его труде становилась инструментом презентации обществу познанного промысла высших сил, что сближало его позицию с летописной. Архаизация канона позднего Просвещения отчетливее проявлялась именно в этой трактовке масштабных периодов

³⁹ «Минут третий период жизни Русскаго народа; прошел век рабства Русской земли».

⁴⁰ «Долго ли он продлится? Два столетия».

отечественной истории, что, вероятно, было обусловлено стремлением «вписаться» в контекст идей, признанных на государственном уровне единственно возможными в эпоху Николая I.

СТОЛЕТИЯ КАК ТЕМПОРАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ

Выделение столетий из массива исторического времени было важно для всех историков позднего Просвещения. Вариативность маркеров протяженностью в столетие или ряд столетий чрезвычайно значительна. Д. Юм как основоположник историографического канона эпохи задал в этом отношении высокую планку (Hume, 1830a: 6, 9, 11, 17, 57, 60, 62–63, 85, 95, 140, 172, 179, 193, 217, 219, 255, 326, 328, 336)⁴¹, выделив наряду с веками рубежи веков (ibid.: 117; Hume, 1830d: 144, 217; Hume, 1830f: 16)⁴². В труде Юма века представлены как варварские, невежественные, суеверные, грубые, бурные, примитивные, очень религиозные и др. (Hume, 1830a: 16, 43, 54, 78, 83, 90, 508; Hume, 1830c: 463; Hume, 1830f: 195)⁴³. Им отмечены богатство, дух, законы, мода, невежество, обычаи, писатели, предрассудки, характеры века и др. (Hume, 1830a: 44–45, 56, 73, 97, 120, 131, 139, 148, 158, 183, 194 (2), 229–230, 232, 237, 248; Hume, 1830c: 316–317, 422, 434; Hume, 1830f: 18, 23, 185, 195, 251, 256, 332)⁴⁴.

«Вековые» темпоральные маркеры определяли начало «Истории Шотландии» Робертсона (Robertson, 1817a: 1–2, 6, 8, 10, 20)⁴⁵, текст труда об эпохе Карла V (Robertson, 1769: 17–19, 24, 27, 34, 43, 45, 47–49, 51–52, 56 (2), 66 (4), 68, 70, 74, 76 (2), 77, 79–81), «Историю Америки» (Robertson, 1817d: 55 (2), 58, 68; Robertson, 1817e: 353, 360, 363–364, 366). Рубежи веков фиксировались и в первом (Robertson, 1817a: 2–4, 7, 17), и во втором (Robertson, 1769: 4, 12, 21, 23, 73, 85, 117, 124, 132, 151, 158, 168, 172), и в третьем трудах Робертсона (Robertson, 1817d: 53, 55; Robertson, 1817e: 274–275, 318, 358). В «Историях» Робертсона

⁴¹ «During the cours of near three centuries»; «from the seventh to the eleventh century»; «during the middle ages».

⁴² «In the end of the ninth and beginning of the tenth century»; «at the end of sixteenth century»; «since the beginning of the last century»; «before the beginning of this century».

⁴³ «Those barbarous and illiterate ages»; «that ignorant and superstitious age»; «that barbarous age»; «that rude age»; «those turbulent ages»; «those ignorant ages»; «the primitive ages»; «a very religious age».

⁴⁴ «The rude manner of living in that age»; «the ecclesiastical history of those ages»; «the spirit which prevailed in that age»; «the laws in those ages»; «the general ignorance of the age»; «the general superstition of the age»; «the genius of the age»; «the manners of the age»; «the mode of that age»; «characters of the age»; «Many writers of that age».

⁴⁵ «The first ages of the Scottish History are dark and fabulous».

векам также давались определения (грубый, героический, более просвещенный и изысканный и др.) (Robertson, 1817b: 410; Robertson, 1817c: 159; Robertson, 1769: 19; Robertson, 1817d: 16–17, 59)⁴⁶. В «Истории Шотландии» он охарактеризовал писателей, протестантов, духовенство, моду, принципы, государственных деятелей и др. как явления того века (Robertson, 1817b: 18, 41, 406; Robertson, 1817c: 68, 121, 199)⁴⁷. В труде, посвященном эпохе Карла V, Робертсоном выделен легковверный дух тех веков, (Robertson, 1769: 47)⁴⁸. В «Истории Америки» речь шла о «духе века», его специфике (Robertson, 1817d: 58–59)⁴⁹. Гиббон нередко выделял первые или последние века масштабных процессов (Gibbon, 1815a: 313; Gibbon, 1815d: 259; Gibbon, 1815e: 65, 256)⁵⁰, революции, растянувшиеся на века (Gibbon, 1815a: 94; *ibid.*: 498)⁵¹, рубежи веков (Gibbon, 1815b: 40, 125; Gibbon, 1815d: 133; Gibbon, 1815e: 337; Gibbon, 1815h: 313)⁵². В макроистории Гиббона отмечены более простой, неверующий век, победоносные века республики, века грубой и воинственной простоты (Gibbon, 1815a: 20, 49, 255; Gibbon, 1815c: 346)⁵³.

В труде Щербатова маркеров, относившихся к столетиям, немного (Щербатов, 1805: 195; Щербатов, 1789: 223), а рубежи веков не заметны за событиями рубежных лет (Щербатов, 1805: 73; Щербатов, 1790b: 100–128)⁵⁴. Реалии «того» или «тогдашнего» века (мнения, предубеждения, обычаи, умоначертания) отмечались редко (Щербатов, 1774: 96, 334; Щербатов, 1786: 179; Щербатов, 1790a: 96)⁵⁵. Главным ориентиром для автора «Истории Российской» еще оставался годичный цикл.

⁴⁶ «That rude ages»; «that fierce age»; «those ages of darkness»; «a more enlightened and polished age»; «the heroic age»; «the early or heroic ages».

⁴⁷ «The writers of that age»; «Protestants of that age»; «the clergy of that age»; «the fashion of that age»; «the principles of that age»; «admiration of that age»; «statesmen of that age».

⁴⁸ «The credulous spirit of those ages».

⁴⁹ «The genius of the age»; «a more enlightened and polished age».

⁵⁰ «During the four first ages»; «During the five first ages of the city»; «In the four last centuries of the Greek emperors»; «In the first ages of the decline and fall of the Roman empire».

⁵¹ «After the revolution of ten centuries»; «After the revolution of eleven centuries».

⁵² «About the end of the last century»; «in the beginning of the fourth century»; «Before the end of the seventh century».

⁵³ «In the purer age»; «in this irreligious age»; «from the victorious ages of the commonwealth»; «In the ages of rustic and martial simplicity».

⁵⁴ «Сей первый год вторагонадесят век начался кончиною Всеслава Князя Полоцкаго...»

⁵⁵ «Мысли, сходныя со мнениями того века»; «для показания обычаев и умоначертания того века».

Выделение особой роли столетий в российских макроисториях начинается с труда Карамзина. В нем была выделена значительная группа маркеров, фиксирующих неопределенное число столетий: «за несколько веков до Рождества Христова»; «века за три до Христианского летоисчисления»; «гораздо более семи веков» и др. (Карамзин, 1988а: 30–31, 36, 38, 44, 62, 65; там же: 8, 23; Карамзин, 1988b: 22, 24 (2), 25, 65; Карамзин, 1989b: 12). Маркеры, относившиеся к определенному веку или векам, чаще размещались в Примечаниях и обобщающих главах основного текста: «в IX веке»; «в XIV и в XV веке», «в XI, XII и XIII столетии» (Карамзин, 1988а: 14, 21, 23, 26, 29 (2), 31 (2), 33, 46, 48, 56 (2), 62, 68–69, 72–73, 79, 81, 96, 99 (2); Карамзин, 1989а: 119, 122–123, 125, 126 (2), 137, 139, 141). Историк предлагал и вариативные ориентиры: «вероятно, в VII или в VIII веке»; «около VII или VIII века»; «в конце IX или в начале X века»; «в X или XI веке» (Карамзин, 1988а: 22, 42, 53; Карамзин, 1988b: 18; там же: 236; Карамзин, 1989b: 176). Отмечались Карамзиным и рубежи веков: «в конце IX века»; «в начале XVI века», «в исходе XV века» и др. (Карамзин, 1988а: 21, 33, 42, 72; Карамзин, 1988b: 24; Карамзин, 1989а: 139–140; Карамзин, 1988b: 210, 215; Карамзин, 1989b: 24, 26, 30). Им были выделены «веки душевного младенчества, легковерия, баснословия»; «веки нашего рабства государственного»; «веки слез и бедствий», «век мятежей и беззаконий», «век безумия и страстей неистовых» (Карамзин, 1988а: XIII; Карамзин, 1988b: 169, 240). Он использовал столь частый в трудах британцев маркер «тот век» (там же: 115).⁵⁶, отмечал жестокость, жестокосердие «тогдашних» веков, характеризовал Судебник 1550 г. как «верное зеркало нравов и понятий века» (Карамзин, 1988а: 13–14; Карамзин, 1988b: 26). Карамзин соотносил с веками отдельные группы в обществе и, социум в целом (там же: 195, 230, 241)⁵⁷, летописцев, историков, путешественников (там же: 25, 69, 225), договорные грамоты, рукописи, книгу Поместного приказа, судебную грамоту, монеты татарские и др. (там же: 219; Карамзин, 1989b: 16–17, 34, 168).

В нарративе Полевого темпоральные маркеры этого вида также использовались довольно интенсивно. Среди них немало маркеров, фиксировавших процессы, протекавшие неопределенное число столетий: «в течение нескольких веков»; «через несколько веков», «в продолжении

⁵⁶ «Уже прошел тот век, когда наследники Батыевы исчисляли рать свою не тысячами, а тмами».

⁵⁷ «...Великими Князьями XIII века»; «Россияне XIV и XV века»; «Россияне сих веков».

целых веков» и др. (Полевой, 1829: 13, 22, 30; Полевой, 1833а: 28 (2), 29, 111, 276, 328). Выделялось точное число минувших столетий: «на два века», «по прошествии пяти веков» и др. (там же: 68, 289; Полевой, 1833b: 139) — отмечались и рубежи веков (Полевой, 1829: 14–15; Полевой, 1833а: 41, 58, 83, 159, 161 (2), 194, 337, 344, 346). Рассуждения Полевого о картинах, характере, призраках века, опытах веков (там же: 246, 279, 311)⁵⁸ вписывались в традицию эпохи Просвещения, согласно которой читателям должен быть представлен яркий образ каждого столетия, чему способствовали и определения веков, и презентация тех реалий, которые были символами их своеобразия. Но представление об истории как повести, преобразующей «лепет веков», следуя главной идее в жизни народа, предопределенной Провидением (Полевой, 1833с: 14–15), означало отход от рациональной трактовки трансформаций во времени, которой придерживались историки века Просвещения.

МАЛЫЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ

Помимо масштабных периодизаций и периодизаций в пределах столетий в историографии позднего Просвещения активно использовались маркеры малых периодов. Среди них есть вполне традиционные, характерные еще для летописания:

- ◇ периоды правления отдельных династий, правителей;
- ◇ периоды конфликтов, внутренних и внешних;
- ◇ периоды, связанные с конфессиональными переменами.

Первая группа была многочисленна уже в «Истории Англии» и включала значительный сегмент упоминаний о малолетствах правителей (Hume, 1830a: 98, 147, 175, 507, 509 (2), 522; Hume, 1830с: 17, 37, 317, 323, 325, 326 (2), 334, 348–349)⁵⁹. К этой группе с точки зрения проблемы организации власти близки маркеры «во времена монархии», «во времена республики», «во времена протектората», «со времени реставрации» (Hume, 1830f: 305, 450–451, 453–454, 458, 498, 529, 543)⁶⁰. Во второй группе был замечен комплекс маркеров о норманнском завоевании (Hume, 1830a: 175, 184, 193, 218, 273, 318, 399, 434, 502–503, 508,

⁵⁸ «...Мы должны здесь [...] взглянуть на подробности, дополняющая картину века и общность происшествий»; «Обратим внимание на любопытный акт, который показывает характер века»; «Каждый век страшится своих призраков...»

⁵⁹ «After the Danish times»; «during the Saxon times»; «during the minority of the prince»; «during Edward's reign»; «during the reign of Henry».

⁶⁰ «During the monarchy»; «in the time of the protectorship»; «during the time of the commonwealth»; «since the restoration».

512, 570, 604; Hume, 1830e: 1, 33; Hume, 1830d: 226)⁶¹, выделялось время восстаний и войн, включавшее гражданские, восстаний и др. (Hume, 1830a: 316; Hume, 1830e: 18; Hume, 1830f: 125, 138, 140, 161, 170, 234, 239, 241, 247, 262–263, 272, 275, 299, 362, 372, 451, 454 (2), 485–486, 489–490, 521–522, 539, 542–543)⁶². Третья группа была составлена из маркеров о церковных узурпациях, крестовых походах, событиях Реформации (Hume, 1830a: 333, 435, 523; Hume, 1830c: 122)⁶³.

В трудах Робертсона в 1-й группе, наряду со временем правления монархов (Robertson, 1817a: 14, 49–50; Robertson, 1769: 12, 140, 187; Robertson, 1817e: 209)⁶⁴, выделялись периоды малолетства правителей (Robertson, 1817a: 25, 35–37, 98; Robertson, 1817b: 238, 322, 376, 419; Robertson, 1817c: 25, 106)⁶⁵ и правления регентов (Robertson, 1817b: 353, 387, 409)⁶⁶. Вторая группа представлена маркерами, сообщавшими о времени восстаний, беспорядков, анархии, войн (Robertson, 1817a: 5, 37, 43, 97, 205, 235; Robertson, 1769: 12, 140, 187; Robertson, 1817d: 17; Robertson, 1817e: 208; Robertson, 1769: 2, 95, 102, 112, 126, 133, 156–157, 178; Robertson, 1817d: 17; Robertson, 1817e: 208)⁶⁷. К третьей группе отнесены маркеры, связанные с Реформацией (Robertson, 1817a: 153; Robertson, 1817b: 31, 357, 429; Robertson, 1817c: 76–77, 133, 139; Robertson, 1769: 22, 78 (2))⁶⁸. В труде Гиббона есть периодизации первого типа (Gibbon, 1815a: 55, 88, 118, 199, 221; Gibbon, 1815b: 59; Gibbon, 1815c: 235; Gibbon, 1815d:

⁶¹ «Before the Conquest»; «since the Conquest» (3); «at the time of the Conquest»; «soon after the Conquest»; «from the time of the Norman Conquest».

⁶² «During the civil wars»; «during the wars of barons»; «from the beginning of the war»; «since the commencement of the civil war»; «during the insurrection».

⁶³ «During the progress of ecclesiastical usurpations»; «during the time of the crusades»; «during the first fervours of the reformation».

⁶⁴ «At the time when Robert Bruce began his reign»; «since the beginning of the reign of James I»; «at the period when Charles v began his reign»; «during the reign of Charles v»; «during the busy reigns of Ferdinand and of Charles v».

⁶⁵ «At the beginning of his minority»; «during his minority»; «during the minority»; «during a long minority».

⁶⁶ «During the regency»; «during the regency of the Earl of Murray»; «during the administration of the four Regents».

⁶⁷ «During this last insurrection»; «during the late commotions in Scotland»; «During any war on the Continent»; «During that period of disorder and ignorance»; «During those violent convulsions in Peru».

⁶⁸ «Soon after the Reformation»; «since the Reformation» (3); «at the time of the Reformation»; «from the earliest ages of the church»; «During the continuance of the Crusades»; «the close of the Holy war».

72)⁶⁹, второго (Gibbon, 1815a: 117, 145, 256; Gibbon, 1815b: 159; Gibbon, 1815c: 131; Gibbon, 1815d: 57; Gibbon, 1815f: 260; Gibbon, 1815g: 187)⁷⁰ и третьего (ibid.: 395). Им неоднократно соотносилось время падения Римской империи со временем правлений (Gibbon, 1815e: 1, 155)⁷¹.

В тексте «Истории Российской» встречаются маркеры, выделяющие время правления (Щербатов, 1805: 557; Щербатов, 1774: 371; Щербатов, 1781: 412; Щербатов, 1786: 82, 164; Щербатов, 1791: 21)⁷², конфликтное время (Щербатов, 1774: 19, 78, 85, 366; Щербатов, 1783: 445; Щербатов, 1789: 221; Щербатов, 1790a: 48)⁷³ и конфессиональное время (Щербатов, 1805: 34; Щербатов, 1786: 466–467)⁷⁴. Карамзин использовал «княжеские» темпоральные маркеры (Карамзин, 1988a: XVI; Карамзин, 1988b: 98; там же: 4, 62, 68)⁷⁵. Также в его труде есть и конфликтные [маркеры] (Карамзин, 1988a: 33; Карамзин, 1989b: 8, 16, 54; Карамзин, 1989a: 13)⁷⁶, и конфессиональные маркеры (Карамзин, 1988a: 145 (2), 138, 95; Карамзин, 1988b: 25)⁷⁷. В нарративе Полевого выделялось и время правлений (Полевой, 1833a: 105, 158 (2), 167, 183, 187–188, 213, 272–273, 304, 334; Полевой, 1833b: 129, 161, 174)⁷⁸, и время конфликтов (Полевой, 1833a: 175, 212–213, 241, 260–261, 358; Полевой, 1833b: 18, 277)⁷⁹, реже — конфессиональные маркеры (Полевой, 1829: XVII, 212).

⁶⁹«Since the reign of Trajan»; «under the reign of Claudius»; «under the reign of Severus, or that of his son»; «Under the reign of Augustus»; «After the death of Jovian»; «After the defeat and death of the tyrant of Gaul».

⁷⁰«After the civil wars»; «During the second Punic war»; «during the Moorish war»; «After the tumult of Alexandria»; «From the time of the Punic war»; «Since the conquest of Sicily by the Arabs».

⁷¹«After the fall of the Roman empire in the West, an interval of fifty years, till the memorable reign of Justinian»; «When Justinian ascended the throne, about fifty years after the fall of the western empire».

⁷²«Во время младенчества Великаго Князя»; «в царствование царя Федора Иоанновича»; «при Царе Алексее Михайловиче».

⁷³«С самого покорения России Батыем»; «со времени нашествия Батыя»; «после падения Греческия империи»; «во все время продолжения Лифляндския войны».

⁷⁴«...Во время бытности своей на сем Епископском престоле».

⁷⁵«До государствования Алексия Михайловича»; «Во время Мономахова княжения»; «в княжение Симеоново».

⁷⁶«Во время Троянской войны»; «во времена наших междоусобий»; «со времен Батыева нашествия»; «в бурныя времена гражданских обществ».

⁷⁷«В первыя времена Христианства»; «во время крещения земли Русской»; «со времени Крестовых походов».

⁷⁸«В княжение Иоанна III-го»; «в царствование Екатерины»; «через сто сорок лет после кончины Темудзиновой»; «Через сто пятьдесят лет после Батыя».

⁷⁹«Во время свирепых порывов брани и страшных нашествий»; «со времени нашествия Монголов»; «во время смягчений при Димитрии и Андрее».

ПЕРСониФИЦИРОВАННОЕ ВРЕМЯ КАК ТЕМПОРАЛЬНЫЙ МАРКЕР

Традиция выделения *персонифицированного* времени — времени или века ярких личностей (определявших своими действиями его специфику), названного их именами, — закладывалась еще летописцами. Включение в тексты макроисторий этого варианта *малой периодизации* во многом определило специфику темпорального канона той эпохи. «Именное» время есть в тексте «Истории Англии» (Hume, 1830a: 3, 20, 138, 194–195, 236, 388, 604; Hume, 1830e: 17, 79; Hume, 1830d: 225)⁸⁰. В труде Робертсона об эпохе Карла V основой для выделения значимого для судеб Европы периода стало именно персонифицированное время (Robertson, 1769: XI)⁸¹. Выделялось оно в первом и в третьем нарративах историка (Robertson, 1817a: 50; Robertson, 1817d: 21, 34; Robertson, 1817f: 345)⁸². Особенное значение ему было придано Гиббоном (Gibbon, 1815a: 12, 20 (2), 78, 83, 107 (2), 257; Gibbon, 1815b: 27, 47 (2), 62, 142; Gibbon, 1815c: 68, 74; Gibbon, 1815d: 91; Gibbon, 1815f: 252; Gibbon, 1815g: 36)⁸³.

Персонифицированное время характерно и для всех отечественных макроисторий эпохи. Времена правителей выделял Щербатов (Щербатов, 1805: 256; Щербатов, 1789: 59; Щербатов, 1791: 25)⁸⁴. Карамзин вводил «именное» время как в основной текст (Карамзин, 1988b: 10, 36, 42, 48, 62–63, 66, 68, 70, 73, 122, 124, 126, 136, 208, 213, 216–217, 220, 230, 234, 240)⁸⁵, так и в Примечания (там же: 11, 54, 96, 151, 158,

⁸⁰ «Before the age of Cæsar»; «Etelred 's in King Ethelred 's time»; «In Athelstan 's time»; «Since the age of Charlemagne»; «in the time of Alfred»; «from the time of Edward the Elder»; «Since Homer 's age».

⁸¹ «The age of Charles v may therefore be considered as the period at which the political state of Europe began to assume a new form».

⁸² «From the time of William the Norman»; «from the time of the Ptolemies»; «from the time of the Ptolemy»; «from the time of Columbus».

⁸³ «In the time of Hadrian»; «In the time of Polibius and Dionysius of Halicarnassius»; «In the time of Alexander Severus»; «In the time of Theodosius»; «In the time of Nero»; «In the time of Trajan»; «in the time of Appian»; «till the time of Augustus»; «in the time of Pompey and Horace»; «in the age of Tacitus»; «In the time of Julian».

⁸⁴ «Со времен Святослава»; «со времен Витольда великаго князя Литовскаго»; «до времени Розстриги».

⁸⁵ «Со времен Калиты»; «до времен Калиты и Симеона»; «до самых времен Петра Великаго»; «со времен Батыевых»; «Димитриева времени»; «до времен Иоанна III»; «времен Александра Невскаго»; «со времен Симеона Гордаго»; «со времен Иоанна Даниловича»; «со времен Ярослава Великаго»; «со времен Владимира Мономаха»; «со времен Людовика XIV»; «С Василиева времени»; «до времен Иоанна III».

167–168, 174)⁸⁶. Им было отмечено время византийских императоров (Карамзин, 1988а: 11, 31, 20, 32 (2), 76, 81)⁸⁷, представителей церкви (там же: 67; Карамзин, 1988b: 16, 66; там же: 93; Карамзин, 1989b: 121; Карамзин, 1988b: 63, 100; Карамзин, 1989а: 29)⁸⁸. В «Истории» Карамзина получили персональное время авторы поэм, летописей, трудов по истории (Карамзин, 1988а: 40, 7, 10–11, 65, 68, 122)⁸⁹. Особенно часто выделялось время летописца Нестора (там же: 20, 75, 77, 101, 119, 126, 132; Карамзин, 1988b: 4; Карамзин, 1989а: 94).

В труде Полевого персонифицированное время также играло не последнюю роль (Полевой, 1833а: 161, 202, 222, 277; Полевой, 1833b: 12, 27, 29, 123, 156–157, 231–268, 277)⁹⁰. Представленное преимущественно именами правителей, оно не подкрепляло претензии автора на создание истории народа. Князья в «Истории русского народа» становились в итоговых обзорах символами целых периодов; позитивные перемены, происходившие в течение длительного времени, рисовались результатом их усилий (Полевой, 1833а: 245; Полевой, 1833b: 14–15, 23–24)⁹¹.

Своеобразную трактовку времени, определенному личностью, почти век спустя дал в «Закате Европы» О. Шпенглер: он предложил «различать анонимные и личные эпохи» (Шпенглер, Свасьян, 1998: 309)⁹².

⁸⁶ «Времен Чанибековых»; «Димитриева времени»; «до времен Иоанна Василиевича»; «Эдигеевых времен».

⁸⁷ «Со времен Юстиниановых»; «в Ираклиево время».

⁸⁸ «Во время Алексия Митрополита»; «со времен Митрополита Киприана»; «во время Митрополита Варлаама».

⁸⁹ «Во времена Гомеровы»; «со времен Геродотовых»; «В Тацитово время»; «Во время Плиния и Тацита»; «в Страбоново время»; «в Птолемеево время»; «во время Константина и Мефодия».

⁹⁰ «Во времена Димитрия Иоанновича»; «во дни Батяя»; «со времен Витовта»; «во времена Василия»; «от времен Калиты»; «со времен Иоанна»; «со времен Софии»; «во времена Иоанна Грозного»; «со времен Ольги»; «Со времен Иоанна III-го»; «во времена Шуйских, Бельских и Глинских... времен Царя Годунова».

⁹¹ «Обозревая события со времени кончины Александра Ярославича (с 1263 года) до наименования Великим Князем Михаила Александровича, в течение сорока лет, в княжения Ярослава, Василия, Димитрия и Андрея...»; «Русь времен Мстислава Удалого не существовала во времена Иоанна Калиты (1328 год)»; «Иоанн III-й так-же превышал Иоанна Калиту, как превышала Москва его времени, укрепленная Симеоном, Димитрием, и двумя Василиями, Москву времен Калиты».

⁹² «К случаям первостепенной значимости относятся великие личности со всей формообразующей силой их частных судеб, растворяющих в своей форме судьбы тысяч людей, целых народов и эпох [...] Первый акт той эпохи, революция, сохранил поэтому полную анонимность, тогда как второй, наполеоновский, получил в высшей степени личностную окраску».

Краткая иллюстрация к выдвинутому им тезису была взята из эпохи революции во Франции, до которой из историографов позднего Просвещения не дожил только Д. Юм. Ее начало застал М. М. Щербатов, часть событий разворачивалась еще при жизни В. Робертсона и Э. Гиббона, свидетелями ее завершения стали Н. М. Карамзин и Н. А. Полевой. Вероятно, неготовность отказаться от персонифицированного времени в труде, названном «История русского народа», не в последней степени объясняется впечатлением Полевого от времени, признанным позднее Шпенглером личной эпохой.

ЛУЧШЕЕ/ХУДШЕЕ ВРЕМЯ

Этическая доминанта в трудах позднего Просвещения обусловила выделение такого варианта *малой* периодизации, как *лучшее / худшее* время. Уже в «Истории Англии» обращалось внимание на различия времен с точки зрения благоденствия граждан, выделялись более удачные, благоприятные, счастливые периоды (Hume, 1830d: 84; *ibid.*: 23; Hume, 1830f: 82, 84; Hume, 1830b: 9)⁹³. Дилемма «happy»/«unhappy» применительно ко времени, его триумфаторам или жертвам неоднократно появлялась на страницах труда Юма (Hume, 1830d: 195, 202, 224, 266, 277, 395, 404, 466; Hume, 1830f: 26, 41, 47, 66, 73–74; Hume, 1830b: 2–3, 8, 27, 61, 72–73)⁹⁴. Он признал счастливой жизнь английского джентри при Якове I, отметил, что такому королю, как Карл I, в любую другую эпоху, у любой другой нации было бы обеспечено счастливое правление (Hume, 1830d: 370, 465). Робертсон в «Истории Шотландии» подчеркивал, что никогда не было рода монархов столь несчастливых, как шотландские, а в «Истории Америки» выделил несчастные для Колумба обстоятельства при испанском дворе, упоминал о несчастных жертвах (Robertson, 1817a: 33–34; *ibid.*: 196, 198; Robertson, 1817c: 328, 420)⁹⁵. Во вводной части труда об эпохе Карла V Робертсон выделил

⁹³ «In more fortunate ages»; «a happy period»; «the time favourable... to tranquillity».

⁹⁴ «Unhappily for literature, at list for the learned of this age...; „Unhappily for the King [...] with the increasing knowledge of the age, bred opposite sentiments in his subjects; and, begetting a spirit of freedom and independance»».

⁹⁵ «Never was any race of monarchs so unfortunate as the Scottish»; «Unfortunately for the honour of Spain and happiness of Columbus...»; «The unhappy victims»; «This unhappy victims».

самый бедственный, по его мнению, период в истории (Robertson, 1769: 10)⁹⁶. Обращал на это внимание и Гиббон (Gibbon, 1815a: 247)⁹⁷.

У Щербатова отмечены «столь трудное время», «суровые сии времена», «благополучнейшие времена» (Щербатов, 1781: 113; Щербатов, 1789: 121, 212). Карамзин подчеркивал: в летописях гражданского общества внимательный наблюдатель видит как счастливые, так и бедственные эпохи (Щербатов, 1790с: 210), выделял времена ужасов варварства, печальнейшую эпоху (Карамзин, 1988а: 16; Карамзин, 1988b: 144)⁹⁸. Историк подчеркивал, что «История не терпит Оптимизма» — но давал и позитивную оценку отдельным промежуткам времени (Карамзин, 1988а: 222). Стремясь донести до читателей контраст между разнесенными во времени эпохами, Карамзин выделял «благословенный век Траянов» и, напротив, «бедственные времена Всеволода I или Святополка-Михаила» (там же: 2; Карамзин, 1989а: 43). Он противопоставлял лучшие времена и ненавистные времена Иоанновы; счастливый век Феодоров представил альтернативой губительному Иоаннову веку, жестокость Годунова признавал достойной времен Иоанновых (там же: 17, 22, 141).

Полевой неоднократно давал времени, его отрезкам негативные определения: «В несчастный год сей»; «самое затруднительное время»; «время унижения»; «сие время ужаса» (Полевой, 1833а: 363; Полевой, 1833b: 110, 147, 202). Несмотря на провозглашение им монгольского периода великим по своим последствиям, историк писал о двухвековом бедствии, в котором «перегорала Русь» (Полевой, 1833а: 12), о том, что ужасен «был праотцам нашим 1237 год [...], ужасны были и два столетия, за ним следовавшая [...] — двести лет рабства, страха смертного, гибели в прошедшем, безнадежности в будущем!» (там же: 7). Тем не менее он полагал несправедливым осуждать «на бессмыслие и ничтожество сие несчастное время, не видя верной связи его с предыдущим и последующим» (Полевой, 1833b: 24).

СИНХРОНИЗИРУЮЩИЕ ТЕМПОРАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ

Проблема синхронизации для макроисторий позднего Просвещения была актуальна в связи с разрастанием масштабов исследований, их

⁹⁶ «...The period in the history of the world, during which the condition of the human race was most calamitous and afflicted...»; «the favourable time for excluding privileges».

⁹⁷ «...To restore the glories and felicity of the age of the genuine Antonines».

⁹⁸ «Одним словом, последние годы Василия Димитриевича и первые сына его составляют печальнейшую эпоху нашей Истории в XV веке».

пространственно-временных характеристик. В «Истории Англии» Юма и «Истории Шотландии» Робертсона роль синхронизации возрастала в силу необходимости вписать историю Шотландии в контекст истории Англии. Во втором и третьем трудах последнего было важно воссоздать процессы взаимодействия разных государств и культур в Европе и в Америке. В труде Гиббона огромность Римской империи и вовлеченность значительного числа государств во взаимодействие с нею также создавали особый запрос на синхронизацию. Разрастание пространственных координат отечественной истории в течение столетий также обусловило актуальность синхронизации событий, происходивших как в пределах российской государственности, так и за ее рубежами. В труде Полевого целенаправленная синхронизация российской и зарубежной истории просматривалась совершенно отчетливо.

Среди огромного массива синхронизирующих маркеров, характерных для трудов той эпохи, здесь выделены те, которые выносились авторами в начало абзацев или предложений, привлекая внимание читателей и структурируя текст. В «Истории Англии» особенно заметны маркеры «Тем временем» (или «Между тем») (Hume, 1830f: 89, 97, 111, 128, 209, 259, 300, 309, 363, 373–374, 407, 429, 505)⁹⁹, «Пока» (ibid.: 73, 124, 128, 132, 151, 172, 197, 199, 204, 213, 221, 246, 255, 259, 262, 264, 308, 348, 395, 479, 518)¹⁰⁰, «Когда» (ibid.: 115, 149, 269, 343, 425)¹⁰¹, и группу близких по смыслу маркеров «В это время», «В то же самое время», «Во время, когда» и др. (Hume, 1830e: 2, 5, 17, 29; Hume, 1830c: 7; Hume, 1830f: 77, 236; Hume, 1830b: 8)¹⁰², «Около этого времени» (Hume, 1830e: 45; Hume, 1830f: 150)¹⁰³. Робертсон в «Истории Шотландии» также использовал маркеры «Тем временем» (Robertson, 1817b: 12, 122, 131, 177, 319, 336, 344; Robertson, 1817c: 7, 27, 40, 55, 88, 96, 110, 125, 146, 179), «Пока» (Robertson, 1817b: 53, 157, 269, 307, 335, 355, 361, 369, 405, 424, 426), «Когда» (Robertson, 1817a: 35; Robertson, 1817b: 40; Robertson, 1817c: 46, 180, 197), «В то время, когда» и др. (Robertson, 1817b: 81, 130, 179, 223, 249, 253–254, 266, 321, 371, 390) «Около этого времени» (ibid.: 39,

⁹⁹ «Meanwhile, the tumult still continued, and even increased about Westminster and Whitehall...»

¹⁰⁰ «While the Commons were in this disposition, the Irish rebellion was the event...»

¹⁰¹ «When two names, so sacred in the English constitution as those of King and Parliament, were placed in opposition...»

¹⁰² «At this time»; «At that time»; «At the same time»; «At the time when».

¹⁰³ «About this time»; «About the same time».

142, 163, 388; Robertson, 1817c: 15)¹⁰⁴. В труде об эпохе Карла V можем найти: «Когда» (Robertson, 1769: 1–2, 6, 12, 21, 23, 30, 44, 63, 69, 109, 113, 116, 119, 134, 159, 168–169, 171, 189), «Пока» (ibid.: 23, 44, 61, 69, 79, 98, 103, 107, 111, 159, 162), «В то время, когда» и др. (ibid.: 72, 99). Аналогичными были маркеры и в «Истории Америки»: «Когда» (Robertson, 1817d: 147–148; Robertson, 1817f: 412), «Пока» (Robertson, 1817e: 49, 290, 368), «В то самое время», и др. (Robertson, 1817f: 243, 294, 308, 314, 322, 407, 422; Robertson, 1817e: 34, 92, 123, 296, 373–374; Robertson, 1817g: 142, 214, 222). У Гиббона к числу таких маркеров следует отнести «Когда» (Gibbon, 1815a: 124, 430; ibid.: 155), «Пока» (ibid.: 133; Gibbon, 1815c: 224, 281, 411), «С тех пор, как» (Gibbon, 1815a: 55, 246, 313), «Около этого времени» (Gibbon, 1815c: 129, 407).

В отечественной традиции маркеру «at that time» соответствовал маркер «тогда», маркеру «тогда же» — «at the same time». Для российских макроисторий также характерно введение аналогичных маркеров в начало абзацев или предложений. В «Истории» Щербатова особенно заметны маркеры «Между тем временем» (Щербатов, 1805: 337; Щербатов, 1774: 103, 245, 277 (2), 279, 284, 297, 318, 342, 352–353, 360, 386; Щербатов, 1786: 12, 102, 118, 141, 146, 150, 190, 235; Щербатов, 1789: 10, 74, 147, 161, 167, 191, 208; Щербатов, 1791: 50, 59, 68, 78, 88)¹⁰⁵, «Между сим временем» (Щербатов, 1781: 232; Щербатов, 1786: 50, 112, 235, 281, 388; Щербатов, 1789: 16, 201, 211; Щербатов, 1791: 318)¹⁰⁶, «Во все сие время» (Щербатов, 1774: 67; Щербатов, 1781: 190, 219; Щербатов, 1789: 32)¹⁰⁷, «Во время, когда» / «В то самое время» / «В то же самое время» (Щербатов, 1774: 96; Щербатов, 1781: 197; Щербатов, 1786: 109, 123; Щербатов, 1783: 61), «Около сего времени» (Щербатов, 1805: 295). Щербатовым часто использовался маркер «Тогда, как» (по-английски — «At the same time») (там же: 315, 356–357; Щербатов, 1774: 97, 350, 355, 391; Щербатов, 1786: 175–176; там же: 117, 169; Щербатов, 1789: 173)¹⁰⁸. Карамзин в тех же целях использовал аналогичные маркеры «Между тем» (Карамзин, 1988a: 15, 46; Карамзин, 1988b: 46, 58, 80, 108–109,

¹⁰⁴ «About this time the Protestant church of Scotland began to assume a regular form».

¹⁰⁵ «Между тем временем церковь *Российская* лишилась своего пастыря Митрополита Петра...»

¹⁰⁶ «Между сим временем осада без малейшего ослабления продолжалась».

¹⁰⁷ «Во все сие время *Татары* малое участие брали во внутренних делах России».

¹⁰⁸ «Тогда, как таким образом *Литовские* народы в смущениях пребывали, Россия наслаждалась совершенным спокойствием».

115; Карамзин, 1989b: 6, 19, 25)¹⁰⁹, «В то же время» / «В то время, когда» / «В то время, как» (Карамзин, 1988a: 57, 60, 81, 132; Карамзин, 1989b: 13; Карамзин, 1988b: 27, 37, 50, 58, 79, 107–108)¹¹⁰, «В сие время» (Карамзин, 1988a: 117, 129, 188; Карамзин, 1989b: 17, 21; Карамзин, 1988b: 3, 46, 55, 60, 91, 97)¹¹¹, «Около сего времени» / «Около того же времени» (Карамзин, 1988a: 8, 54)¹¹².

Для «Истории» Полевого характерен тот же набор синхронизирующих маркеров: «Между тем» (Полевой, 1829: 11, 28; Полевой, 1833a: 18, 62, 77, 84–85, 87 (2), 203, 209, 218, 220, 227, 242, 249, 262, 271, 280–281, 286, 291, 294, 352, 361; Полевой, 1833b: 42, 99, 171, 229–230, 234, 239 (2), 255)¹¹³, «В это время» (Полевой, 1833a: 17, 22, 52, 74, 105, 124, 125, 131, 135, 182, 184, 231, 233, 271, 296, 323, 335; Полевой, 1833b: 45–46, 184, 194, 209, 245, 248, 280)¹¹⁴, «В то время, когда» или «В то время, как» (Полевой, 1829: 3; Полевой, 1833a: 145–146; Полевой, 1833b: 67–68, 126, 270; там же: 330)¹¹⁵, «В тоже время» / «В то-же время» (Полевой, 1833a: 80, 90, 140, 147, 152, 165, 186, 283, 297; Полевой, 1833b: 108)¹¹⁶, «В сие время» (Полевой, 1833a: 19, 24, 132, 166, 201, 210, 248, 251, 267, 277, 324; Полевой, 1833b: 149, 274)¹¹⁷.

МАРКЕРЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Для историописания эпохи Просвещения было характерно особенное внимание к проблеме связи времен. Как подчеркивала Л. П. Репина, становление европейского исторического сознания Нового времени отмечено созданием целостных темпоральных конструкций, сохранявших и самостоятельность модусов прошлого, настоящего и будущего, и их

¹⁰⁹ «Между тем, как сей Князь делил с Димитрием опасности и славу на поле Куликовом, Скиригайло господствовал в Полоцкой области...»

¹¹⁰ «В то время, когда Половцы уже делили в мыслях добычу нашего стана, Россияне готовились к битве...»

¹¹¹ «В сие время Литва была уже в числе Держав Христианских».

¹¹² «Около сего времени Ярослав вошел в свойство со многими знаменитыми Государями Европы».

¹¹³ «Между тем Олеговичи и Мономаховичи ссорились и коварствовали».

¹¹⁴ «В это время Ольгерд дрался с Польшею за Галич и Вольнь, и с Немецкими Рыцарями — Бог знает за что!»

¹¹⁵ «В то время, как Эдигей теснил Амурата, Мамай готовился ниспровергнуть отцеубийцу Мурута».

¹¹⁶ «В тоже время Аристократы Новгородские хотели отдаться на волю Князя».

¹¹⁷ «В сие время слабел Полоцк, возставала Литва, вгнездился в Ливонию Орден Меченосцев...»

неразрывную связь (Репина, 2011: 495). Современность не только незримо определяла трактовку прошлого, но и присутствовала в текстах макроисторий позднего Просвещения в виде целого комплекса темпоральных маркеров и актуальных умозаключений. Д. Юм выделял «настоящее время», «сейчас», «наши современные идеи» и др. (Hume, 1830c: 393 (2), 395, 399, 402; Hume, 1830f: 193, 540)¹¹⁸. В Робертсон в «Истории Шотландии» также подчеркивал связь с современностью (Robertson, 1817a: 7, 106; Robertson, 1817c: 2–3, 46)¹¹⁹, это характерно и для его труда об эпохе Карла V (Robertson, 1769: 5, 81), и для «Истории Америки» (Robertson, 1817d: 28, 31, 273; Robertson, 1817f: 82; Robertson, 1817e: 13). Гиббон признавал важной задачей сопоставление античной и современной географии (Gibbon, 1815a: 89)¹²⁰. Он обращал внимание на специфику монархий современной Европы (ibid.: 241)¹²¹, отмечал преимущества «нашего собственного времени», упоминал современную философию (Gibbon, 1815i: 420; Gibbon, 1815g: 18)¹²², вводил маркеры «в следующем веке», «в некотором будущем веке» (Gibbon, 1815c: 298; Gibbon, 1815f: 495)¹²³.

В трудах российских историков обращение к современности сопровождалось включением в текст таких маркеров, как «ныне», «доныне» и «нынешние»; отмечались также позднейшие времена, наши времена, новые или новейшие, реже — будущие. Для текста «Истории Российской» характерен маркер «ныне» (Щербатов, 1805: 44, 75, 258; Щербатов, 1774: 284, 307, 369; Щербатов, 1791: 24, 31, 34)¹²⁴. У Щербатова особенно заметно определение «нынешние» (Щербатов, 1781: 155, 420; Щербатов, 1786: 72, 275, 344, 384; Щербатов, 1789: 102; Щербатов, 1790a: 201; Щербатов, 1791: 296, 419)¹²⁵. В труде Карамзина часто встречаются маркеры «ныне» (Карамзин, 1988a: 45, 53–54, 63, 67, 79; Карамзин, 1988b: 24, 86)

¹¹⁸ «In the present age»; «at present»; «to our present ideas»; «during the present reign».

¹¹⁹ «About the beginning of the present century»; «at the beginning of the present century»; «in the present age» (2); «even to the present age»; «throughout all future ages»; «to future ages».

¹²⁰ «As well as be can compare ancient with modern geography...»

¹²¹ «In hereditary monarchies, however, and especially in those of modern Europe...»

¹²² «The virtue of our own times...»; «philosophy of the modern times...»

¹²³ «In the next age...»; «in some future age».

¹²⁴ «...Род правления подобнаго, какое и ныне в Германской империи...»; «...а ныне Шлисселбург называется».

¹²⁵ «Нынешние просвещенные времена, версты, вожди, обычаи, нынешнее именование, счисление (летоизчисление).»

и «доныне» (Карамзин, 1988а: 23, 27, 29, 36, 41, 54–55, 60, 65; Карамзин, 1988b: 20, 23, 60, 66, 182). Упоминались им позднейшие времена (Карамзин, 1988а: 65; Карамзин, 1988b: 214 (2))¹²⁶, новые, новейшие (Карамзин, 1988а: 124; Карамзин, 1988b: 61, 115, 184; Карамзин, 1989а: 127)¹²⁷, будущие (Карамзин, 1988а: IX; Карамзин, 1989а: 12)¹²⁸, «наши» времена (Карамзин, 1988а: 79; Карамзин, 1988b: 22; Карамзин, 1989а: 184)¹²⁹. Определения «нынешние» и «новейшие» формировали в труде Карамзина круг актуальных реалий, среди которых — нынешние Дерпт, Екатериноград, Россия, Болгария, Рязань, характер Россиян и др. (Карамзин, 1988b: 5–6, 16, 22 (2), 25, 42, 11, 13, 39; там же: 6, 27, 84, 217). Он сопоставлял географические реалии прошлого с территориальным делением, современным его читателям. Им упомянуты не менее 47 губерний, причем многие из них — неоднократно; названия уездов приводились реже (Карамзин, 1988а: 3, 22; Карамзин, 1988b: 83, 91, 110)¹³⁰.

В нарративе Полевого использовались те же темпоральные маркеры: «ныне», (Полевой, 1833а: 35, 47, 60, 78, 103, 109, 135, 152, 160, 162, 193, 262 (2), 326, 342; Полевой, 1833b: 117, 273)¹³¹, «доныне»/«до ныне» (Полевой, 1833а: 12–13, 38 (2), 80, 102, 109, 130 (2), 147, 158, 172–173, 181, 211, 226, 300, 311 (2), 316–317, 334), «дотоле»/«до толе» (там же: 22, 24, 32, 51, 70, 80, 103, 225, 228 (2), 277, 295, 322, 328). Как и Карамзин, Полевой вводил в текст определение «позднейшие» (там же: 69, 80, 122 (2), 202, 275; Полевой, 1833b: 273). У него также выделены «нынешние» реалии: нынешняя Коренная пустыня, Монголия, Серпуховская застава, монастырская церковь, Рязань, нынешние Татары, Буряты и др. (Полевой, 1833а: 38, 53, 80, 239 (2); Полевой, 1833b: 129, 154, 196). Были им упомянуты также губернии, уезды, уездные города (Полевой, 1833а: 74, 109, 262; Полевой, 1833b: 117, 224, 238)¹³².

¹²⁶ «Уже в позднейшия времена»; «ко временам позднейшим»; «до самых позднейших времен».

¹²⁷ «Какая победа в древния и новыя времена была славнее Донской...?»; «От древних до новейших времен России никто из подданных не заслуживал ни такой любви в жизни, ни такой горести и чести в могиле!»

¹²⁸ «История [...] дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»; «тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим!»

¹²⁹ «Ни один голос сомнения не раздался в потомстве до нашего времени».

¹³⁰ «Киммериане, древнейшие обитатели нынешних Губерний Херсонской и Екатеринославской...»; «...в нынешнем Ораниенбаумском Уезде...»

¹³¹ «Козельск, ныне уездный городок Калужской губернии...»; «Куликово поле состоит ныне во владении разных помещиков, и наиболее С. Д. Нечаева и Графов Бобринских».

¹³² «...В Тверской губернии, в Кашинском уезде... выше уездного города Мологи»; «в нынешнем Енотаевском уезде»; «Рыльск, ныне уездный город [...] Липецк [...] уездный

Проведенный компаративный анализ исторических нарративов позднего Просвещения и «Истории русского народа» Н. А. Полевого как труда, изначально — на уровне Предисловия — противопоставленного работам его предшественников, показал, что решение проблем темпоральности в макроисториях, созданных в границах европейского научного пространства во второй половине XVIII — первой трети XIX вв., осуществлялось в соответствии с теми образцами, которые воспринимались в качестве признанных ориентиров как британскими, так и российскими историками. Сопоставление комплексов темпоральных маркеров, которые выявлены в цикле статей, посвященных компаративному анализу специфики «овременивания» в исторических нарративах Д. Юма, В. Робертсона, Э. Гиббона, М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина и Н. А. Полевого, позволяет сделать вывод о том, что темпоральная составляющая историографического канона позднего Просвещения к рубежу 20-х — 30-х гг. XIX в. была достаточно устойчивой, воспроизводившейся в своих основных чертах при всех различиях в источниковой базе и проблематике появлявшихся исторических трудов. Используя формулировку Ф. Броделя применительно к трудам той эпохи, можно резюмировать, что в них история бралась «в ее хронологическом развертывании и в разнообразных ее временных характеристиках» (Бродель, Орлова, 2015: 7). Схожими были варианты презентации времени, позволявшие относительно регулярно заменять точную датировку *темпоральными маркерами неопределенной длительности*. Столетия как вариант периодизации сохранили свои позиции наиболее удобного для сопоставления происходивших изменений временного интервала. Вариативность комплекса маркеров, «обслуживавших» столетия, позволяла как выделять специфику отдельных веков, так и «встраивать» их в систему «прошлое — настоящее — будущее». Даже *персонифицированное время* оказалось востребованным средством подчеркнуть роль личности в истории в ситуации, когда минувшая наполеоновская эпоха готовила почву для теоретического обоснования роли героев и героического в истории (Карлейль, Яковенко, 2008). Но для автора, решившегося написать историю *народа*, интенсивное использование маркера персонифицированного времени создавало серьезные риски, вызывая у читателей сомнения в соответствии выпускаемых в свет томов первоначальному проекту. Что касается маркера *лучшего и худшего* времени, то выделение в «Истории

город Тамбовской Губернии»; «Река Угра [...] начинается в Смоленской Губ [...], составляет часть границы между Калужскою и Смоленскою губерниями...»

русского народа» худшего времени как предвестника иных, более благоприятных времен не поддавалось рациональному объяснению. Комплекс *синхронизирующих маркеров* в «Истории русского народа» оказался практически идентичным с комплексами предшественников Полевого. Стремление вписать историю России в европейский и азиатский контексты усилило привлекательность этой части темпоральных маркеров для автора. Развернутые сопоставления происходящего на разных территориях Руси и Евразии в целом, как и презентация *взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего*, проводились с использованием тех наработок, которые являлись интеллектуальным наследием историков позднего Просвещения.

Наиболее изменчивой оказалась *масштабная периодизация* как маркер, являвшийся одним из центральных элементов темпорального канона, который изначально, уже в трудах старших британцев, не был подвержен унификации. Периодизация в трудах всех историков той эпохи имела значимые особенности. Этого не мог не заметить Н. А. Полевой, сделавший именно ее [периодизацию] концептуальным эпицентром своей «Истории русского народа». Сопоставление периодов должно было, по мысли автора, обосновать особую роль Провидения в истории России. Провиденциализм, архаизировав общее видение истории Н. А. Полевого, наряду с «возвращением» в историю, объявленную народной, «драк княжеских», вероятно, и обусловили преждевременное завершение его проекта создания новой, более демократической макроистории. Акцент на проблеме периодизации, повторное обращение в начале очередных томов «Истории русского народа» к осмыслению ранее уже представленных периодов придали своеобразие подходу Н. А. Полевого, но все же не создали нового образца структурирования времени. Темпоральные маркеры историографического канона, объявленного историком устаревшим, вероятно, оказались достаточно органичными, соответствовавшими достигнутому тогда уровню разработки источниковой базы. Полевой не нашел альтернативы тому темпоральному инструментарию, который был предложен его предшественниками.

Характеризуя функции классиков в своем исследовании об их роли в исторической науке, И. М. Савельева выделила своеобразные группы на основании таких признаков, как эстетика интеллектуального продукта, способность служить «ритуальными фигурами самоидентификации для корпорации» и др. (Савельева, 2011: 514–515). Характерно, что в ряду «своих классиков», являющихся таковыми для тех, кто писал

историю России, ею был упомянут только Карамзин (там же: 496). Вероятно, сложно не признать, что классический вариант «овременивания» в отечественном историческом нарративе на излете эпохи Просвещения был действительно представлен именно Н. М. Карамзиным.

ЛИТЕРАТУРА

- Бродель Ф.* Очерки истории / пер. с фр. Э. Орловой. — М. : Академический проект, Альма Матер, 2015.
- Гимон Т. Е.* Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси : сравнительное исследование. — М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011.
- Данилевский И. Н.* Повесть временных лет : Герменевтические основы историко-лингвистического летописных текстов. — М. : Аспект-Пресс, 2005.
- Казаков Р. Б.* Приемы историописания в исторических сочинениях Н. М. Карамзина. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.
- Карамзин Н. М.* История государства Российского : Репринтное воспроизведение издания 1842–1843 гг. с приложением «Ключа» П. М. Строева. В 4 т. Т. 1. — М. : Книга, 1988а.
- Карамзин Н. М.* История государства Российского : Репринтное воспроизведение издания 1842–1843 гг. с приложением «Ключа» П. М. Строева. В 4 т. Т. 2. — М. : Книга, 1988б.
- Карамзин Н. М.* История государства Российского : Репринтное воспроизведение издания 1842–1843 гг. с приложением «Ключа» П. М. Строева. В 4 т. Т. 3. — М. : Книга, 1989а.
- Карамзин Н. М.* История государства Российского : Репринтное воспроизведение издания 1842–1843 гг. с приложением «Ключа» П. М. Строева. В 4 т. Т. 4. Ключ, или Алфавитный указатель, составленный П. М. Строевым. — М. : Книга, 1989б.
- Карлейль Т.* Герои, почитание героев и героическое в истории / пер. с фр. В. И. Яковенко. — М. : Эксмо, 2008.
- Муравьев Н. М.* Мысли об Истории государства Российского // Сборник материалов по истории исторической науки в СССР (конец XVIII – первая треть XIX в. / под ред. А. Е. Шикло. — М. : Высшая школа, 1990. — С. 170–173.
- Полевой Н. А.* История русского народа. В 6 т. Т. 1. — М. : тип. Августа Семена, 1829.
- Полевой Н. А.* История русского народа. В 6 т. Т. 2. — М. : тип. Августа Семена, 1830а.
- Полевой Н. А.* История русского народа. В 6 т. Т. 3. — М. : тип. Августа Семена, 1830б.
- Полевой Н. А.* История русского народа. В 6 т. Т. 4. — М. : тип. Августа Семена, 1833а.

- Полевой Н. А.* История русского народа. В 6 т. Т. 5. — М. : тип. Августа Семена, 1833b.
- Полевой Н. А.* История русского народа. В 6 т. Т. 6. — М. : тип. Августа Семена, 1833c.
- Репина Л. П.* Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. социальные теории и историографическая практика. — М. : Круг, 2011.
- Рудковская И. Е.* Персонифицированное время в историографической традиции позднего Просвещения // Диалог со временем : Альманах интеллектуальной истории. — 2014a. — № 47. — С. 21–35.
- Рудковская И. Е.* Хронология и периодизация в историографической традиции Позднего Просвещения // Диалог со временем : Альманах интеллектуальной истории. — 2014b. — № 56. — С. 126–150.
- Рудковская И. Е.* «История государства Российского» Н. М. Карамзина и темпоральный канон позднего Просвещения // Событие и время в европейской исторической культуре : XVI – начало XXI вв. / под ред. Л. П. Репиной. — М. : Аквилон, 2018. — С. 345–384.
- Румянцева М. Ф.* Время историка // Образы времени и исторические представления : Россия — Восток — Запад / под ред. Л. П. Репиной. — М. : Круг, 2010a. — С. 66–78.
- Румянцева М. Ф.* Линейная / нелинейная темпоральность в истории // Образы времени и исторические представления : Россия — Восток — Запад / под ред. Л. П. Репиной. — М. : Круг, 2010b. — С. 25–47.
- Савельева И. М.* Классики в исторической науке : «свои» и «чужие» // Историческая наука сегодня : Теории, методы, перспективы / под ред. Л. П. Репиной. — М. : ЛКИ, 2011. — С. 491–515.
- Соловьев С. М.* Н. М. Карамзин и его литературная деятельность : «История государства Российского» // Сочинения. В 18 т. Т. 16 / под ред. И. Д. Ковальченко. — М. : Мысль, 1995. — С. 43–186.
- Сыров В. Н.* Введение в философию истории : Своеобразие исторической мысли. — М. : Водолей, 2006.
- Ходжсон М.* Условия исторического сравнения эпох и регионов : пределы обоснованности условий // Время мира. — 2001. — № 2. — С. 91–101.
- Чеканцева З. А.* «Нарративное» время историка // Историческая наука сегодня : Теории, методы, перспективы / под ред. Л. П. Репиной. — М. : ЛКИ, 2011. — С. 55–74.
- Шикло А. Е.* Исторические взгляды Н. А. Полевого. — М. : Аспект-Пресс, 1981.
- Шпенглер О.* Закат Европы : очерки морфологии мировой истории / пер. с нем. К. А. Свасьяна. — М. : Мысль, 1998.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 3. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1774.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 4. Часть 1. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1781.

- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 4. Часть II. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1783.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 5. Часть I. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1786.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 5. Часть III. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1789.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 6. Часть I. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1790а.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 7. Часть I. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1790b.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 6. Часть II. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1790с.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 7. Часть II. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1791.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 1. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1794.
- Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. В 7 т. Т. 2. — СПб. : При Императорской Академии Наук, 1805.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In 12 vols. Vol. 1. — London : Lackington, Allen & Co., 1815a.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In 12 vols. Vol. 2. — London : Lackington, Allen & Co., 1815b.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In 12 vols. Vol. 4. — London : Lackington, Allen & Co., 1815c.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In 12 vols. Vol. 5. — London : Lackington, Allen & Co., 1815d.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In 12 vols. Vol. 5. — London : Lackington, Allen & Co., 1815e.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In 12 vols. Vol. 10. — London : Lackington, Allen & Co., 1815f.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In 12 vols. Vol. 11. — London : Lackington, Allen & Co., 1815g.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In 12 vols. Vol. 12. — London : Lackington, Allen & Co., 1815h.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In 12 vols. Vol. 6. — London : Lackington, Allen & Co., 1815j.
- Gibbon E.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire : in 12 vols. — London : Lackington, Allen & Co., 1815j.
- Hume D.* The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Eevolution in 1688. In 6 vols. Vol. 1. — London : Liberty Fund, 1830a.
- Hume D.* The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Eevolution in 1688. In 6 vols. Vol. 6. — London : Liberty Fund, 1830b.

- Hume D.* The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Eevolution in 1688. In 6 vols. Vol. 3. — London : Liberty Fund, 1830c.
- Hume D.* The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Eevolution in 1688. In 6 vols. Vol. 4. — London : Liberty Fund, 1830d.
- Hume D.* The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Eevolution in 1688. In 6 vols. Vol. 2. — London : Liberty Fund, 1830e.
- Hume D.* The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Eevolution in 1688. In 6 vols. Vol. 5. — London : Liberty Fund, 1830f.
- Robertson W.* The Works of William Robertson, D.D. In 12 vols. Vol. 1. History of Scotland / ed. by D. Stewart. — London : T. Nelson, 1769.
- Robertson W.* The Works of William Robertson, D.D. In 12 vols. Vol. 1. History of Scotland / ed. by D. Stewart. — London : T. Nelson, 1817a.
- Robertson W.* The Works of William Robertson, D.D. In 12 vols. Vol. 2. History of Scotland / ed. by D. Stewart. — London : T. Nelson, 1817b.
- Robertson W.* The Works of William Robertson, D.D. In 12 vols. Vol. 3. History of Scotland / ed. by D. Stewart. — London : T. Nelson, 1817c.
- Robertson W.* The Works of William Robertson, D.D. In 12 vols. Vol. 8. The History of America / ed. by D. Stewart. — London : T. Nelson, 1817d.
- Robertson W.* The Works of William Robertson, D.D. In 12 vols. Vol. 10. The History of America / ed. by D. Stewart. — London : T. Nelson, 1817e.
- Robertson W.* The Works of William Robertson, D.D. In 12 vols. Vol. 9. The History of America / ed. by D. Stewart. — London : T. Nelson, 1817f.
- Robertson W.* The Works of William Robertson, D.D. In 12 vols. Vol. 11. The History of America / ed. by D. Stewart. — London : T. Nelson, 1817g.

Rudkovskaya, I. Ye. 2020. “‘Istoriya russkogo naroda’ N. A. Polevogo [‘History of the Russian People’ by N. A. Polevoy]: markery temporal’nogo kanona pozdnego Prosveshcheniya v pervoy makroistorii postkaramzinskogo perioda [Markers of the Temporal Canon of the Late Enlightenment in the First Macrohistory of the Post-Karamzin Period]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 136–172.

IRINA RUDKOVSKAYA

PHD IN HISTORY; ASSOCIATE PROFESSOR

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY (TOMSK, RUSSIA)

“HISTORY OF THE RUSSIAN PEOPLE” BY N. A. POLEVOY

MARKERS OF THE TEMPORAL CANON OF THE LATE ENLIGHTENMENT IN THE FIRST MACROHISTORY OF THE POST-KARAMZIN PERIOD

Submitted: July 14, 2020. Reviewed: Aug. 26, 2020. Accepted: Sept. 10, 2020.

Abstract: The article is dedicated to the problems of comparative analyses of the structuring of the time in the narratives of N. M. Karamzin and N. A. Polevoy. The author believes that the version of presentation of the time, which proposed at the turn of the 20s–30s of the 19th century in the “History of the Russian People” by Polevoy, formed under the influence of the British and Russian historiographical tradition of the late Enlightenment. “The History of England” by D. Hume, “The History of Scotland”, “The History of the Reign of the Emperor Charles v” and “The History of America” by W. Robertson, “The History of the Decline and Fall of the Roman Empire” by E. Gibbon previously had a significant impact to the “Russian History from Ancient Times” by M. M. Shcherbatov and the “History of the Russian State” by Karamzin. In the post-Karamzin period, Polevoy proposed a version of the presentation of time in which significant similarities with the variants of predecessors prevailed over differences. This is evidenced by the comparative analysis of the complexes of temporal markers highlighted in the texts of Karamzin’s and Polevoy’s macrohistories. The comparison of the role of exact Dating, time periods of uncertain duration, periodization, division by centuries, personified time, the best and the worse time, synchronization, time connection in this texts gives grounds to assert that in the post-Karamzin period, the “History of the Russian State” preserved the status of historiographical sample in Russian historical science, at least in the field of time structuring.

Keywords: Comparative Studies, Macrohistory, Historiographical Canon, Temporal Canon, Temporal Markers.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-136-172.

REFERENCES

- Braudel, F. 2015. *Ocherki istorii [Ecrits sur l’Histoire]* [in Russian]. Trans. from the French by E. Orlova. Moskva [Moscow]: Akademicheskiy proyekt.
- Carlyle, Th. 2008. *Geroi, pochitaniye geroyev i geroicheskoye v istorii [On Heroes and Hero Worship and the Heroic in History]* [in Russian]. Trans. from the French by V. I. Yakovenko. Moskva [Moscow]: Eksmo.
- Chekantseva, Z. A. 2011. “‘Narrativnoye’ vremya istorika [‘Narrative’ Time of the Historian]” [in Russian]. In Repina 2011, 55–74.

- Danilevskiy, I. N. 2005. *Povest' vremennykh let [The Tale of Bygone Years]: Germenevicheskiye osnovy istochnikovedeniya letopisnykh tekstov [Hermeneutical Foundations of Source Studies of Chronicle Texts]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Aspekt-Press.
- Gibbon, E. 1815a. Vol. 1 of *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- . 1815b. Vol. 10 of *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- . 1815c. Vol. 11 of *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- . 1815d. Vol. 12 of *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- . 1815e. Vol. 2 of *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- . 1815f. Vol. 4 of *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- . 1815g. Vol. 5 of *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- . 1815h. Vol. 6 of *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- . 1815i. Vol. 5 of *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- . 1815j. *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 12 vols. London: Lackington, Allen & Co.
- Gimon, T. Ye. 2011. *Istoriopisaniye rannesrednevekovoy Anglii i Drevney Rusi [Historiography of Early Medieval England and Ancient Russia]: cravnitel'noye issledovaniye [A Comparative study]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Russkiy Fond Sodeystviya Obrazovaniyu i Nauke.
- Hume, D. 1830a. Vol. 1 of *The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Evolution in 1688*. 6 vols. London: Liberty Fund.
- . 1830b. Vol. 2 of *The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Evolution in 1688*. 6 vols. London: Liberty Fund.
- . 1830c. Vol. 3 of *The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Evolution in 1688*. 6 vols. London: Liberty Fund.
- . 1830d. Vol. 4 of *The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Evolution in 1688*. 6 vols. London: Liberty Fund.
- . 1830e. Vol. 5 of *The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Evolution in 1688*. 6 vols. London: Liberty Fund.
- . 1830f. Vol. 6 of *The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Evolution in 1688*. 6 vols. London: Liberty Fund.
- Karamzin, N. M. 1988a. [in Russian]. Vol. 1 of *Istoriya gosudarstva Rossiyskogo [History of the Russian State] : Reprintnoye vosproizvedeniye izdaniya 1842–1843 gg. s prilozheniyem “Klyucha” P. M. Stroyeva [Reprint Reproduction of the 1842–1843 Edition with the Appendix of the “Key” by P. M. Stroeve]*. 4 vols. Moskva [Moscow]: Kniga.
- . 1988b. [in Russian]. Vol. 2 of *Istoriya gosudarstva Rossiyskogo [History of the Russian State] : Reprintnoye vosproizvedeniye izdaniya 1842–1843 gg. s prilozheniyem “Klyucha” P. M. Stroyeva [Reprint Reproduction of the 1842–1843 Edition with the Appendix of the “Key” by P. M. Stroeve]*. 4 vols. Moskva [Moscow]: Kniga.
- . 1989a. [in Russian]. Vol. 3 of *Istoriya gosudarstva Rossiyskogo [History of the Russian State] : Reprintnoye vosproizvedeniye izdaniya 1842–1843 gg. s prilozheniyem*

- “Klyucha” P. M. Stroyeva [Reprint Reproduction of the 1842–1843 Edition with the Appendix of the “Key” by P. M. Stroeuv]. 4 vols. Moskva [Moscow]: Kniga.
- . 1989b. *Klyuch, ili Alfavitnyy ukazatel’, sostavlennyy P. M. Stroyevym* [Key, or Alphabetical Index, Compiled by P. M. Stroyev] [in Russian]. Vol. 4 of *Istoriya gosudarstva Rossiyskogo* [History of the Russian State]: Reprintnoye vosproizvedeniye izdaniya 1842–1843 gg. s prilozheniyem “Klyucha” P. M. Stroyeva [Reprint Reproduction of the 1842–1843 Edition with the Appendix of the “Key” by P. M. Stroeuv]. 4 vols. Moskva [Moscow]: Kniga.
- Kazakov, R. B. 2013. *Priyemy istoriopisaniya v istoricheskikh sochineniyakh N. M. Karamzina* [Methods of Historiography in the Historical Works of N. M. Karamzin] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki.
- Khodzhsan, M. 2001. “Usloviya istoricheskogo sravneniya epokh i regionov [Conditions for Historical Comparison of Epochs and Regions]: predely obosnovannosti usloviy [Limits of Validity of Conditions.]” [in Russian]. *Vremya mira* [The Time in the World], no. 2: 91–101.
- Murav’ev, N. M. 1990. “Mysli ob istorii gosudarstva Rossiyskogo [Thoughts on the history of the Russian state]” [in Russian], 170–173.
- Polevoy, N. A. 1829. [in Russian]. Vol. 1 of *Istoriya russkogo naroda* [History of the Russian People]. 6 vols. Moskva [Moscow]: tip. Avgusta Semena.
- . 1830a. [in Russian]. Vol. 2 of *Istoriya russkogo naroda* [History of the Russian People]. 6 vols. Moskva [Moscow]: tip. Avgusta Semena.
- . 1830b. [in Russian]. Vol. 3 of *Istoriya russkogo naroda* [History of the Russian People]. 6 vols. Moskva [Moscow]: tip. Avgusta Semena.
- . 1833a. [in Russian]. Vol. 4 of *Istoriya russkogo naroda* [History of the Russian People]. 6 vols. Moskva [Moscow]: tip. Avgusta Semena.
- . 1833b. [in Russian]. Vol. 5 of *Istoriya russkogo naroda* [History of the Russian People]. 6 vols. Moskva [Moscow]: tip. Avgusta Semena.
- . 1833c. [in Russian]. Vol. 6 of *Istoriya russkogo naroda* [History of the Russian People]. 6 vols. Moskva [Moscow]: tip. Avgusta Semena.
- Repina, L. P. 2011. *Istoricheskaya nauka na rubezhe xx–xxi vv. [Historical Science at the turn of the 20th–21st Centuries]: sotsial’nyye teorii i istoriograficheskaya praktika* [Social Theories and Historiographical Practice] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Krug.
- Robertson, W. 1769. *History of Scotland*. Vol. 1 of *The Works of William Robertson, D. D.*, ed. by D. Stewart. 12 vols. London: T. Nelson.
- . 1817a. *History of Scotland*. Vol. 1 of *The Works of William Robertson, D. D.*, ed. by D. Stewart. 12 vols. London: T. Nelson.
- . 1817b. *History of Scotland*. Vol. 2 of *The Works of William Robertson, D. D.*, ed. by D. Stewart. 12 vols. London: T. Nelson.
- . 1817c. *History of Scotland*. Vol. 3 of *The Works of William Robertson, D. D.*, ed. by D. Stewart. 12 vols. London: T. Nelson.
- . 1817d. *The History of America*. Vol. 10 of *The Works of William Robertson, D. D.*, ed. by D. Stewart. 12 vols. London: T. Nelson.
- . 1817e. *The History of America*. Vol. 11 of *The Works of William Robertson, D. D.*, ed. by D. Stewart. 12 vols. London: T. Nelson.
- . 1817f. *The History of America*. Vol. 8 of *The Works of William Robertson, D. D.*, ed. by D. Stewart. 12 vols. London: T. Nelson.
- . 1817g. *The History of America*. Vol. 9 of *The Works of William Robertson, D. D.*, ed. by D. Stewart. 12 vols. London: T. Nelson.

- Rudkovskaya, I. Ye. 2014a. "Khronologiya i periodizatsiya v istoriograficheskoy traditsii Pozdnego Prosveshcheniya [Chronology and Periodization in the Historiographical Tradition of the Late Enlightenment]" [in Russian]. *Dialog so vremenem [Dialog with Time]: Al'manakh intellektual'noy istorii [Intellectual History Almanac]*, no. 56: 126–150.
- . 2014b. "Personifitsirovannoye vremya v istoriograficheskoy traditsii pozdnego Prosveshcheniya [Personified Time in the Historiographical Tradition of the Late Enlightenment]" [in Russian]. *Dialog so vremenem [Dialog with Time]: Al'manakh intellektual'noy istorii [Intellectual History Almanac]*, no. 47: 21–35.
- . 2018. "Istoriya gosudarstva Rossiyskogo' N. M. Karamzina i temporal'nyy kanon pozdnego Prosveshcheniya ['History of the Russian State' by N. M. Karamzin and the Temporal Canon of the Late Enlightenment]" [in Russian]. In *Sobytiye i vremya v yevropeyskoy istoricheskoy kul'ture [Event and Time in European Historical Culture] : XVI – nachalo XXI vv. [16th – Early 21st Century]*, ed. by L. P. Repina, 345–384. Moskva [Moscow]: Akvilon.
- Rumyantseva, M. F. 2010a. "Lineynaya / nelineynaya temporal'nost' v istorii [Linear / Non-Linear Temporality in History]" [in Russian]. In Repina 2010, 25–47.
- . 2010b. "Vremya istorika [Time of the Historian]" [in Russian]. In Repina 2010, 66–78.
- Savel'yeva, I. M. 2011. "Klassiki v istoricheskoy nauke [Classics in the History of Science]: 'svoi' i 'chuzhiye' ['Ours' and 'Theirs']" [in Russian]. In Repina 2011, 491–515.
- Shcherbatov, M. M. 1774. [in Russian]. Vol. 3 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- . 1781. *Chast' I [Part I]* [in Russian]. Vol. 4 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- . 1783. *Chast' II [Part II]* [in Russian]. Vol. 4 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- . 1786. *Chast' I [Part I]* [in Russian]. Vol. 5 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- . 1789. *Chast' III [Part III]* [in Russian]. Vol. 5 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- . 1790a. *Chast' I [Part I]* [in Russian]. Vol. 6 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- . 1790b. *Chast' I [Part I]* [in Russian]. Vol. 7 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- . 1790c. *Chast' II [Part II]* [in Russian]. Vol. 6 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- . 1791. *Chast' II [Part II]* [in Russian]. Vol. 7 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- . 1794. [in Russian]. Vol. 1 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen [Russian History from Ancient Times]*. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.

- . 1805. [in Russian]. Vol. 2 of *Istoriya Rossiyskaya ot drevneyshikh vremen* [*Russian History from Ancient Times*]. 7 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Pri Imperatorskoy Akademii Nauk.
- Shiklo, A. Ye. 1981. *Istoricheskiye vzglyady N. A. Polevogo* [*Historical Views of N. A. Polevoy*] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Aspekt-Press.
- Solov'yev, S. M. 1995. "N. M. Karamzin i yego literaturnaya deyatel'nost'" [N. M. Karamzin and his Literary Activity]: 'Istoriya gosudarstva Rossiyskogo' ['History of the Russian state']" [in Russian]. In vol. 16 of *Sochineniya* [*Essays*], ed. by I. D. Koval'chenko, 43–186. 18 vols. Moskva [Moscow]: Mysl'.
- Spengler, O. 1998. *Zakat Yevropy* [*Der Sonnenuntergang von Europa*]: *ocherki morfologii mirovoy istorii* [*Essays der Morphologie der Weltgeschichte*] [in Russian]. Trans. from the German by K. A. Svas'yana. Moskva [Moscow]: Mysl'.
- Syrov, V. N. 2006. *Vvedeniye v filosofiyu istorii* [*Introduction to the Philosophy of History*]: *Svoyeobraziye istoricheskoy mysli* [*The Originality of Historical Thought*] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Vodoley.

АРХИВ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

TRANSLATIONS

Доносо Кортес Х. О суверенитете разума, рассмотренном применительно к истории : седьмая лекция из цикла «Лекции по политическому праву», прочитанная в Мадридском Атенео 24 января 1837 г. / пер. с исп. и примеч. Ю. В. Василенко ; вступ. ст. А. В. Марей // *Философия. Журнал Высшей школы экономики.* — 2020. — Т. 4, № 3. — С. 175–196.

От барда до философа: историческое рассуждение о могуществе разума

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-175-196.

В рамках этой публикации мы вновь обращаемся к «Лекциям по политическому праву», прочитанным Хуаном Доносо Кортесом в мадридском клубе Атенео в 1836–1837 годах. Ранее на страницах нашего журнала публиковалась третья лекция этого цикла (Доносо Кортес, 2017), а еще за два года до того в «Социологическом обозрении» выходили первая и вторая лекции (Доносо Кортес, Василенко, 2015а; Доносо Кортес, Василенко и Марей, 2015b). Сейчас наше внимание привлекла седьмая лекция цикла, в которой Доносо Кортес¹ обращается к проблеме суверенитета разума и приводит историческую аргументацию, обосновывающую его идею. В отличие от предыдущих лекций, интересных прежде всего с точки зрения эволюции политических взглядов их автора, эта любопытна еще и тем, что дает возможность читателю увидеть срез исторических познаний образованного человека первой трети XIX века. Понятно, что историки, жившие и работавшие в то время, владели материалом на другом, гораздо более высоком уровне, но дело в том, что Х. Доносо Кортес как раз не был историком.

Юрист по образованию, философ по сфере интересов, личный секретарь королевы Марии-Кристины, Доносо Кортес являет собой классический пример публичного интеллектуала эпохи. Он, разумеется, знакомился с наиболее яркими новинками исторической науки (например, с той же книгой Ж.-Фр. Шампольона по египетской иероглифике), но в основном довольствовался тем, что сейчас назвали бы «научно-популярной литературой» — скорее, «введением в историю», нежели самой историей. Его начитанность имела иной характер: более философский, чем исторический. Он знал и ценил творчество Джамбаттисты Вико², влияние второй

¹О биографии Доносо Кортеса можно прочесть, например, здесь: Василенко, 2017.

²См. как произведение самого Доносо Кортеса (Donoso Cortés, 2004–2005), так и исследование Х. Вильялобоса относительно взаимосвязи текстов Доносо Кортеса и Дж. Вико: (Villalobos Domínguez, 1991).

книги «Новой науки» которого прослеживается в тексте приведенной ниже лекции. Сложно утверждать, читал ли Кортес Канта — у нас нет для этого достаточно информации — но, безусловно, он был знаком с идеями великого немца. Источником этого знакомства выступило, скорее всего, знаменитое в ту пору сочинение Торибьо Нуньеса Сессе «Начала социальной науки, или О науках моральных и политических», в котором автор достаточно подробно пересказал соответствующие идеи Иеремии Бентама, сопоставляя их с идеями Канта (Núñez Sesse, 1755). Прекрасно знал Доносо Кортес и труды французских просветителей, как, впрочем, и их политических оппонентов — родоначальников французского консерватизма.

Прежде чем обратиться непосредственно к краткому анализу седьмой лекции, необходимо представить ее в контексте читавшегося Доносо Кортесом курса, поскольку в противном случае целый ряд концептов, используемых в ней, или останется непонятным для читателя, или, что, возможно, еще хуже, будет им неверно истолкован. Кортес начинает свои лекции с размышления о том, что такое «общество» (*sociedad*) и терминологическая пара «правление / правительство» (*gobierno*), а затем — во второй лекции — обращается к концепту суверенитета. Эти понятия станут его путеводной нитью — тем светом, следуя за которым он и прочтет весь курс в Атенео. При этом очевидно, что каждое из названных понятий представляет собой достаточно сложный конструкт, предполагающий для своего постижения необходимость самостоятельной аналитической работы.

Уже при рассмотрении понятия «общество» в философии Доносо Кортеса появляется и концепт «разум» (*inteligencia*). Как он отмечает еще в первой лекции (Доносо Кортес, Василенко, 2015а: 33–34):

Человек признается разумным и свободным, находящимся в отношениях с Богом, с миром природы и с остальными людьми. [...] этот человек видит перед собой других людей, и отношения с ними конституируют и дополняют его. Его разум, благодаря которому человек понимает Бога, мир и самого себя, помогает ему понимать людей, окружающих и изменяющих его, осознавать, что они свободны и разумны, как и он.

И дальше, переходя к понятию общества, он утверждает (там же: 35):

...люди не смогли бы жить вне общества, поскольку не смогли отречься от своего разума, сделавшего общество необходимым; существование одного разумного существа логически предполагает существование многих разумных существ, потому что воображение не воспринимает разум, живущий только

своей внутренней жизнью. Таким образом, там, где много разумных существ, существуют взаимные и упорядоченные отношения, так как невозможно предположить существование многих разумов, не вступающих между собой во взаимоотношения. Там же, где существуют взаимоотношения между разумными существами, логически и исторически существует общество; таким образом, общество имеет характер исходный и не датируемый, и человек его не создает.

Таким образом, разум признается Кортесом причиной существования общества, а само общество мыслится им логически и сущностно предшествующим индивидам, составляющим его³.

Разум определяется Кортесом как способность познавать (*facultad de conocer*), при этом подчеркивается, что это — активная способность человека. Кортес отделяет «разум» от «ума» (*razón*). Можно предположить, что «ум» представляет собой мыслительную способность *in potentia*, тогда как «разум» — это познающая способность *in actualitate*. Говоря иначе, ум не совершает никакого действия, он пребывает в покое, храня в себе все доступное ему знание, тогда как разум направлен на познание нового, освоение еще неизвестного, он постоянно активен и постоянно пребывает в состоянии действия. Косвенным подтверждением этого предположения может служить тот факт, что ум, хотя и присущ также и человеку, прежде всего осознается Кортесом как «ум Божий» (или — «абсолютный ум»). Разум же, напротив, приписывается им исключительно человеку (как индивидам, так и человеческим обществам (*sociedades*)).

Теперь вернемся к проблеме соотношения индивида и общества, столь занимавшей Кортеса в первой лекции. Он возвращается к ней и в седьмой, хотя и с несколько неожиданного ракурса, уподобляя общества отдельным индивидам. С логической точки зрения подобный ход возможен и даже ожидаем: в первой лекции Кортес утверждает, что индивид как существо разумное невозможен вне общества и что общество, как мы видели из приведенной выше цитаты, предстает любому индивиду, а следовательно, определяет его сущностные свойства. Однако при внимательном прочтении седьмой лекции можно обнаружить любопытную деталь: в одном месте у Кортеса проскальзывает понятие «тело народа» (*cuervo de nación*). Эта оговорка показывает, что его восприятие взаимосвязи общества и индивидов, составляющих его, покоится не

³Здесь очевидно влияние философии Аристотеля, но в данном случае это не главное, поэтому отметим его и пойдем дальше.

только (а, возможно, и не столько) на аристотелианской презумпции первичности полиса по отношению к человеку, но и на свойственном христианской политической мысли уподоблении народа единому мистическому телу, уподоблении, отсылающем нас к знаменитой метафоре апостола Павла.

И возможно, не случайно, что не индивиды, а именно общества становятся основным объектом внимания Доносо Кортеса в публикуемой нами седьмой лекции. Кортес прослеживает свойственный каждому обществу путь от рождения — через зрелость — к дряхлости и, возможно, хотя он сам этого не говорит, — к дальнейшей смерти. На разных этапах существования обществ свойственен разный тип разума — от младенческого до дряхлеющего. Последнего Кортес практически не касается, старательно обходя стороной как его отличительные черты, так и его персонификацию, центрируя свое внимание на предшествующих стадиях.

Разум, свойственный обществам на первом этапе их развития, получает свое воплощение в образе барда и воина, можно — в одном лице. Идеалом такого воинствующего певца Кортес видит Одина, которого, следуя Полю-Анри Малле (Mallet, 1755: 38), он представляет смертным человеком, вождем древних скандинавов, впоследствии обожествленным ими. Следующий этап характерен господством разума взрослеющего, воплощением которого становятся пророки и законодатели, в качестве примеров которых Доносо Кортес перечисляет Моисея, Солона, Ликурга и иных. Наконец, третий этап, который описывается Кортесом только применительно к обществу Греции, — это зрелость, когда персонификацией социального разума становятся философы. За философами, если продлить эту линию, приходят софисты, которых Кортес, впрочем, уже не называет воплощением социального интеллекта. Напротив, с ними связаны упадок и умирание общества, они появляются, *«чтобы свести в могилу народы, бьющиеся в агонии, когда разум оставил их, а боги прокляли»*.

Завершить это небольшое предисловие к переводу стоит кратким обзором исторического процесса, как его видит Кортес, и места в этом процессе современной ему Испании. Как и в первой лекции, он выделяет общества древнего Востока, *«стонушие под ярмом теократии»*; только если в первой лекции Кортес не уточняет, какие именно общества его интересуют, здесь он называет древнюю Индию и древний Египет. И там, и там его взор привлекает кастовое общество, подвластное верховному владычеству жрецов. Кортес характеризует эту ситуацию

как доминирование «алтаря над тронном», которое он считает гибельным и не имеющим дальнейшего развития. Здесь нельзя не заметить своеобразную игру метафор, безусловно, внятную слушателям Кортеса и обладающую для них острой и, можно даже сказать, болезненной актуальностью. С одной стороны, испанская монархия, начиная как минимум с середины XVI века, характеризовала себя устами публичных интеллектуалов как «союз трона и алтаря», где «алтарь», то есть Церковь, занимал подчиненное положение по отношению к «трону», то есть к монархии. И, показывая гибельность верховенства алтаря над тронном, Кортес мог тем самым подчеркивать прогрессивный характер национальной испанской монархии. С другой же стороны, лекция читается в сочельник 1837 года, то есть в самый разгар знаменитой дезамортизации церковных имуществ, предпринятой по инициативе министра испанского правительства Хуана Альвареса де Мендисабалы. По всей стране закрывались монастыри и конвенты, их имущество распродавалось на аукционах, их насельники в буквальном смысле выкидывались на улицу. Подобный «разрыв трона с алтарем» не мог оставить Доносо Кортеса безразличным: будучи верным католиком и входя в партию *модерато*, т.е. умеренных консерваторов, он неизбежно относился к подобным мероприятиям без всякого одобрения.

Альтернативу древнему Востоку, как и в первой лекции, Кортес видит в обществе древней Греции. Но и эта альтернатива не устраивает его, если в седьмой лекции он саркастически насмехается над греческим обществом, говоря о народе, *«погребенном под лаврами, поскольку каждый из его сыновей сплетал себе свой собственный венок»*. Предельный индивидуализм, который Кортес видит в греческом обществе, так же отталкивает его, как и крайняя степень коллективизма, определяющая в его глазах общества древнего Востока. Спасение Кортес находит в образе Рима, который, несмотря на сказанное в первой лекции цикла, характеризует лишь самым положительным образом, отмечая крепость римской конституции и крайнюю живучесть Республики. Знаменательна еще одна вещь: в отличие от начала цикла, в котором он прошел по истории дальше, дав характеристику Средним векам и становлению испанской монархии, в седьмой лекции Кортес фокусирует внимание на Риме, отдельно проговаривая тот факт, что Рим смог остановить даже германцев, то есть кимбров. Именно Рим приходит на смену Греции, истощенной софистами. Рим, который чужд их пустословию, Рим, обладающий не обманывавшим его чутьем *«на все, что помогает расти и сохраняться»*, стал своеобразным лекарством от софистов, способом

их преодоления. И возможно, заканчивая свою лекцию коротким гимном в честь молодежи, которой надлежит смести современных ему — Доносо Кортесу — софистов, он видел в Испании эпохи Марии-Кристины достойного преемника Рима периода республики.

А. В. Марей, к. ю. н., доц. (НИУ ВШЭ)

ХУАН ДОНОСО КОРТЕС

О СУВЕРЕНИТЕТЕ РАЗУМА, РАССМОТРЕННОМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИСТОРИИ*

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ ИЗ ЦИКЛА «ЛЕКЦИИ ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРАВУ»,
ПРОЧИТАННАЯ В МАДРИДСКОМ АТЕНЕО 24 ЯНВАРЯ 1837 Г.

Господа,

В предыдущей лекции мы положили начало разбору учения, которое служит основанием представительному правлению; учения, которое, будучи единожды воплощено в политических институтах Европы, должно положить конец всем реакционным началам, должно заявить свои права на будущее, принадлежащее ему, должно править миром. В ней мы увидели, что, если всякая власть должна предложить подданному гарантию успеха и если эта гарантия всегда должна быть соразмерна полномочиям, принимаемым на себя властью, тот, кто провозглашает себя всемогущим, должен быть непогрешим, потому что непогрешимость — единственная гарантия всемогущества. Так, мы отрицаем всемогущество народов, поскольку они не непогрешимы; мы отрицаем всемогущество королей по той же причине. Не находя непогрешимости в мире, мы помещаем ее на небе, не будучи в силах найти ее в человеке, мы утверждаем ее в Боге; и если мы не можем найти ее в человеческом уме, мы ищем ее в уме абсолютном. И раз, господа, он единственный непогрешим, он же и всемогущ.

*© Философия. Журнал Высшей школы экономики. Перевод: © Ю. В. Василенко (ORCID: 0000-0001-7865-6497), под. ред. А. В. Марей (ORCID: 0000-0001-6185-0453). Оригинал: *Donoso Cortés J. Lecciones de derecho político, pronunciadas en el Ateneo de Madrid. Lección séptima. 24 de enero de 1837. De la soberanía de la inteligencia considerada en la historia // Obras de Don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas. En 4 vols. Vol. III. — Madrid : Casa Editorial de San Francisco de Sales, 1904. — P. 223-240.*

Если социальное всемогущество — это власть, которая подминает своим весом людей, провозглашающих ее для себя, и народы, склоняющиеся под ней, ограниченный суверенитет становится элементом, необходимым каждому обществу. Вопрос о суверенитете, приведенном к его истинным пределам, заключается в том, чтобы выяснить, в каких руках должно находиться правление, чтобы ему достичь своей цели в человеческих обществах. Если его цель в том, чтобы сохранить, и если сохраняют лишь только те, кто предвидит; если предвидеть могут лишь существа разумные и если сохраняют лучше те из них, кто наделен большим разумом, потому что они лучше предвидят, право управлять также имеют наиболее разумные, потому что лишь они способны предложить гарантии, соразмерные власти, которой они облечены.

Следовательно, существует два вида суверенитета: суверенитет юридический и суверенитет фактический, суверенитет полный и суверенитет ограниченный, суверенитет Бога и суверенитет человека, суверенитет абсолютного ума и суверенитет разума.

Лишь последним мы и должны заниматься. Ум уже показал нам свои основания; посмотрим, подтверждает ли их история. И если в произвольном развитии и в трансформациях народов, которые рождаются и растут, разум есть то единственное, что ведет их по их пути и открывает им их судьбу, мы вправе утверждать, что единственно он правит миром, так как только он порождает идеи и господствует над фактами.

Прежде всего зафиксируем значение слов: разум, рассмотренный сам по себе, есть не что иное, как способность познавать; при этом его можно рассматривать и как активную способность человека. И раз человек проходит период детства, возмужания и дряхлости, то и разум его, подчиняясь законам человеческого развития, следует за ним во всех его изменениях. Потому существует разум, свойственный дряхлости, и состоит он в способности познавать вещи, которые могут быть постигнуты также и дряхлыми стариками. Иной разум свойственен молодости, и состоит он в способности познавать все идеи, которые подвластны человеку в состоянии его наиболее полного развития. Наконец, еще один, свойственный детству, состоит в способности познавать все, что нарисовано на недалеком горизонте, вспыхивающем блестящими красками зари жизни. Человек, будь он дитя, взрослый или старый, может изменяться в силу особых обстоятельств, влияющих непосредственно на развитие его разума, долженствующего отражать все свои изменения. Вы видите, что разум одновременно всегда один и тот же (ведь это всегда способность познавать) и при этом другой, потому

что, будучи заточенным в нашем теле и подчиненным его законам, он изменяется под воздействием всех их пороков, равно как и проходящего времени. Вы видите также, что человек есть существо, равное самому себе (потому что он всегда разумен) и в то же время отличное от самого себя в разные периоды жизни и существования. Так, господа, человек различен и един, множественен и идентичен. Поскольку он един, существует человечество; поскольку отличен, существуют индивиды, ведь индивиды являются результатом и выражением всех его различий, а человечество есть результат и выражение всех его гармоний.

Мы только что увидели, как проявляется разум в человеке; посмотрим, как он проявляется и реализуется в человеческих обществах.

Общества — как и человек — наделены разумом; и, как и в индивидах, разум в обществах подчиняется закону социальных изменений. Далее, господа, народы рождаются, растут и вырождаются; и один разум свойственен вырождающимся народам, иной — народам растущим, третий — тем, что только рождаются. Поэтому социальный разум, как и разум человека, един в силу того, что это всегда способность познавать, и многообразен, поскольку постоянно меняется. Так, Ньютон похож на всех людей, потому что является человеком, а отличается потому, что он — Ньютон. Испания похожа на все общества, поскольку сама является обществом; отличается же от всех обществ, потому что это общество испанское. Единство и многообразие сосуществуют как в человеке, так и в мире.

Из этих наблюдений получается:

- (1) Социальный разум, взятый в истории, является не разумом абстрактным, неизменным, всегда идентичным самому себе, но, напротив, разумом конкретным, локализованным в пространстве, измененным под воздействием времени. Это разум, который, одухотворяя человеческие общества, следует за ними во всех их революциях и меняется вместе с ними;
- (2) Если это так, не стоит искать общественный разум младенческого типа в обществе взрослом или разум варварского типа — в обществе цивилизованном. Ведь разум народа, который движется едва-едва, поскольку только родился, не может быть идентичен разуму народа, который растет и развивается. В конце концов, господа, то, что я хочу показать вам, если вы удостоите меня вашим вниманием: разум, свойственный народам рождающимся, всегда превалирует в таких народах; разум, свойственный народам растущим, будет играть в них ведущую роль; разум, свойственный

цивилизированным обществам, будет превалировать аналогичным образом в обществах, достигших зенита цивилизации и высшей точки своего развития. Следовательно, господство над миром принадлежит разуму, раз так утверждают и ум, и история.

Теперь, господа, какой разум будет свойственен рождающемуся обществу? Это будет способность познавать все необходимое, чтобы обезопасить его детство против чудовищ, угрожающих ему, против врагов, окружающих его. Все необходимое для победы, ведь для этого общества побеждать и значит существовать. Из двух борющихся племен более разумно то, которое пьет кровь своих врагов из их же черепов, потому что для рождающихся народов победа и есть разум.

Не судите о победившем племени по его отношению к племени побежденному — смотрите на него, когда оно готовит оружие для боя, когда оно идет на поле битвы и просит у Бога своих предков или смерти храбрецов, или жизни героев.

Кто те два вдохновенных человека, которые одним словом поджигают смятенную толпу, а другим словом успокаивают бурю, что рвется из сердца сыновей пустыни? Это бард и вождь, то есть человек, который побеждает, и человек, который делает победу возможной; потому что воин исполняет то, что провозгласил пророк; меч вершит то, что обещает лира.

Когда восторженный пророк, обещающий бессмертие в своих гимнах, — это тот же, кто побеждает на поле битвы; когда на его челе блистают одновременно и луч надежды, и луч славы; когда в нем сочетаются два высших вдохновения — поэзии и войны — тогда перед этим человеком, вдохновленным и благословенным небесами, падают ниц все остальные люди; перед этой главой, отмеченной двойным вдохновением, склоняются все прочие головы. Его господство над племенем, следующим за ним, заволаживает. Его голос заставляет подчиниться, когда он командует, и пленяет, если он поет, ведь голос его — это голос Сирены во всякое время, когда не голос небес.

И едва ли, господа, эти детали даны мне поэзией, я нашел их в истории. Она подтверждает правдивость этих наблюдений на всех страницах, посвященных описанию состояния общества у примитивных народов; поскольку я не могу приводить ее свидетельства столь тщательно, как бы мне того хотелось, потому что иначе будут нарушены узкие рамки этих лекций, позвольте мне привести лишь один пример, который достаточен для достижения моей цели.

Среди рас Севера, которые, будучи приведены Провидением на похороны империи, словно в пиришественный зал, совершили самую грандиозную революцию, что только знали до сего времени, есть одна. Самая крепкая, самая независимая, самая свирепая из всех, она стала бичом Божьим для морей и народов и оставила глубокий и широкий кровотокающий след везде, где устанавливала свои знамена, везде, куда распространяла свое жестокое господство, наконец, везде, где подобно пирату или конкистадору она оставила доказательства своей пагубной мощи. Я говорю, господа, о скандинавской расе.

Она была первой среди рас Севера, которая вторглась в Италию, словно буря, в 111 г. до н. э.¹ в годы консульства Цецилия Метелла² и Папирия Карбона³; их воины тогда носили имя кимвров. Рим в то время был в зените своей власти и славы, но все же эта раса гигантов победила владыку мира в четырех больших битвах. Было всего три народа, которые затмили звезду Рима: галлы, карфагеняне и кимвры. Бренн⁴ ошеломил Рим еще в колыбели. Едва Рим вступил в пору зрелости, ему пришлось сразиться с Карфагеном и Ганнибалом; с Карфагеном, господа, который был тогда самым сильным среди народов; с Ганнибалом, который был самым великим среди людей и оставался бы таким, если бы не было Цезаря и Наполеона.

Только кимвры вторглись в дома Рима, когда тот из дома диктовал законы миру, а мир в обмен на их законы давал ему ладан, сгоравший в храмах римских богов. Но поскольку господство было обещано Капитолию, нашелся человек, сумевший смыть кровью варваров оскорбления Рима. Этим человеком был Марий⁵, который вернул сыновей кимвров на север и освободил римских матрон от их оскверняющего присутствия. Когда кимвры были полностью разбиты, их женщины, охваченные свирепым отчаянием, поносили своих мужей, оскорбляли

¹Доносо Кортес ошибается; сражение римлян с кимврами произошло в 113 г. до н. э. (битва при Норее) в год консульства Гнея Папирия Карбона.

²Гай Цецилий Метелл Каприарий (ум. после 99 г. до н. э.) — консул 111 года до н. э.

³Гней Папирий Карбон (?–112 г. до н. э.) был консулом в 113 г. до н. э.; разбит кимврами при Норее, осужден за это поражение и приговорен к смерти. Покончил с собой.

⁴Имеется в виду Бренн — предводитель сенонов (кельтское племя), возглавивший знаменитый победоносный поход на Рим в 387 г. до н. э. Доносо Кортес, очевидно, отождествляет кельтов и галлов.

⁵Гай Марий (158–86 гг. до н. э.) — римский политик и полководец, семикратный консул Республики. Прославился как победитель Югурты. Известен также реформой римских легионов.

своих отцов и, будто сомнамбулы в бреду, бросались под смертоносные колеса своих повозок, которые, без сомнения, впервые привели их к позору, а не к победе.

Со времени их первого вторжения вплоть до разрушения империи мы не знаем бранных дел скандинавских народов. Но во время завоевания и в Средние века они вновь появляются в мире, как пираты, которые, бороздя моря без Бога и закона, были среди первых, кто не только предстал, чтобы подобрать наследство побежденных цезарей, но и пригрозил ярмом своего второго вторжения народам-победителям. Известные уже в V веке благодаря своим знаменитым и всегда гибельным набегам в германском океане и на побережье Галлии, они заволокли под именем саксов архипелаг Великобритании, подчинив его своему владычеству. В конце IX века они под именем норманнов разграбили Париж и обосновались в Нейстрии, которая стала называться Нормандией. Вдохновленные своими победами, они проникли в Россию по Днепру и вновь избрали Англию целью своих опустошительных набегов. Альфред⁶ оспаривал их владения в пятидесяти шести ожесточенных сражениях, однако судьбой древних бриттов было страдать под тяжелой пятой скандинавских народов; и когда Альфред, более великий, чем его судьба, исчез со сцены, ее в качестве завоевателей заняли кимвры из Дании и датчане из Нормандии; первых вел Кнуд⁷, вторых — Вильгельм⁸, который сменил свою корону герцога на корону короля в битве при Гастингсе⁹. Наконец, господа, южная Европа, этот прекрасный Эдем, открытый для вторжений всех варваров мира, который заставил их забыть о ненастном небе и вечных, неизбежных снегах Севера, южная, повторяю, Европа была вторично осквернена этими новыми ордами новых варваров с Севера, знамена которых развевались перед Севильей, а затем остановились в Италии, где после череды великих свершений дали начало изобильному королевству Неаполя.

Если и есть раса, рожденная, чтобы склонять империи под свою руку, раса, чья любовь к полной независимости доходит до совершенного фанатизма, то это скандинавы. Непритязательные и крепкие, как все народы Севера, фанатично свирепые, как любой народ-завоеватель,

⁶Альфред Великий, король Уэссекса в 871–899/901 гг.

⁷Кнуд Великий — король Англии, Дании и Норвегии в 1016–1035 гг.

⁸Вильгельм I Завоеватель — герцог Нормандии с 1035 года, король Англии с 1066 по 1087 гг.

⁹Т. е. в 1066 году.

угрюмые и мрачные, будто туман, стелющийся по окружающим их морям, бурные, подобно волнам, покоренным ими, бесстрастные, поскольку привыкли доверять океану свое будущее и свою судьбу, – перед кем склонили бы свою выю эти неистовые пираты, тираны морей, несущие гибельные знамена всем народам¹⁰?

Такой человек, разумеется, был, и дикари-скандинавы подчинялись его благородному и чарующему голосу, будто гласу божества. Был человек, склонивший их головы под ярмо, обязавший их жить в теле народном, растворивший индивидов в социальном единстве, единственным представителем которого был признан именно он. Этим человеком, господом, был Один, и был он и бардом, и воином. Скандинавы, подчиняясь закону всех едва родившихся обществ, признали господство разума, когда увидели его сверкающим на челе, вдохновленном войной и поэзией.

Союзник Митридата в упорной борьбе, которую тот вел против Римской республики, Один был побежден легионами Помпея и покинул Азию в 70-х гг. до н. э. Он направился на север Европы. В ходе своих стремительных завоеваний, которые он начал с России и продолжил затем Саксонией, Скандинавией и всеми оставшимися землями Севера, Один повсеместно устанавливал единое правление, единые религию и культ. Согласно ирландским хроникам, о которых упоминает Малле¹¹ в своем «Введении в историю Дании», на Севере никогда не слышали речи более соблазнительной и понятной, чем у Одина. Им были изобретены руны, а первые аккорды, разлетевшиеся по тем необозримым краям, были аккордами его лиры. Север воздвиг ему алтари и признал его своим богом. Господа, это великолепное зрелище: народ, рыдающий на могиле, превращает ее в алтарь и, возглашая обожествление своего барда и вождя, провозглашает обожествление гения; обожествляя же гения, он обожествляет разум. Ведь мы не должны забывать, господа, что закон всех едва рожденных обществ в том, что создают их одни лишь гимны, а укрепляют только победы. И поскольку разум общества заключается в познании всего того, что его создает и делает сильным,

¹⁰В тексте — *naciones*.

¹¹Поль-Анри Малле (1730–1807) — швейцарский историк, автор трехтомной «Истории Дании» (Копенгаген, 1758–1777). Два наиболее известных его произведения: «Введение в историю Дании, где повествуется о религии, правах, законах и обычаях древних датчан» и «Памятники мифологии и поэзии кельтов и, в особенности, древних скандинавов» — вышли в 1755 и 1756 гг. Доносо Кортес ссылается как раз на «Введение в историю Дании...», которое он читал, по всей видимости, в оригинальном французском издании.

едва рожденное общество будет подчиняться разуму всегда, когда оно подчиняется тому, кто в мирное время — бард, в сражениях же — непобедимый вождь, так как создает такое общество только поэт, а делает сильным воин, создает его лира и делает сильным меч.

Когда народ-воин переходит от кочевой жизни к оседлой, а победители рассеиваются по завоеванной территории; когда они с целью консолидации своего господства расселяются среди побежденных, общество меняется. Появляются мирные ремесла, а война перестает быть первичной потребностью народа, поскольку он может жить в безопасности среди своих завоеваний и укрепляться минувшими победами. Совсем недавно для этого народа существовать означало сражаться и побеждать, сейчас для этого народа существование — это покой. Прежде он создавался песнями, ныне — законами. Раньше он был силен завоеваниями, ныне же — лишь развитием ремесел, и лишь занятия наукой ныне возвеличивают его.

Разум, следующий за обществом во всех превратностях его пути, и — дабы господствовать над ним — подчиняющийся закону всех общественных изменений, также меняется, переходя от непосредственности к рассудительности. Представителями общественного разума больше не являются певцы и победители, но считаются мыслители и учителя. Священник наследует власти барда, а законодатель — власти вождя. Общественный разум оставляет струны лиры и переходит под своды храма.

Такова, господа, история всех азиатских обществ; вот, например, как устроено изнутри общество Индии? Оно состоит главным образом из трех каст: каста побежденных, нечистая и проклятая, поскольку это каста слабых и невежественных; каста воинов, то есть завоевателей, и каста брахманов, то есть жрецов. Побежденные — рабы воинов, ведь слабость — это рабыня силы; воины подчиняются брахманам, потому что сильные должны подчиняться мудрым; брахманы подчиняются одному лишь Богу, поскольку разум единственно должен подчиняться абсолютному уму; разум человеческий единственно должен повиноваться разуму божественному.

Египет пока еще остается для нас тайной, покрытой мраком, огромной загадкой, поскольку греки видели его лишь после эры фараонов¹²,

¹²По всей видимости, отсылка к грекам обусловлена находкой и расшифровкой Франсуа Шампольоном знаменитого Розеттского камня (1822 год), на котором одна и та же надпись дублировалась иероглифическим письмом, демотическим письмом и по-гречески. На момент произнесения Доносо Кортесом публикуемой нами лекции прочтение текста на Розеттском камне было практически «передним краем науки» — лишь в 1824 году вышла

длившейся тысячу лет, в течение которых египетская цивилизация развернулась во всей своей чистоте. Тем не менее он показывает нам то же, что и Индия; он также разделен на касты, и первая из них — каста жрецов, которые правят обществом железным скипетром. В Египте, как и в Индии, и в Персии, как в Индии и в Египте, цари были обречены на вечную опеку. Жрецы — единственные хранители знания — как единственные наследники вековых традиций, следили за их поведением, надзирали за всеми их действиями и определяли всю их жизнь до самых мелочей. Так и получается, господа, что в азиатских обществах народ был рабом царей, а цари — рабами жрецов. Троны давили на людей, алтари — на троны; общество было рабом власти, но и общество, и власть были в рабстве у разума.

Если в этот период общественного развития появляется человек, которому благоволят Небеса, если на его предреченном челе видны знаки гения законодателя и разума жреца, если, опоясываясь ножом для жертвоприношения, он берет в руки таблицы закона, такой человек увидит лишь склоняющиеся перед ним головы и повинующиеся ему воли, услышит лишь ропот согласия, откликающийся на его голос. Он увидит рабов, которые следуют за ним, и, наконец, народ, который его превозносит. Таков был Моисей, когда с ногами, окутанными облаком, и челом, увенчанным лучами, он явился пред очами народа Израилева на склонах Синая. Таков был и народ иудейский, когда, простираясь и внимая чудесной драме, единственными актерами в которой были Бог и Его пророк, увидел Моисея, приближающегося медленно и величественно, подобно чудесному свету божественного разума.

Таким образом, с философской точки зрения Моисей для народа Божия является тем же, что и Один — для скандинавских народов. Первый — это представитель разума, присущему обществу высвобождающемуся, переходящему от периода непосредственности к периоду рассудительности, свойственному человеческим обществам; второй же — представитель разума, свойственного обществу едва родившемуся. Один покоряет, как бард, и повелевает, как воин; Моисей господствует, как законодатель, и покоряет, как пророк.

главная работа Шампольона по египетской иероглифике (*Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens ou Recherches sur les élémens premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons, et sur les rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques égyptiennes*. Paris: Chez Treuttel et Würtz, 1824) и по ее поводу продолжались активные научные дебаты.

Наконец, господа, если мы просмотрим кодекс Моисея и все прочие кодексы законодателей Азии, мы увидим, что они похожи один на другой, поскольку все они выражают наиболее полным образом все человеческое знание в эти смутные и темные времена. Господство законодателя в них всеобъемлюще, абсолютно. Всякий отдельный человек, воспринимаемый как человек нравственный, всякое племя, трактуемое как совокупность людей, создающих его, — всех их воодушевляет и оживляет его вездесущий разум. Как человек, так и семья; как семья, так и общество подчиняются его законам. Никто не противится, никому не хватает воли сопротивляться его действию, поскольку его действия разумны, они создают общество и цивилизуют его. Законодатель предстает воплощением самого разума.

Разум, таким образом, господствует как в обществах, которые находятся в состоянии покоя, так и в только зарождающихся обществах; как в вечных и недвижимых обществах Азии, так и в бурных обществах Севера Европы; как на туманных пляжах Балтики, так и на мирных берегах Инда. Оставим же, наконец, эти края и — прежде чем переходить к заключению этой лекции — посмотрим на Грецию, оставив для следующей лекции разговор об истории наших дней.

История Греции может быть разделена на три больших периода: младенчество, взросление и период ее наиболее полного развития. Период ее младенчества — это время поэзии. Период ее взросления — это время греческих законодателей и их постановлений. Последний период — это время философов. Первый из этих периодов — область мифов, остальные — истории. Но как миф, так и историю относят, господа, к области философии. Ведь миф представляет собой самое чистое и бесхитрое изображение примитивного состояния человеческих обществ.

Итак, господа, во времена младенчества Греции, как рисует их миф, я вижу бардов, которые создают общество, и воинов, укрепляющих его победами. Амфион получает лиру из рук Аполлона, и под волшебные звуки его чарующей лиры поднимаются стены Фив. Орфей получает от бога другую лиру, и благодаря ее нежнейшим аккордам сдвигаются с мест камни, шепчут молчаливые леса, шумят родники, укрощается дикий фракиец, ведь вся природа поет и даже мраморные статуи вздыхают. И когда, покинув землю, Орфей проникает в глубины ада, в темные края смерти, то даже там под звуки его лиры замолкает Цербер, не выют свои кольца змеи, останавливается колесо Иксиона. И уступает его напевам Тисифона, и рассеивается мрак, и стихают бури. Царство Плутона и Прозерпины перестает быть дворцом молчания и боли.

Вы видите, как Греция, подчиняясь закону всех рождающихся народов, приходит в мир, когда напев поэта наполняет ее грудь гармонией. Всякое едва родившееся общество создается напевами, укрепляется и расширяется войной. И потому всякое едва родившееся общество имеет своего барда и вождя. Вот почему Греция, которая обессмертила поэта из Фив¹³ и законодателя из Фракии¹⁴, обессмертила также и Геракла, Ахилла и Тезея. Период ее младенчества, который начинается бардом из Фив, заканчивается бардом из Смирны. Великолепный период, господа, который начинается с Амфиона и заканчивается Гомером! Гомером, блистающим солнцем вдохновенного разума, солнцем, которое никогда не закатывается, солнцем, которое вечно сияет на горизонте народов на протяжении веков.

Теперь мы входим во второй период Греции, когда были созданы ее законы. Это время Ликурга и Солона, время, когда два великих человека оказывают свое влияние на два великих города: на аристократическую Спарту и демократические Афины. Я упоминаю этот период, господа, чтобы вы увидели вместе со мной, что законы нравственного мира, так же как и законы физического, определены, постоянны и недвижимы. Ведь в самом деле, если едва рожденная Греция, следуя закону младенческих обществ, подчинилась разуму, явленному в барде и воине, повзрослевшая Греция, следуя закону взросления наций, подчиняется — как подчинялись и азиатские общества — разуму, представленному уже не воином и бардом бродячего племени, а законодателями народов. Впрочем, если человечество всегда равно самому себе, потому что подчиняется одним и тем же Божественным законам, оно также и отлично от самого себя, потому что подчинено иным, постоянно меняющимся законам. Поэтому Греция похожа на Индию, поскольку — как и она — признает господство разума; но и образует видимый контраст с ней, поскольку признает господство разума, отличного по своей форме от разума, признаваемого всеми азиатскими обществами. Греция, как и Индия, подчиняется разуму, представленному ее законодателями, и в этом их сходство; но в Индии законодатели принадлежат к привилегированному классу брахманов, а в Греции — к общему классу всех граждан,

¹³ «Поэт из Фив» и ниже — «Бард из Фив» — Амфион, мифический царь Фив, сын Зевса и Антиопы, муж Ниобы.

¹⁴ Т. е. Ликург Спартанский (прим. VIII в. до н. э.).

и в этом их отличие. Этот второй период, когда греки укрепляются посредством законов и вступают в контакт с миром посредством колоний, завершается основанием Византия в 658 г. до н. э.¹⁵

На этом завершается эра законодателей и начинается эра философов. Она длится до битвы при Херонее¹⁶, и это самое прекрасное время из всех великих плодотворных и прекрасных периодов в истории. Общество в этот период не подчиняется ни разуму, воплощенному в барде или в войне, ни разуму, представленному законодателем, но лишь разуму, явленному посредством философии. В это время разум уже не является исключительным достоянием одного человека, вдохновленного богами, но становится общим правом всех талантливых людей; он переходит из храма божества к семейному очагу.

Чтобы можно было лучше понять влияние философов на греческое общество в течение описываемого периода, позвольте мне сделать здесь несколько наблюдений, по-моему, полезных, а возможно, и необходимых.

Область действия законодательства меняется в каждом из периодов, на которые разделяется история народов. Законодательство народов, едва родившихся, и народов, оказавшихся под ярмом теократии, распространяется не только на общество, но и на составляющих его индивидов. Оно регулирует не только публичную жизнь государства, но и частное поведение людей, поскольку, на взгляд законодателя, законодательство и мораль, обычаи и законы, суть одно и то же. Однако, когда общество переходит из периода младенчества в период взросления, когда разум, не помещаясь уже в храме, разливается по городам, когда туника жреца сменяется мантией философа, законы и обычаи разделяются. Законодательство живет на форуме, мораль укрывается у домашних очагов и стихийно развивается в сфере человеческой индивидуальности.

Таким образом, господа, когда законы не регулируют обычаи, а законодатели говорят, что они некомпетентны, чтобы судить о нравственной стороне действий, необходим новый институт, который следил бы за моралью и сохранял бы в первозданной чистоте обычаи, покинутые

¹⁵Согласно сохранившейся традиции, Византий был основан Бизантом (= Византом) из Мегары в 667 году до н. э.

¹⁶Т. е. до 338 г. до н. э. В сражении при Херонее македонские войска под командованием Филиппа и Александра Македонских разбили союзное войско греческих политий. Проведенный затем Коринфский конгресс положил конец самостоятельному существованию греческих полисов, включив их в сферу влияния растущей Македонской державы.

законодателями. Римская республика, чье устройство по крепости превосходило все в мире, чье чутье на все, что помогает расти и сохраняться, никогда не обманывало ее на протяжении всех превратностей ее удивительной истории, нашла лекарство от некомпетентности законов в семейном суде и в трибунале цензоров. Христианский мир нашел средство от той же болезни в проповеди, доверенной священнику. Уже в греческом обществе законодатель не сумел охватить узким кругом законов частную мораль, сохраняющую в чистоте семью, и мораль публичную, оживляющую и усиливающую государство. Трибунала цензоров, который смог бы восполнить недостаточность законов, там не существовало; и проповедь, которая с успехом заместила бы трибунал цензоров, могла появиться лишь вместе с христианством. В итоге трон нравственного мира оказался вакантен. Потому его захватили философы и драматурги, поделив между собой нравственное воспитание и управление обычаями. Первые занимались этим в школах, вторые — в театрах. Первые прибегали ради этого к теориям о природе божества и природе человека; вторые — к своим трагедиям, в которых обрекали великих преступников на ужасные несчастья. Первые упражняли ум, вторые — очерчивали пределы человеческой воли. Первые расширяли горизонты разума, вторые — приносили разрушительные страсти в жертву на алтаре эвменид.

Какое же зрелище представляла тогда Греция, где господствовала философия? Единственное, господа, во всей истории человечества. Зрелище народа, погребенного под лаврами, поскольку каждый из его сыновей сплетал себе свой собственный венок. Венками были увенчаны победители при Марафоне, Саламине и Платеях¹⁷. Лавры им дал Геродот, величием подобный Юпитеру, породившему Минерву, поскольку, рассказывая на Олимпийских играх о битвах победителей, он порождает историю. Лаврами увенчаны основатель Академии¹⁸ и основатель Лицея¹⁹, достигшие в своем величественном полете пределов человеческого разума, когда, повинувшись их голосу, афинянин стал гением философии. Лаврами увенчаны те, кто, вдохновленный богами, оживлял мрамор и холст, вынуждая гения искусств жить на Парфеноне, оставив Олимп.

¹⁷Битвы при Марафоне и Платеях — крупные сухопутные сражения греко-персидских войн, в которых греки разгромили персидские войска. Произошли в 490 и 479 гг. до н. э., соответственно. Битва при Саламине — знаменитое морское сражение греческого и персидского флотов, происшедшее в 480 г. до н. э. и закончившееся победой греков.

¹⁸Т. е. Платон.

¹⁹Т. е. Аристотель.

И — будто бы в великолепном венце Греции не хватало еще одного прекрасного цветка — рождается Демосфен, а с ним в публичное пространство вторгается величественный и прекрасный гений трибуны.

Демосфен, господа, был последним и самым ярким из всех граждан. Новое зрелище предстает перед нами. Историки исчезли. Философы исчезли. Художники исчезли. Воины исчезли. Ораторы тоже исчезли. Греция осиротела, потому что разум покинул ее очаги. Греция облачена во вдовий траур, потому что ее покинула слава. Ее лавры иссохли, ведь все ее великие граждане покоятся в могилах. Греция слабеет, ведь, дабы утешить ее в ее сиротстве, на горестном ложе возлегают с ней софисты, которые всегда появляются, чтобы свести в могилу народы, бьющиеся в агонии, когда разум оставил их, а боги проклинали. Они дали Сократу цикуту, они привели свою родину, будто жертву на алтарь, на мрачные поля Херонеи, в просторную могилу ее славы.

Господа, софисты вновь появились в Европе наших дней. Те, кто вверг Францию в пучину варварства, скрыв ее лик погребальным саваном и передав золотой скипетр от разумной аристократии народным массам, — это софисты! Те, кто провозглашает сегодня подрывные идеи, изобретенные еще теми софистами, — это софисты! Те, кто, не понимая власти без деспотизма и свободы без анархии, не может повелевать, не становясь тиранами и не умеет повиноваться, не начиная плести заговоры, — это софисты!

Однако их последний час уже наступает: нынешняя молодежь, которая идет вперед вдумчиво и молчаливо, очистит землю от чудовищ. Ее миссия велика, великолепна, возвышенна; чтобы ее исполнить, должно неустанно размышлять о вечных началах нравственного мира; нужно изучать с жадными глазами историю; следует склонять чуткий слух к грохоту революций; и должно просить у времени, чтобы оно раскрыло тайны прошедших эпох. Господа, когда молодежь выйдет на политическое ристалище, она победит, завершив этот одинокий бой. Победит и пойдет бесстрашная с презрением на губах и тяжестью разума на челе между гильотиной и костром, между инквизитором и палачом.

ЛИТЕРАТУРА

Доносо Кортес Х. Лекции по политическому праву, прочитанные в Мадридском Атенео. Лекция первая (22 ноября 1836 г.): Об обществе и правительстве / пер. с исп. Ю.В. Василенко // Социологическое обозрение. — 2015а. — Т. 14, № 2. — С. 31–40.

- Доносо Кортес Х.* Лекции по политическому праву, прочитанные в Мадридском Атенео. Лекция вторая (29 ноября 1836 г.): О народном суверенитете / пер. с исп. Ю. В. Василенко, А. В. Мареев // Социологическое обозрение / под ред. А. В. Мареев. — 2015b. — Т. 14, № 3. — С. 80–92.
- Василенко Ю. В.* Третья «Лекция по политическому праву» Х. Доносо Кортеса // Философия. Журнал Высшей школы экономики. — 2017. — Т. 1, № 2. — С. 123–135.
- Доносо Кортес Х.* Теория деспотизма : третья лекция из цикла «Лекции по политическому праву», прочитанная в Мадридском Атенео 6 декабря 1836 г. / пер. с исп. Ю. В. Василенко ; под ред. А. В. Мареев // Философия. Журнал Высшей школы экономики. — 2017. — Т. 1, № 2. — С. 136–154.
- Donoso Cortés J.* Lecciones de derecho político, pronunciadas en el Ateneo de Madrid. Lección séptima. 24 de enero de 1837. De la soberanía de la inteligencia considerada en la historia // Obras de Don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas. En 4 vols. Vol. III. — Madrid : Casa Editorial de San Francisco de Sales, 1904. — P. 223–240.
- Donoso Cortés J.* Filosofía de la Historia. Juan Bautista Vico // Cuadernos sobre Vico. — 2004–2005. — 2005. — N° 17/18. — P. 489–526.
- Mallet P.-H.* Introduction à l'histoire de Dannemarc, où l'on traite de la religion, des loix, des moeurs et des usages des anciens Danois. — Copenhague : Ludolphe-Henri Lillie for Claude Philibert, 1755.
- Núñez Sessé T.* Principios de La Ciencia Social o de Las Ciencias Morales y Políticas, Por El Jurisconsulto Inglés Jeremías Bentham, Ordenados Conforme Al Sistema Del Autor Original y Aplicados a La Constitución Española Por. — Salamanca : Imprenta Nueva, por Bernardo Martín, 1755.
- Villalobos Domínguez J.* El hacha niveladora: Donoso Cortés y Vico // Cuadernos sobre Vico. — 1991. — N° 1. — P. 55–67.

Donoso Cortés, J. 2020. "O suverenitete razuma, rassmotrennom primenitel'no k istorii [On the Sovereignty of Reason Taken with Reference to History]: sed'maya lektsiya iz tsikla 'Lektsii po politicheskomu pravu', pročitannaya v Madridskom Ateneo 24 yanvarya 1837 g. [Seventh Lecture from 'Lectures on Political Right' Delivered at the Ateneo of Madrid on the 24th of January, 1837]" [in Russian], trans. from the Spanish and annot. by Yu. V. Vasilenko. With an intro. by A. V. Marey. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 175–196.

JUAN DONOSO CORTÉS

ON THE SOVEREIGNTY OF REASON TAKEN WITH REFERENCE TO HISTORY

SEVENTH LECTURE FROM "LECTURES ON POLITICAL RIGHT"

DELIVERED AT THE ATENEO OF MADRID ON THE 24TH OF JANUARY, 1837

Translation of: Donoso Cortés, J. 1904. "Lecciones de derecho político, pronunciadas en el Ateneo de Madrid. Lección séptima. 24 de enero de 1837. De la soberanía de la inteligencia considerada en la historia" [in Spanish]. In vol. III of *Obras de Don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas*, 223–240. 4 vols. Madrid: Casa Editorial de San Francisco de Sales.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-175-196.

REFERENCES

- Donoso Cortés, J. 2004–2005. "Filosofía de la Historia. Juan Bautista Vico" [in Spanish]. *Cuadernos sobre Vico*, nos. 17–18: 489–526.
- . 2015a. "Lektsii po politicheskomu pravu, pročitannyye v Madridskom Ateneo. Lektsiya pervaya (22 noyabrya 1836 g.): Ob obshchestve i pravitel'stve [Lecciones de derecho político, pronunciadas en el Ateneo de Madrid. Lección primera. 22 de noviembre de 1836. De la sociedad y del gobierno]" [in Russian], trans. from the Spanish by Yu. V. Vasilenko. *Sotsiologicheskoye obozreniye [Russian Sociological Review]* 14 (2): 31–40.
- . 2015b. "Lektsii po politicheskomu pravu, pročitannyye v Madridskom Ateneo. Lektsiya vtoraya (29 noyabrya 1836 g.): O narodnom suverenitete [Lecciones de derecho político, pronunciadas en el Ateneo de Madrid. Lección segunda. 29 de noviembre de 1836. De la soberanía del pueblo]" [in Russian], ed. by A. V. Marey. Trans. from the Spanish by Yu. V. Vasilenko and A. V. Marey. *Sotsiologicheskoye obozreniye [Russian Sociological Review]* 14 (3): 80–92.
- . 2017. "Teoriya despotizma [The Theory of Despotism]: tret'ya lektsiya iz tsikla 'Lektsii po politicheskomu pravu', pročitannaya v Madridskom Ateneo 6 dekabrya 1836 g. [Third Lecture from 'Lectures on Political Right' Delivered at the Ateneo of Madrid on the 6th of December, 1836]" [in Russian], trans. from the Spanish by Yu. V. Vasilenko. Ed. by A. V. Marey. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 1 (2): 136–154.
- Mallet, P.-H. 1755. *Introduction à l'histoire de Dannemarc, où l'on traite de la religion, des loix, des moeurs et des usages des anciens Danois* [in Spanish]. Copenhagen: Ludolphe-Henri Lillie for Claude Philibert.
- Núñez Sessé, T. 1755. *Principios de La Ciencia Social o de Las Ciencias Morales y Políticas, Por El Jurisconsulto Inglés Jeremías Bentham, Ordenados Conforme Al*

- Sistema Del Autor Original y Aplicados a La Constitución Española Por* [in Spanish]. Salamanca: Imprenta Nueva, por Bernardo Martín.
- Vasilenko, Yu. V. 2017. “Tret’ya ‘Lektsiya po politicheskomu pravu’ Kh. Donoso Kortesa [The Third ‘Lecture on Political Right’ by J. Donoso Cortés]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [*Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*] 1 (2): 123–135.
- Villalobos Domínguez, J. 1991. “El hacha niveladora: Donoso Cortés y Vico” [in Spanish]. *Cuadernos sobre Vico*, no. 1: 55–67.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ, СИМПОЗИУМЫ

ACADEMICAL LIFE

Ника Кочековская*

МАКИАВЕЛЛИ И ГВИЧЧАРДИНИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КАК ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ**

МОСКВА, 23–25 СЕНТЯБРЯ 2019

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-199-213.

23–25 сентября 2019 года в Москве прошла международная конференция «Гвиччардини и Макиавелли у истоков исторической науки Нового времени», организованная при участии Института всеобщей истории РАН, Итальянского института культуры в Москве, Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Полетаева, Департамента общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ, Школы философии НИУ ВШЭ.

Конференция объединила крупнейших исследователей интеллектуального наследия Никколо Макиавелли и Франческо Гвиччардини из Италии, Франции и России. Важной чертой общей проблематики и финального обсуждения стало совмещение фокуса интеллектуальной и политической истории XVI в. (реконструкции конкретных обстоятельств, повлиявших на тексты двух авторов) с фокусом истории исторической науки, что выводит конкретные аспекты творчества Макиавелли и Гвиччардини и последующей рецепции на актуальные проблемы методологии истории.

Вступительный доклад М. А. ЮСИМА показал, что именно на хронологическом стыке между Ренессансом и ранним Новым временем широко распространяется идея истории как полезного знания. Основу этой полезности устанавливали политический дискурс, определение

*Кочековская Ника Александровна, аспирант; Факультет гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва), nika.ko4ekovskaya@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-6808-0882.

**© Кочековская, Н. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

государства как центрального объекта историописания — того, что делает последнее не простым повествованием, но аналитической работой с теоретическими понятиями. Примером такого рода аналитичности, лежащей в основе историографической культуры раннего Нового времени и находящей исток в рецепции исторических сочинений Макиавелли, является, по мнению докладчика, логика поляризации, наличия неразрешимых противоречий между акторами, действия которых описывает и анализирует историческое сочинение. Эта логика оказывается сопоставимой, например, с марксистской логикой классово-борьбы. Таким образом, становится возможным говорить о неизменности логических оснований нововременного понимания историописания через несколько веков европейской интеллектуальной истории — сходстве ренессансного и нововременного исторического дискурса с современными рассуждениями о теории и методологии исторического знания.

Доклад М. С. БОБКОВОЙ опирался на понятие *историографическая революция*, под которым понималось прежде всего широкое распространение с середины XVI в. идеи истории как набора конкретных инструментов анализа и как особого метода познания. В качестве ключевых понятий, позволяющих говорить об историческом методе, докладчица указала идеи «человеческого общества» и «единства географического и социального факторов», что отсылает не только к широкому комплексу наук о человеке, обществе и культуре, имеющего в своей основе дискурс гражданских наук XVI–XVII вв., но и к историописанию, которое можно назвать не просто одной из них [наук], но системой знания, сыгравшей ключевую роль в формировании понятийного аппарата других наук. Опираясь на статистику выхода печатных книг по истории в первую очередь античных авторов, докладчица объяснила эту роль формированием к середине XVI в. обширного круга чтения исторических текстов, за которым логически последовало выведение общих методов работы с историческими фактами, обобщение взглядов на исторические закономерности. Было отмечено, что наиболее популярные, согласно этой статистике, Цицерон и Сенека были не просто авторами, важными для историографии, но и основными источниками аргументации в составлении речей, ораторском искусстве, судебной полемике, что добавляет к исторической также политическую науку, тесно сопряженную в XVI в. с политической и литературной практиками.

Эта сопряженность как черта дискурса историописания в Ренессансе и раннем Новом времени (а также как проблема для рассуждающего о ней исследователя) нашла выражение в представленном во второй

день конференции докладе П. Ю. УВАРОВА. Обращаясь к фигуре французского интеллектуала и юриста XVI в. Рауля Спифама, докладчик рассмотрел особенность работы последнего с историческим дискурсом — экстравагантное написание указов от имени короля Гериха II, при котором каждый из этих указов предварялся историческим примером. Хотя такого рода ссылки традиционно использовались в юридической практике и имели характер риторического этикета, демонстрации образованности, случай Спифама отличается от этой практики не-шаблонностью, не-общеизвестностью этих ссылок, глубоким погружением автора в исторический материал, а также их связью с историей Французского королевства. По мнению докладчика, эта особенность была обусловлена тем, что странный текст Спифама является вовсе не плодом его эксцентрического темперамента и возможного безумия, но свидетельством его реального участия в обсуждении «на высшем уровне» необходимости выделения государственных средств на сбор документов, создания национального архива и государственного историописания, основанного на нем. Исторические примеры Спифама, таким образом, должны были стать образцом применения истории в законодательной практике, демонстрацией полезности истории для государства.

Доклад П. Ю. Уварова вызвал дебаты о дискурсивной и хронологической «вилке» в историографической культуре Ренессанса и раннего Нового времени. В фокусе обсуждения оказался переход от исторической культуры как элемента риторики, использовавшей исторический дискурс в качестве источника примеров, что имело тесную связь с аристократическим «вольнодумством», формированием аристократией собственного политического дискурса (и исследовалось, в частности, на примере Англии накануне Гражданской войны такими авторами, как М. Пелтонен, П. Мак, К. Шарп, Кв. Скиннер), к исторической культуре как идее государственного архива. Среди сфер, позволяющих изучить этот переход, П. Ю. Уваров назвал книгопечатание. Резкий рост числа изданий и их доступности привел к идее «метода легкого познания истории» (Ж. Боден), к наполнению исторического дискурса инструментальным содержанием, что автономизировало историю и исторические казусы из области риторического аргумента в самостоятельную науку, в основе которой лежат источники и шире — архив.

Несколько докладов развили наметившуюся здесь проблему при помощи обращения к юридическому дискурсу как к пограничному с историческим в той практике интеллектуального письма, которую гражданские науки раннего Нового времени унаследовали от Ренессанса.

Так, именно юридический дискурс показывает особенность истории по Макиавелли и Гвиччардини как одновременно и «полезного знания», и того, чья польза обусловлена не научным методом, выведением теории и законов, а непосредственно современностью. В результате, по мнению Р. РУДЖЕРО, ренессансная историография носила откровенно презентистский характер, причем именно Гвиччардини (и его опирающееся на юридический опыт описание современности, недавнего прошлого как предмета исторического сочинения) выявляет этот аспект в текстах Макиавелли, совмещающих историю как анализ античных авторов («Рассуждение о первой декаде Тита Ливия») и как анализ непосредственных истоков текущего положения дел («История Флоренции»). Оба автора в таком сравнении объединяются пониманием истории как «мозаики», «игры в пазл», а также здравым смыслом как основой исторического и политического методов.

Этот вывод был развит в докладе П. КАРТА, который подчеркнул, что Макиавелли и Гвиччардини опирались на казусность и конкретность как основу теории истории, так что — в отличие от позитивистского представления о научности как об отвлеченном принципе познания — история в работах этих авторов предстает основанной на эмпирике, личном опыте и автобиографии. В случае Гвиччардини из этого следует центральный вопрос изложенной им истории прихода к власти Медичи — вопрос о гражданине, понимаемом как частное лицо, потенциально способное стать государем. Юридическая практика как важная черта биографии Гвиччардини является фактором, в силу которого оказывается возможным констатировать, что он, как и Макиавелли, не пишет, а переписывает историю права исходя из сегодняшнего дня. Показательным в этом ключе является восприятие Макиавелли сочинения Тита Ливия, который рассматривал современное ему римское право как архаичное, нуждающееся в обновлении; в этом ключе Макиавелли не следует внутренней проблематичности и критике текста «Декад», выхватывает из него то, что оказывается уместным для непосредственной современности, которая выражается не просто в политике (предполагающей и практику, и обобщающие понятия, особенно в перспективе Нового времени, появления текстов Бодена и Гоббса), но в юридической конкретике как своем непосредственном, конструктивистском осуществлении. В контексте общей проблематики конференции необходимо отметить возникающую здесь проблему разрыва между «историографической

революцией», «методологией истории», идеями нации, государства и общества как чертами интеллектуальной культуры Нового времени и ренессансным пониманием истории как основы для юридической практики, как источника аргумента. Юридическая мысль XVI в. является, таким образом, важной областью интеллектуальной истории, позволяющей осмыслить эту проблему и особенности историописания в соотношении интеллектуальных культур Ренессанса и Нового времени.

Характерно при этом, что юридический дискурс как основа презентизма в ренессансном историописании находит выражение не только в биографическом ключе, но и в других коннотациях «практической полезности» истории. Так, доклад А. А. МАЙЗЛИШ был посвящен обращению Гвиччардини к фигуре Карла Смелого и борьбе за «бургундское наследство», когда — несмотря на отсутствие непосредственной связи описываемой и анализируемой Гвиччардини истории с его собственной биографией и конкретными государственно-юридическими практиками, составлявшими ее — в центре внимания оказывается проблематика децентрализации власти, олигархического устройства, политической самостоятельности аристократа, то есть вопрос о гражданине. В этом же ключе А. Гвиди рассмотрел проявление «историко-юридического» дискурса Макиавелли и Гвиччардини на примере папских союзов в ходе Итальянских войн, трактуя последние как «первый глобальный политический конфликт» в качестве фактора, придавшего конкретике юридического дискурса характер концепций (строящихся, в частности, на общей типологии различия права мира и права войны), сохраняющих при этом свою ситуативность, окказиональность.

Своеобразной переключкой исторических сочинений Макиавелли и Гвиччардини с юридическим контекстом становится жанр городской истории, в котором по-своему преломилась работа с документом, практические и историографические аспекты. В докладе А. А. АНИСИМОВОЙ рассматривалась городская история в Англии XVI–XVII вв. как источник политической идентичности, где налицо оказываются предпосылки для развития того же типа историописания, что и в итальянских городах, примером чего является «История Флоренции» Макиавелли. Однако, как свидетельствуют источники, английские историки получали заказ именно на историописание о государстве, о королевстве в целом, так что содержанием городской истории становилось, например, состязание в древности городской коммуны и городского собора, но не вопрос о самостоятельной политической субъектности. В дискуссии было отмечено, что фактором, повлиявшим на преуменьшение роли этой субъектности

в историописании английских городов по сравнению с историописанием в итальянских городах, могла стать принципиальное различие между итальянскими и английскими городами в хранении документов, в системе архивов: общецентрализованной, связанной с королевской властью — в Англии и привязанной к корпорациям, цехам (в первую очередь — юридическим, делопроизводственным) — в итальянских городах. В свою очередь, Э. КУТИНЕЛЛИ-РЕНДИНА посвящает доклад трансформации итальянской муниципальной хроники в проблематику исторического метода у Макиавелли и Гвиччардини, отмечая влияние на этот процесс событий современности, совмещения исторического материала хроник, отражающего политические действия в прошлом с насущным поиском двумя реформаторами исторического письма примеров и руководства к политическому действию.

Помимо постулирования теоретико-методологического значения юридической практики, в ходе конференции были высказаны гипотезы о возможности вывести из этой практики особый тип метафорики в исторических сочинениях Макиавелли и Гвиччардини, своеобразные «историографические модели», созданные ими. В докладе Т. А. ДМИТРИЕВА эта модель выступает в виде возникающей у Макиавелли магистральной коллизии знати и плебса, когда в общем комплексе текстов, а также в отдельных примерах из писем к Франческо Веттори эта коллизия выступает в двойной роли: главной причиной гибельных гражданских столкновений в современности, с одной стороны, и основой для гражданских добродетелей и политической свободы в Римской республике, с другой. Еще одна «историографическая модель» была предложена в докладе М. СИМОНЕТТА, в котором рассмотрены новые источники, относящиеся к переписке Макиавелли с Веттори (*The Phillips Collection*), в т. ч. позволяющие прочесть ряд зашифрованных посланий. Эти источники добавляют ясности в рассуждения Гвиччардини и Макиавелли о разграблении Рима в ходе Итальянских войн в мае 1527 года. В частности, они отражают резкое отличие реакции Макиавелли от преобладавшего во Флоренции ликования — спасения республики из-за ослабления Рима. Это позволяет рассматривать в качестве исторической метафорики Макиавелли образ Италии как совокупности городов с противоположными интересами, следующий отсюда трагизм и своеобразно понимаемую ответственность историка и политика — его скорбь и раскаяние как неизбежное следствие этих неразрешимых противоречий, перманентных эпизодов разрушения в итальянской истории.

Презентизм Макиавелли тем не менее был поставлен в проблематичное взаимодействие с дискурсом общности и «гибели Италии» в докладе Э. Фенци. Рассматривая противопоставление в текстах Макиавелли политики как повседневных действий и поисков более глубоких основ политики (в первую очередь — рассуждения о единой Италии и о понятии родины), докладчик обратил внимание на тексты Данте и Франческо Петрарки как на источники этого противоречия. Если в случае Данте оно воплощается в обращении к итальянскому языку и в рассуждении об общности, возникающей благодаря ему, то у Петрарки — в идее досуга, удаления от повседневной суеты к частной жизни и дружескому кругу. Таким образом, поэтика и литература Ренессанса рассматривается в ключе генеалогии логики единой Италии и «нации» у Макиавелли как противопоставление спокойствия и свободы частной жизни суете конкретных политических событий (в Италии XIV–XV вв., к тому же, выражающейся в гражданских конфликтах). Так, частная жизнь становится логическим аналогом понятия родины, отличая его от абстракции — совмещая в себе коннотации бегства-досуга и *communitas*-дружеского круга.

Интересно отметить связь такой интерпретации с рассуждением об утопии в гуманистическом дискурсе (представленным, например, Кв. Скиннером): если в случае Томаса Мора дружеский круг гуманистов и противопоставление *otium* и *negotium* (занятого учеными трудами деятельного досуга и отвлекающей от подлинной деятельности государственной службы) понимается как основа идеи идеального города (в частности, критиковавшейся за абстрактность тем же Макиавелли), то в представленном докладе та же логика оказывается основой для осмысления конкретного географического и исторического локуса. Положения доклада, таким образом, могут ставить вопрос о сопоставлении идеи единой Италии с цicerонианским топосом дружеского круга и места его уединения в стороне от повседневной активности, о возможности прочтения образа Италии через историю понятия *communitas*-узкого круга, а не *patria*. Намеченная в докладе «нижняя» граница Ренессанса как «историографической революции» (влияние Данте и Петрарки на Макиавелли) проблематизировалась и другими докладчиками, особенно значимым оказался вопрос о Ренессансе как о возникновении приватности и индивидуальности. Так, в центре внимания сразу трех докладов была проблема репрезентации правителя в качестве основы ренессансного исторического сочинения, возникновения в начале XVI в. — в отличие от средневекового истриописания — не только индивидуальных

черт, но и этических вопросов (Л. М. БРАГИНА, В. М. ВОЛОДАРСКИЙ, О. Ф. КУДРЯВЦЕВ).

Другая трактовка дискурсивной пограничности Ренессанса между интеллектуальными культурами Средних веков и Нового времени (а также переосмысление перехода первых во второе в контексте этой пограничности) была предложена в докладе А. В. МАРЕЯ. Рассматривая Макиавелли в общем контексте политического августинизма (хотя и отмечая малую вероятность непосредственного знакомства флорентийца с текстами Аврелия Августина), докладчик указал на идею большей заботы правителя о спасении подданных, чем души, как на ключ к 17-й главе «Государя», которая обосновывает необходимость антиморальных поступков правителя. Историческая перспектива этой идеи восходит к трактату Августина «О граде божьем», выдвигающему идею общей любви (*concordia*) к правителю как основу государства и его правильного устройства, соответствия божественным установлениям. Именно такая общность, неразделимость правителя и подданных становится в августинизме источником политического аргумента и невозможности судить действия правителя исходя из абстрактных принципов (антиморальность — спасение души), а не из идеи его имманентной любви к подданным, желания им блага. Концепция М. Вироли, оспаривающая устоявшееся жесткое противопоставление Макиавелли и христианского дискурса, основывающаяся на интересе флорентийца к возвышенности и воодушевлению как к средствам, помогающим правителю одерживать верх над фортуной, а также на других коннотациях проблематики любви как политического концепта у Августина — паре *cupiditas* и *caritas*, таким образом, получает дополнительные черты — опосредованного заимствования в «Государе» конкретной концепции Августина. Соответственно, включение Макиавелли в проблематику политической теологии, основанное в первую очередь на августинизме единства юридического, политического и теологического дискурсов, ставит под вопрос как переломность интеллектуальной культуры Ренессанса, так и понятие «историографической революции».

Проблематика политической теологии перемещает «светский», основанный на «возрождении» античных авторов исторический дискурс во второстепенное положение по отношению к юридической и политической (в специфическом — юридическом и теологическом, а не историческом, изводе) мысли. Продолжая говорить о проблематизации хронологии Средних веков, Ренессанса и Нового времени, стоит отметить, что в предложенном прочтении содержатся опорные точки

генеалогии европейской политической философии, а также роли в ней исторического дискурса и его соотношения с теологией — от концепта пасторской власти М. Фуко, обращавшегося к формированию современных институтов власти, к их дискурсивной природе, охарактеризовавшего последнюю в ключе антимакиавеллизма второй половины XVI в., до предложенной А. Л. Юргановым в работе «Категории русской средневековой культуры» трактовки опричнины в Московском государстве XVI в. как рода политической теологии и восходящей к ней историософской программы, как реального, «политического», создания «божьего града», в котором полновластный государь оказывался посредником между подданными и богом и был в силу этого обязан, наказывая их в земной жизни и беря на себя грех осуществления этих наказаний, спасать их от куда более тяжелого наказания на Страшном суде.

Проблематичной оказывается также верхняя хронологическая граница: переход ренессансного историописания по Макиавелли и Гвиччардини в историописание раннего Нового времени, а также постепенное растворение в последнем «ренессансной» доминанты, возможность говорить о формировании нового канона авторов-методологов истории, об опосредовании, затухании и трансформации дискурса Макиавелли и Гвиччардини в течение XVI–XVIII вв. Первой констатацией этой проблематичности стал доклад А. Д. ЩЕГЛОВА, исследователя и переводчика «Шведской хроники» Олауса Петри, рассмотревшего возникающую здесь широкую хронологию истории идей и метода историописания в компаративном ключе. Полемизируя с концепцией О. Ферн, разделяющей Петри и Макиавелли, а также шире ренессансный дискурс, в силу влияния на автора «Шведской хроники» слишком отличного и зачастую прямо враждебного дискурса Реформации, докладчик указывает на присутствующую в сочинении Петри идею колеса фортуны, на его рассуждение о благородстве и на трактовку последнего в связи с добродетелями, а не с происхождением, а также на идею мира любой ценой, избежания войны как главной цели политика. Докладчик оставил открытым вопрос о непосредственном влиянии на эти мотивы у Петри конкретных ренессансных авторов, однако отметил среди возможных источников косвенное знакомство Петри с концепциями Джордано Бруно.

Еще более парадоксальным влияние историзма по Макиавелли выступило в докладе П. Ю. КНЯЗЕВА, посвященном рецепции (прямой и содержащей непосредственные цитаты) Макиавелли у Чарльза Дэвенанта, английского автора второй половины XVII – начала XVIII в., чьи

сочинения непосредственно связаны с контекстом Славной революции и последовавшей за ней денежной реформой. Последняя оказалась не только болезненным процессом, источником критики и недовольства, но и материалом, развившим теоретизацию экономической сферы, столкнувшим в этой теоретизации, в частности, макиавеллиевские топосы с новым дискурсом меркантилизма. В этом ключе сочинения Дэвенанта (ученика Уильяма Петти), с одной стороны, постулируют в качестве проблемы пагубное влияние на принятие государственных решений льстецов и предлагают решение в виде изучения государственного устройства, а с другой стороны, стремятся понять последнее как «политическую арифметику», положить в основу гражданской науки опору на числа. Таким образом, макиавеллистская логика «личностного», морального уровня политического, совмещаясь с экономической метафорикой, рассмотренной на примере Дэвенанта, фактически сталкивает ренессансный дискурс с дискурсом английского эмпиризма, вопросами этики, культуры и антропологии (Шефтсбери, Мандевиль, Бентам, Юм).

Возникающее здесь совмещение эмпиризма и антропологии как дискурсов, хотя и относящихся к контексту рационализма (а также близко подходящих к Просвещению), но занимающих по отношению к нему стороннее, даже маргинальное положение, подводит к вопросу о «риторической культуре» применительно к научному (в том числе историческому) дискурсу как к совмещению следующих из ренессансной интеллектуальной традиции презентизма и индивидуации с метафоризацией как методом познания, с идеей культуры и морали как основы опыта. Продолжением этой проблематики стал доклад П. В. СОКОЛОВА, поставивший вопрос о «дискурсивной формации макиавеллизма» и о возможности проследить как ее трансформации, так и общие места в течение XVI–XVIII вв. Наиболее удачным материалом для этой задачи становятся, по мнению докладчика, сочинения голландских авторов, поскольку они находились на стыке различных интеллектуальных традиций — английской, французской и немецкой — и испытали их перекрестные влияния. Наиболее распространенным общим местом макиавеллизма в нидерландском контексте оказывается логика «зеркала принца» как основа политического трактата, а также дискурс республики ученых — связи книжной образованности и рассуждения о политике, основанного на методе гражданских наук, с альтернативами существующему политическому порядку, с демократической риторикой. Параллельно возникает и критика макиавеллизма как основы для

«сикофантства»: если «Государь» часто парадоксальным образом связывается с республиканским дискурсом в силу аргумента о разоблачении в нем механизма, на котором строится тирания, то в нидерландской рецепции середины XVII в. дискурс макиавеллизма прямо сталкивается с идеей *arcana imperii* (тайны государственных дел) — идеей, что объяснять устройство государства не нужно. Топосы текстов Макиавелли, в частности, знаменитый образ лисы и льва, находят выражение в нидерландских мифико-сатирических книгах, приобретают, таким образом, сатирическую стилистику, хотя и сохраняют подоплеку политического метода.

В дискуссии по докладу обсуждалось, не может ли особенность нидерландской рецепции Макиавелли быть истолкована как серьезное изменение в дискурсивной формации, состоящее в замене риторической культуры исторических примеров и «книжного» рассуждения, основанного на них, своеобразным натурализмом нидерландского интеллектуализма (исследованного, например, С. Альперс), совмещением макиавеллизма и «зеркала принца» с медицинским дискурсом, с проблематикой Р. Бертона. Однако, по мнению докладчика, между риторическими и натуралистическими установками в политической науке раннего Нового времени нельзя провести жесткого разграничения: например, сопоставление словесного воздействия с механическим толчком, далее развиваемое в медицинский дискурс, содержится у автора середины XVII в. А. Веневельда, а сопоставление риторики с типами движений является топосом, который восходит к Аристотелю.

Те же тенденции были рассмотрены Ю. В. ИВАНОВОЙ в докладе о трансформации политических и исторических концепций Макиавелли у Джамбаттиста Вико. Отмечая неприятие Вико макиавеллиевской идеи обмана как основы политики, а также возникающие в литературе соотнесения его метода примирения противоречий с католической традицией, докладчица сопоставила трансформацию текстов Макиавелли у Вико с более широкой тенденцией интеллектуальной культуры середины XVI — середины XVII в. — протягивающимся от антимаккиавеллизма Джованни Ботеро постепенным переходом от презентификации и ситуативности в рассуждении об истории и в связи этого рассуждения с политической проблематикой к формированию понятия о сущности общества и человека, о возможности воздействовать на эту сущность. Несмотря на это различие, логикой, показывающей совмещение в историческом методе Вико влияния Макиавелли с интересом к антропологии, культуре, мифу

и воображению, становится особенностью научного метода барокко, противопоставляющего сущностное измерение всех этих категорий измерению метафорическому. В ключе последнего текст «Новой науки...» Вико работает как запуск нескольких линий повествования и обеспечение их корреляции, так что их прослеженное взаимодействие, раскрытие связывающей их метафорической «кристаллической решетки» и является содержанием познания. Концепция риторики модальности Н. Стрьювер позволяют сравнить «интертекстуальность» научного метода по Вико с методом Макиавелли, который, согласно Стрьювер, дает советы правителю не в модальности рекомендации, но в модальности перечисления опций, возможностей, которыми в принципе обладает правитель, а также условных ситуаций, логических экспериментов, на которых они и могут быть изучены, то есть сведены в общую «кристаллическую решетку». Вместе с тем докладчица обратила внимание на конкретный аспект текста Вико, показывающий не столько трансформацию, сколько преемственность по отношению к Макиавелли. Так, у последнего проблематичным оказывается само совмещение презентистского ракурса и борющегося с Фортуной политика — «радикального индивидуалиста» (как выразителя этого ракурса) с идеей метода, познания политики как коллективности, государства как общности, власти как рода сакральной силы. Ввиду этого перекликающимися с макиавеллиевским образом государя становятся образы патриция и ведьмы у Вико, которые обладают не просто властью, но и ее сакральным (ауспиции и колдовство) измерением, а также практикуют ее в экстремальной ситуации, постоянно рискуют ее потерять (зависимость патриция от исполняемых им ауспиций и шире от сословия патрициев; зависимость ведьмы от ритуалов как того, что обеспечивает ее союз со сверхъестественными силами). Все эти образы объединяются драматизмом, апокалиптичностью коллизии, в которой они находятся (обладание сакральной властью или гибель как цена ее потери), а также воображением, суггестией как источником и поддержания этой власти, и непосредственного обладания ей.

Затронутые в докладе понятия сакрального, суггестии и воображения в интеллектуальном дискурсе Ренессанса и Нового времени намечают рассмотрение исторического метода у Макиавелли не просто в контексте риторической культуры как идеи сопоставления примеров и развития их предельности в различных логических коллизиях и конфигурациях, но и в контексте литературы и поэтики. Последние при этом не просто

согласуются с презентизмом, но становятся основой для самого осмысления современности, для возможности не только непосредственно переживать ее, не отождествлять ее с конкретными практиками (например, юридическими), но перевести ее в измерение теории, интеллектуального письма. Таким образом, поэтика и литература становятся оптиками для интерпретации политических концепций Макиавелли и в этом качестве противопоставляются идее «историографической революции», истории как глубины, позволяющей выводить законы и принципы государства, общества и власти как сущностей.

В современных исследованиях эта тенденция часто выражается в расширении корпуса «теоретических» текстов Макиавелли на его поэзию, драматургию и частную переписку. В ходе конференции данная тенденция была представлена в докладе Г. ЛЕТТЬЕРИ, посвященном пьесе Макиавелли «Мандрагора» и реконструкции ее содержания как обращения к Папе, которое возникает из-за содержащихся в ней текстовых аллюзий на «Песнь песней». Так, эротический сюжет и мотив достижения счастья в сочетании с мотивом обмана, лежащим в основе этого достижения, трактуется как призыв Папы к политическому действию. Вместе с тем счастье Каллимаха (соблазнение) ведет и к счастью Лукреции (беременности), что в реконструируемом в докладе контексте репрезентирует двойную роль Папы: светскую и церковную. А также обман и «плутовской» мотив, отделенные от счастья Лукреции (уподобленного счастью невесты-церкви в «Песни песней»), преподносятся как политическая (обманная, «плутовская» в общей проблематике Макиавелли) роль Папы, ведущая к общему счастью. Возможность такой интерпретации «Мандрагоры» проливает новый свет на ренессансный политический язык и политическую философию, на совмещение с ними литературной формы, аллегоризации, эротики, мистических мотивов. Об этой особенности как о тенденции, а не ситуативном приеме Макиавелли говорят более известные параллели с «Песнью песней» у Бальтасаро Кастильоне и Пьетро Аретино.

Та же тенденция была рассмотрена в завершившем конференцию докладе Н. А. КОЧЕКОВСКОЙ, который ставил целью, сосредоточившись на современной теории истории, выявить проблемные точки в связи Макиавелли с исторической наукой Нового времени. Рассматривая подходы современных теоретиков истории Ф. Анкерсмита и Д. фон Вакано, докладчик сопоставил их концепции Ренессанса как политической культуры радикального индивидуализма и трагического разрыва индивида

и общества с современными исследованиями Ренессанса, проблематизирующими ту же особенность. По мнению докладчика, теоретический конструкт противопоставления Макиавелли нововременной науке и политике как эссенциалистским, стремление поставить Макиавелли не у истоков Нового времени, а — напротив — у истоков постмодерна, находит прямые аналогии с исследованиями ренессансной интеллектуальной культуры. В частности, понимание Макиавелли как теоретика эстетической политической репрезентации, противопоставленной миметической и сохраняющей неустранимый зазор между правителем и обществом, соотносится с исследованием драмы и сцены как области политического во Флоренции, превращения «Мандрагоры» Макиавелли в «эстетический политический урок» (С. Т. Килиан), а также «рассыпанности» ренессансной политической идентичности между заимствованными из истории «ролями» (Л. Джанара). При этом картина усложняется противопоставлением у Анкерсмита метафоры и парадокса, когда первая отождествляется не с «риторической культурой» или «риторикой модальности», но именно с нововременным эссенциализмом и возникновением «сущностей», тогда как ренессансный парадокс в очередной раз обращается к современности и настоящему, поскольку выявляет, что оно «страннее» любого языкового конструкта. Таким образом, политика и история по Макиавелли становятся литературными и поэтическими, создающими посредством этого искусственность, тексто- и «автороцентризм» категории «политического» как таковой. Докладчик отметил, что этот вывод становится более ярким в сопоставлении подхода Анкерсмита с концепцией фон Вакано, непосредственно связывающего «искусство власти» Макиавелли с Ницше (например, с опорой на поэму Макиавелли «Золотой осел» и на образ осла в «Так говорил Заратустра»), а также в сопоставлении с работами В. Кан, указывающей на отличие ренессансной политической культуры от реконструируемой в ней римской в силу искусственности и книжности, возникшей благодаря им идее «вкуса», которым обладает гуманист.

Все эти тенденции ставят вопрос об идее литературной искусственности, о поэтике, эстетике и филологии как об оптиках, позволяющих выявить понимание политики у Макиавелли. В дискуссии был отмечен радикализм рассмотренных теоретических интерпретаций и поставлен вопрос о целесообразности говорить о трагедии Ницше не применительно к античности, а также о возможности продолжить теоретическую трактовку Макиавелли, скорее, в ключе Х. Арндт. Было также указано, что ренессансная идея гармонии человека и природы подразумевает

естественность, а не искусственность, что эта мысль может быть проинтерпретирована через концепт диалогизма (Л. М. Баткин). Однако, по мнению докладчицы, согласившейся с радикализмом представленных трактовок, ценность последних состоит именно в идее искусственности, которая позволяет выхватить в качестве особого политического языка «книжность», осуществляемую Ренессансом реконструкцию из античности как данности, из непосредственной практики полуса и «активной жизни», равно как и из «недиалогичной», не предполагающей зазора идеи естественности и природности.

В заключительной общей дискуссии был поставлен вопрос о переводах Макиавелли как об общем факторе рецепции его текстов, а также отмечен значительный перевес фигуры Макиавелли над фигурой Гвиччардини как в представленных на конференции докладах, так и шире — в исследованиях истории исторической науки. Было также обращено внимание на важность истории юридической мысли для понимания специфической связки исторической и политической наук как у Макиавелли и Гвиччардини, так и в возникшей под их непосредственным влиянием интеллектуальной традиции. В связи с последним также было замечено, что главная составляющая принципиальной роли Макиавелли для представления об истории в Новое время состоит в его совмещении сфер истории и политики, который фактически стал мыслиться как как метод познания истории и подвид научного метода именно под влиянием сочинений флорентийца.

Kochekovskaya, N. A. 2020. "Machiavelli i Gvichchardini: intellektual'naya istoriya kak teoriya istoricheskogo poznaniya [Machiavelli and Guicciardini: Intellectual History as Theory of Historical Knowledge]: Moskva, 23–25 sentyabrya 2019 [Moscow, September 23–25, 2019]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 199–213.

NIKA KOCHKOVSKAYA

PHD STUDENT; NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS, MOSCOW (RUSSIA);
ORCID: 0000-0002-6808-0882

MACHIAVELLI AND GUICCIARDINI: INTELLECTUAL HISTORY AS THEORY OF HISTORICAL KNOWLEDGE

MOSCOW, SEPTEMBER 23–25, 2019

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-199-213.

ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА

РЕЦЕНЗИИ

BOOK REVIEWS

Белявский В. А. Кембриджская школа: импорт и модернизация метода анализа истории : рецензия на сборник «Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории» // Философия. Журнал Высшей школы экономики. — 2020. — Т. 4, № 3. — С. 217–229.

БОРИС БЕЛЯВСКИЙ*

КЕМБРИДЖСКАЯ ШКОЛА: ИМПОРТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА ИСТОРИИ**

РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК «КЕМБРИДЖСКАЯ ШКОЛА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ»

КЕМБРИДЖСКАЯ ШКОЛА : ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ /
ПОД РЕД. Т. АТНАШЕВА, М. ВЕЛИЖЕВА. — М. : НОВОЕ ЛИТ. ОВОЗРЕНИЕ, 2018.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-217-229.

В 2018 году в НЛО вышел сборник «Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории», составленный Тимуром Атнашевым и Михаилом Велижевым. По замыслу составителей, сборник направлен на обсуждение методологии Кембриджской школы, а также возможности её применения для изучения истории политических языков в России (Атнашев, Велижев, 2018b: 35–44). Название «Кембриджская школа» было дано группе исследователей, объединенных методологической установкой на изучение контекста высказывания и авторской интенции, которая противостоит изучению вневременных или чрезмерно объективированных идей. К первому поколению школы можно отнести Питера Ласлета, Джона Данна, Джона Покока и Квентина Скиннера, каждый из них предлагал собственные методологические решения. Первые две части сборника включают «программные» статьи Джона Покока и Квентина Скиннера, а также тексты критиков метода и полемику со стороны «кембриджцев». Третья часть сборника состоит

*Белявский Борис Александрович, стажер-исследователь, Лаборатория экономико-социологических исследований; преподаватель, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), bbelyavskiy@hse.ru, ORCID: 0000-0002-5174-8719.

**© Белявский, В. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

Благодарности: рецензия выполнена в рамках проекта Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ «Неэкономические источники динамики российских рынков» при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (2020 г.).

из работ российских авторов, которые используют методологические решения Кембриджской школы для исследования политических языков в России с конца XVII и до конца XX века, а также вырабатывают новую линию исследования режимов публичности.

Критика тепло встретила выход сборника (Павлов, 2019: 315–316), а большая часть замечаний была посвящена политическим контекстам, исследуемым с помощью метода, в то время как целью составителей было развитие методологической программы (Атнашев, Велижев, 2018b: 40–44). Поэтому в настоящей рецензии основное внимание уделено обсуждению методологии и границ ее применения. В первой части реконструируются основные тезисы авторов и составителей сборников, образующие методологическую программу. Во второй части обсуждается методологическая критика, представленная в сборнике, и последующая реакция на него, а также потенциал развития метода и его эффективность.

КЕМБРИДЖСКАЯ ШКОЛА: НАМЕРЕНИЯ АВТОРОВ СТАТЕЙ И СОСТАВИТЕЛЕЙ СБОРНИКА

Исходно замысел составителей сборника совпадает с высказанным намерением авторов статей первого поколения Кембриджской школы: развивать методологию изучения истории политической философии как достоверного и однозначного знания (Скиннер, Пируская, 2018c: 287–293). Специфической задачей отечественных авторов является применение методологии Кембриджской школы для изучения политических языков в России (Атнашев, Велижев, 2018a: 38–40). Интерпретации авторов, представленные в сборнике, сводятся к двум основным целям, реализуемым в рамках обсуждаемой методологии. Первая цель — понять контекст восприятия, характерный для изучаемого периода и общества, вторая — понять вклад конкретного автора и конкретного труда в изменение контекста. Разные авторы предлагают отличающиеся техники для достижения этих целей, но в качестве общих мест можно выделить четыре аспекта, которые необходимо исследовать: практический контекст, идеологический контекст, значения высказывания и намерение автора (Талли, Мовнин, 2018: 218–219). У Т. Атнашева и М. Велижева, описывающих в третьей части сборника политические языки России, появляется пятый аспект, режим публичности, который присутствует в анализе внутри сборника, но рефлексировается только в последующем ответе на критику (Атнашев, Велижев, 2018a: 124–127).

Формулировка целей исследования связана с лингвистическим и историческим поворотом в гуманитарных науках (Атнашев, Велижев, 2018b: 23–31). Потребность изучать контекст значений, сквозь призму которых видят мир рассматриваемые авторы, сформировалась благодаря представлению о культурной укорененности парадигм знания, выявленной Томасом Куном (Скиннер, Пируская, 2018с: 273–287). Поэтому, чтобы понять смысл текста, необходимо постичь значения употребляемых терминов, которые мог знать автор и читающие его современники (Скиннер, Пируская, 2018а: 86–97). Чтобы реконструировать значения, актуальные для исследуемого автора и текста, необходимо обратиться к анализу идеологического контекста и понять различие между несколькими типами значений/смыслов. Квентин Скиннер говорит, что ошибка анахронизма в исследованиях возникает из-за смешения трех интерпретаций смысла: смысла₁ как значения используемых слов, смысла₂ как значения текста для читателя и исследователя, смысла₃ как значения текста для его автора (Скиннер, Пируская, 2018b: 123–124). При написании текста автору доступны смысл₁ и смысл₃, в свои высказывания он вкладывает те значения, которые будут понятны его современникам, читателям, владеющим смыслом₁. Заблуждение, что авторы пишут для вечности и на вечные темы, противоречит идее культурной укорененности парадигм знания, подразумевающей, что каждый автор решает свои ситуативные задачи, границы которых заданы смыслом₁ (Скиннер, Пируская, 2018а: 54–76). Для понимания смысла₁ необходимо изучать идеологический контекст, в котором жил исследуемый автор.

Идеологический контекст существует как совокупность политических языков, на которых современники совершают политические высказывания. Политический язык представляет собой историю высказываний, содержащих набор идиом и риторических ходов, в рамках которых содержатся интерпретации терминов и правила их применения (Покок, Бондаренко, 2018а: 150–157; Рихтер, Логутов, 2018: 351–357). В сборнике используется предложенное Джоном Пококом понимание идиом как слов и словосочетаний, имеющих устойчивые смысловые интерпретации, не вытекающие из лексического значения слов и их механического соединения (Атнашев, Велижев, 2018b: 19). Предполагается, что авторы используют известные им идиомы и изменяют их в своих целях, но возможности изменения идиом и риторических правил зависят от восприятия читающих современников автора, которым адресовано высказывание. Чтобы восстановить идеологический контекст и значения, существующие в политических языках изучаемой эпохи, необходимо

проанализировать контекст употребления понятий во второстепенных текстах своего времени, потому что тексты, ставшие классическими, ценятся именно за то, что в них изменяется употребление значений (Покок, Бондаренко, 2018а: 142–150; Скиннер, Пируская, 2018а: 98–109).

Понимание смысла и идеологического контекста высказывания связано с достижением второй цели — определения вклада автора в изменение значений. Для его реконструирования необходимо обратиться к практическому контексту, изучению намерений автора, а также изучению реакции критиков-современников автора. Авторский вклад значим в методологии Кембриджской школы с точки зрения практических последствий, но главный интерес представляют изменения смыслов, которые стали доступны благодаря исследуемому тексту. Скиннер смотрит, насколько сильно и каким образом автор видоизменяет существующие политические языки или идеологии (Талли, Мовнин, 2018: 222–230); Джона Покока интересует изменение самих политических языков: какие значения и идиомы были приняты читателями и следующими авторами, пишущими на тех же политических языках (Покок, Бондаренко, 2018а: 172–179).

Понимание авторского вклада связывается с реконструкцией иллокутивного намерения автора — намерения, реализуемого с помощью акта высказывания (Скиннер, Пируская, 2018а: 109–115). Но постижение намерения является наименее определенной частью методологии, потому что зависит от множества условий. На него влияет практический контекст, хотя и не определяет его полностью. Намерения, с одной стороны, заявляются напрямую, что, согласно Скиннеру, соответствует позиции Дюркгейма, в рамках которой самописание авторов является достоверным. С другой стороны, Скиннер говорит о необходимости учета позиции фрейдизма: часть намерений могут быть неявными, подавленными глубинными переживаниями, реализуемыми в акте высказывания (Скиннер, Пируская, 2018с: 273–287). Понимание намерений также зависит от контекста других произведений, к которым автор может обращаться, но их выявление является сложной задачей и не может быть выполнено раз и навсегда (Скиннер, Пируская, 2018а: 98–109). Покок предлагает обращать внимание на использование языков первого и второго порядка. Язык первого порядка предполагает решение практических вопросов и совершение «ходов», меняющих значения языка. А язык второго — рефлексию автора над совершаемыми языковыми изменениями (Покок, Акмальдинова, 2018b: 157–164). Также для реконструкции языковых ходов Покок предлагает анализировать

комментарии современников автора, потому что они вынуждены реагировать на его нововведения: либо поддерживать и развивать, либо критиковать и осуждать (Покок, Акмальдинова, 2018b: 165–169).

В третьей части сборника, посвященной анализу политических языков в России разных периодов с XVII по XX век, на историческом примере подтверждается продуктивность рассматриваемой методологии. В работе Сергея Польского проявляется ситуативный характер целей, реализуемых авторами законов о престолонаследии в XVIII веке: авторы заимствуют части западноевропейского политического языка о государстве как юридическом лице и естественном праве, но используют их в различных контекстах и различных значениях (Польской, 2018: 473–478). Статья Екатерины Правиловой демонстрирует отличие современного определения частной собственности от существовавших в XVIII–XIX вв. В работе также видно, что ситуативное совпадение интересов акторов, связанное с критикой закона об экспроприации собственности, вытекает из противоположного понимания значения частной собственности в консервативно-романтическом и либерально-монархическом языках (Правилова, 2018: 494–497). На российской эмпирике подтверждается еще одна методологическая установка: изучение политических высказываний ориентировано на рассмотрение разрывов в воспринимаемых значениях. Так, в работе Константина Бугрова демонстрируются разрывы и изменения в восприятии понятия «добродетель», которое в XVII веке связывается с христианским благочестием каждого из сословий, в XVIII веке — оказывается атрибутом дворянства при арбитраже Монарха и только с развитием марксизма в XIX–XX веках становится секулярным и независимым от рока набором качеств, необходимых для реализации общего блага (Бугров, 2018: 561–575).

Параллельно в работах российских авторов возникает новый методологический ход, заключающийся в рефлексии режима публичности. Анализ режимов публичности выглядит как осмысление различия между актом написания и актом публикации текста — различия, вдохновившего первое поколение Кембриджской школы на осмысление методологической программы (Покок, Акмальдинова, 2018b: 194–199). Для родоначальников метода этого различия оказалось достаточно, но российская эмпирика потребовала дальнейшего осмысления контекста, в котором осуществляется высказывание, — совокупности правил и ожиданий от высказывания, совершаемого в определенном режиме публичности. Критика сборника со стороны Александра Павлова (Павлов, 2018: 287–295) помогла составителям и российским авторам

осознать потребность в отслеживании режима публичности, который уже был реализован в работах в сборнике, но не обсуждался как методологический ход.

В ответе Павлову Тимур Атнашев и Михаил Велижев признают, что успешность авторов Кембриджской школы обусловлена спецификой изучаемых периода и обществ. Элита того времени, представленная авторами политических текстов, была знакома с философской письменной традицией, а полемика в письменной форме была значимой частью их политической жизни (Атнашев, Велижев, 2018а: 124–127). В отличие от «британской» модели, во Франции перед Великой Революцией и в разные периоды российской истории пишущие авторы и политические элиты были разными публиками, что обуславливало большую жесткость критики, меньшую зависимость от правил политических языков и меньшее влияние письменных высказываний на политическую жизнь (там же: 125–126). Учет особенностей режимов публичности, в которых реализовано высказывание, позволяет исследовать письменные суждения любых периодов и обществ.

Анализ режимов публичности является методологическим новшеством российских авторов. Статья Михаила Велижева, посвященная анализу первого «Философического письма» Чаадаева, демонстрирует, как одно и то же высказывание, написанное одним человеком, несет принципиально различные последствия в зависимости от места публикации: в частном письме или в университетском журнале, при том что круг читателей в обоих случаях также совпадает (Велижев, 2018: 515–519). Аналогично масштабное влияние режима публичности на последствие высказывания обнаруживается и в статье Татьяны Борисовой. Решение суда присяжных о главенстве права на самооборону, обоснованное с помощью диссертации Кони, становится юридическим прецедентом в Российской империи, в то время как дословно идентичный текст самой диссертации ранее был запрещен без политических последствий (Борисова, 2018: 532–544). Выбранный Егором Гайдаром режим — написание книги — не позволил ему реализовать политическое намерение и получить поддержку реформ со стороны избирателей. В то время как политические оппоненты Гайдара продвигали, возможно, менее consistente объяснение, но использовали СМИ как наиболее эффективный режим публичного высказывания, что повлияло на их победу (Атнашев, 2018: 586–595).

РЕАКЦИЯ КРИТИКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Реакция критики была более чем благожелательной: Александр Павлов рекомендовал купить и прочесть сборник Атнашева и Велижева всем (Павлов, 2019: 315–317). Я присоединяюсь к призыву коллеги, но считаю нужным обсудить высказанные им методологические замечания, а также обратиться к слабым местам метода, обозначенным внутри самого сборника. Здесь не будет рассматриваться политфилософская сторона замечаний: составители сборника аргументированно ответили Павлову, что данная методология может быть использована и развита вне зависимости от изначального политического контекста (Атнашев, Велижев, 2018а: 127–131). Также не имеет смысла останавливаться на критике редакторского характера (Павлов, 2019: 317–323): она, безусловно, полезна для составителей и упрощает понимание изложенного в сборнике читателям. Методологическую же критику можно сгруппировать в три тезиса.

Замечания, названные Павловым «придирами», образуют первый тезис методологической критики. Они связаны с вопросами: зачем так подробно описывать метод, если в непосредственных исследованиях методология не проговаривается авторами? Зачем подписываться под «ярлыком западных академических традиций» (там же: 326), если российские авторы успешны в собственном доработанном методе? Второй критический тезис встречается у Мелвина Рихтера и направлен против случайности и несистемности выбора политических языков представителями Кембриджской школы в отличие от *Begriffsgeschichte* (Истории понятий) Райхарда Козеллека, в рамках которой идет работа со словарями и описанием семантических полей, в которых существуют понятия (Рихтер, Логутов, 2018: 369–377). Третий критический тезис обнаруживается и в программных методологических текстах Скиннера, и в рецензии Павлова (Павлов, 2018: 265–274). Этот тезис ставит под сомнение возможность реконструирования намерения автора и, как следствие, продуктивность всего метода. Скиннер пишет, что выявление иллюкутивного намерения автора является сложной задачей: помимо наличия неосознанных намерений, которые исследователь должен восстанавливать во фрейдистской перспективе, осознанные намерения могут проявляться в таких неочевидных формах, как ирония и замалчивание или осуществляться на языке, незнакомом исследователю текста (Скиннер, Пируская, 2018с: 326–332).

Все три тезиса содержат обоснованные замечания, которые нельзя оставить без внимания. Прежде чем ответить на них, стоит обратиться к взгляду Томаса Куна на научные парадигмы: несмотря на их ограниченность, отказ от парадигмы невозможен без её замены на новую – в противном случае ученым пришлось бы отказаться от целого направления исследований, что не является продуктивным (Кун, Налетова, 1977: 57–58, 111). В этом ключе методология Кембриджской школы необходима, потому что она реализует эпистемологическую роль познания субъективного действия; более проработанной методологии, решающей данную задачу, в профессиональной историографии нет. При описании понятия «история» Козеллек и соавторы показывают, что с XIX века субъективность любого исторического знания была признана неизбежной, а историческая правда – ограниченной своей эпохой (Гюнтер и др., Левинсон, 2014: 204–215). Отсюда выводилось требование к исследователю учитывать и демонстрировать свой класс, идентичность и взгляды. Тем более необходимо демонстрировать методологические «корни» своей исследовательской программы, особенно если целью высказывания является обсуждение методологических возможностей исследования текстов. Составители сборника и российские авторы справляются с данной задачей: они описывают те методологические взгляды и те «ярлыки», на которые опираются сами и которые предлагают обсудить и доработать. Это представляется достаточным ответом на первый критический тезис.

Возражение второму замечанию связано с различием в целях, которые решаются *Begriffsgeschichte* и Кембриджской школой. Систематическое описание авторов, работающих с историей понятий, прекрасно выявляет структуры знания разных эпох, а также их связь с социальными и политическими процессами своего периода, но структуры являются результатами действий субъектов, которые невозможно отследить с помощью *Begriffsgeschichte*. Кембриджская школа – напротив – работает в рамках понимающей парадигмы и пытается восстановить субъективные смыслы конкретных акторов и последствия действий для их конкретных современников. Эта методология начинается с анализа смыслов и проблем, которые наиболее очевидны для исследуемого автора, и затем старается восстановить периферию его понимания с помощью второстепенных текстов эпохи. «Несистемность» является платой за возможность учесть субъективность действия, без понимания которой не удастся реконструировать историю как нелинейный и подверженный случайностям процесс.

Возражение третьему замечанию я снова начну с тезиса Куна о том, что отказаться от одной парадигмы можно только в пользу альтернативной (Кун, Налетова, 1977: 169), но альтернативы субъективному познанию субъекта в западной науке не наблюдается. Продуктивным решением может оказаться поиск дополнительных методологических решений, которые позволят зафиксировать позицию исследователя и эксплицитировать ход его рассуждений. Подобное решение можно позаимствовать из социологической методологии обоснованной теории (Grounded Theory). В этом методе, разработанным Барни Глейзером и Ансельмом Страуссом, большое внимание уделяется теоретической чувствительности исследователя и техникам кодирования данных (Страусс и Корбин, Васильева, 2001: 9–11). Первая определяется как способность различать значения в разных контекстах, она зависит от общей эрудиции исследователя и его предшествующих знаний о предмете. Процедура кодирования посвящена систематизации и овнешнению процесса концептуализации данных исследователем (там же: 25). Фиксация процесса творческого поиска исследователя наряду с доступностью исследуемых письменных источников создает возможности для последующей рефлексии над результатами, в том числе со стороны постмодернистских методов деконструкции.

Другим способом учета субъективности исследователя является применение кембриджской методологии к самому историку, и критика сборника от Александра Павлова в журнале «Логос» своим примером подтверждает успешность такого решения (Павлов, 2018: 265–282). В итоге, несмотря на все слабые места методологии Кембриджской школы, сборник Тимура Атнашева и Михаила Велижева демонстрирует возможность и продуктивность её применения на российских данных. И вслед за Александром Павловым я призываю всех прочесть данную работу, чтобы сформировать собственное отношение к Кембриджской школе и её методологии.

ЛИТЕРАТУРА

- Атнашев Т.* Реформаторы в поисках языка : книга Егора Гайдара «Государство и эволюция» // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018. — С. 582–619.
- Атнашев Т., Велижев М.* История политических языков в России : к методологии исследовательской программы // Философия : Журнал Высшей школы экономики. — 2018а. — Т. 2, № 3. — С. 107–137.

- Атнашев Т., Велижев М.* Кембриджская школа : история и метод // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018b. — С. 7–50.
- Борисова Т.* «Необходимая оборона общества» : язык суда над Засулич // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018. — С. 552–546.
- Бугров К.* Республика / революция : гражданская добродетель в политической истории России // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018. — С. 547–581.
- Велижев М.* Язык и контекст в русской интеллектуальной истории : первое «Философическое письмо» Чаадаева // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018. — С. 500–521.
- История (Geschichte, Historie) / Х. Гюнтер, Р. Козеллек, К. Майер, О. Энгельс // Словарь основных исторических понятий : избранные статьи. В 2 т. Т. 1 / под ред. Ю. Зарецкого, К. Левинсона, И. Ширле ; пер. с нем. К. Левинсона. — М. : НЛЮ, 2014. — С. 45–240.
- Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018.
- Кун Т.* Структура научных революций / пер. с англ. И. З. Налетовой. — М. : Прогресс, 1977.
- Павлов А. В.* Приключения метода: Кембриджская школа (политической мысли) в контекстах // Логос. — 2018. — № 4. — С. 263–303.
- Павлов А. В.* Истина и метод : рецензия на сборник о Кембриджской школе // Философия : Журнал Высшей школы экономики. — 2019. — Т. 3, № 1. — С. 315–329.
- Покоч Д. Г. А.* The State of the Art (Введение к книге «Добродетель, торговля и история») / пер. с англ. А. Бондаренко, У. Климова // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018a. — С. 142–188.
- Покоч Д. Г. А.* Квентин Скиннер : история политики и политика истории / пер. с англ. А. Акмальдиновой // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018b. — С. 191–217.
- Польской С.* «Истязание по натуральной правде» : легитимация насилия и становление рационального политического языка в России XVIII века // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018. — С. 409–483.
- Правилова Е.* «Частная собственность» в языках российского общества конца XVIII – начала XIX века // Кембриджская школа : теория и практика

- интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018. — С. 484–499.
- Рихтер М.* Покок, Скиннер и Begriffsgeschichte / пер. с англ. А. Логутова // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018. — С. 347–380.
- Скиннер К.* Значение и понимание в истории идей / пер. с англ. Т. Пирусской // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018а. — С. 53–122.
- Скиннер К.* Мотивы, намерения и интерпретация текстов / пер. с англ. Т. Пирусской // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018b. — С. 123–141.
- Скиннер К.* Ответ моим критикам / пер. с англ. Т. Пирусской // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018с. — С. 249–346.
- Страусс А., Корбин Д.* Основы качественного исследования : обоснованная теория, процедуры и техники / пер. Т. С. Васильевой. — М. : УРСС, 2001.
- Талли Д.* Перо — могучее оружие : Квентин Скиннер анализирует политику / пер. с англ. Н. Мовнина // Кембриджская школа : теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. — М. : Новое лит. обозрение, 2018. — С. 218–248.

Belyavskiy, B. A. 2020. “Kembridzhskaya shkola: import i modernizatsiya metoda analiza istorii [The Cambridge School: Importing and Modernizing the Method of Historical Analysis]: retsenziya na sbornik ‘Kembridzhskaya shkola: teoriya i praktika intellektual’noy istorii’ [Book Review of ‘Cambridge School: Theory and Practice of Intellectual History’]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 217–229.

BORIS BELYAVSKIY

RESEARCH INTERN, LABORATORY FOR STUDIES IN ECONOMIC SOCIOLOGY;
LECTURER, NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (MOSCOW, RUSSIA);
ORCID: 0000-0002-5174-8719

THE CAMBRIDGE SCHOOL: IMPORTING AND MODERNIZING THE METHOD OF HISTORICAL ANALYSIS

BOOK REVIEW OF “CAMBRIDGE SCHOOL: THEORY AND PRACTICE OF INTELLECTUAL HISTORY”

ATNASHEV, T., AND M. VELIZHEV, EDs. 2018. *KEMBRIDZHSKAYA SHKOLA [THE CAMBRIDGE SCHOOL]: TEORIYA I PRAKTIKA INTELLEKTUAL’NOY ISTORII [THEORY AND PRACTICE OF INTELLECTUAL HISTORY]* [IN RUSSIAN]. MOSKVA [MOSCOW]: NOVOYE LIT. OBOZRENIYE

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-217-229.

REFERENCES

- Atnashev, T. 2018. “Reformatory v poiskakh yazyka [Reformers in Search of a Language]: kniga Yegora Gaydara ‘Gosudarstvo i evolyutsiya’ [Book of Yegor Gaydar ‘State and Evolution’]” [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 582–619.
- Atnashev, T., and M. Velizhev. 2018a. “Istoriya politicheskikh yazykov v Rossii [History of Russian Political Languages]: k metodologii issledovatel’skoy programmy [Introducing Methodology of a Research Program]” [in Russian]. *Filosofiya [Philosophy]: Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Journal of the Higher School of Economics]* 2 (3): 107–137.
- . 2018b. “Kembridzhskaya shkola [The Cambridge School]: istoriya i metod [History and Method]” [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 7–50.
- , eds. 2018. *Kembridzhskaya shkola [The Cambridge School]: teoriya i praktika intellektual’noy istorii [Theory and Practice of Intellectual History]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Novoye lit. obozreniye.
- Borisova, T. 2018. “‘Neobkhodimaya oborona obshchestva’ [‘Necessary Defense of Society’]: yazyk suda nad Zasulich [Language of the Trial of Zasulich]” [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 552–546.
- Bugrov, K. 2018. “Respublika / revolyutsiya [Republic / Revolution]: grazhdanskaya dobrodetel’ v politicheskoy istorii Rossii [Civil Virtue in the Political History of Russia]” [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 547–581.
- Günther, H., et al. 2014. “Istoriya (Geschichte, Historie) [Geschichte, Historie]” [in Russian]. In vol. 1 of *Slovar’ osnovnykh istoricheskikh ponyatiy [Geschichtliche Grundbegriffe]: izbrannyye stat’i [Selected Articles]*, ed. by Yu. Zaretskiy, K. Levinson, and I. Shirle, trans. from the German by K. Levinson, 45–240. 2 vols. Moskva [Moscow]: NLO.

- Kuhn, T. 1977. *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [*The Structure of Scientific Revolutions*] [in Russian]. Trans. from the English by I. Z. Naletova. Moskva [Moscow]: Progress.
- Pavlov, A. V. 2018. "Priklyucheniya metoda: Kembriджskaya shkola (politicheskoy mysli) v kontekstakh [Adventures of a Method. Cambridge School (of Political Thought) in Contexts]" [in Russian]. *Logos*, no. 4: 263–303.
- . 2019. "Istina i metod [Truth and Method]: retsenziya na sbornik o Kembriджskoy shkole [Review of a Collection on the Cambridge School]" [in Russian]. *Filosofiya* [*Philosophy*]: *Zhurnal Vyshey shkoly ekonomiki* [*Journal of the Higher School of Economics*] 3 (1): 315–329.
- Pocock, J. G. A. 2018a. "Kventin Skinner [Quentin Skinner: the History of Politics and the Politics of History]: istoriya politiki i politika istorii" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 191–217.
- . 2018b. "The State of the Art (Vvedeniye k knige 'Dobrodetel', trgovlya i istoriya) [The State of the Art (Introduction to the Book 'Virtue, Commerce, and History')]" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 142–188.
- Pol'skoy, S. 2018. "Istyzaniye po natural'noy pravde' ['Torture by Natural Truth']: legitimatsiya nasiliya i stanovleniye ratsional'nogo politicheskogo yazyka v Rossii XVIII veka [The Legitimation of Violence and the Formation of a Rational Political Language in Russia of the 18th Century]" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 409–483.
- Pravilova, Ye. 2018. "'Chastnaya sobstvennost' v yazykakh rossiyskogo obshchestva kontsa XVIII – nachala XIX veka ['Private Property' in the Languages of Russian Society of the Late 18th – Early 19th Centuries]" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 484–499.
- Richter, M. 2018. "Pokok, Skinner i Begriffsgeschichte [Pocock, Skinner and Begriffsgeschichte]" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 347–380.
- Skinner, Q. 2018a. "Motivy, namereniya i interpretatsiya tekstov [Motives, Intentions and the Interpretation of Texts]" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 123–141.
- . 2018b. "Otvot moim kritikam [A Reply to my Critics]" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 249–346.
- . 2018c. "Znachenkiye i ponimaniye v istorii idey [Meaning and Understanding in the History of Ideas]" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 53–122.
- Strauss, A., and J. Corbin. 2001. *Osnovy kachestvennogo issledovaniya* [*Basics of Qualitative Research: obosnovannaya teoriya, protsedury i tekhniki* [*Grounded Theory Procedures and Techniques*]] [in Russian]. Trans. by T. S. Vasil'yeva. Moskva [Moscow]: URSS.
- Tully, J.H. 2018. "Pero — mogucheye oruzhiye [The Pen Is a Mighty Sword]: Kventin Skinner analiziruyet politiku [Quentin Skinner's Analysis of Politics]" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 218–248.
- Velizhev, M. 2018. "Yazyk i kontekst v russkoy intellektual'noy istorii [Language and Context in Russian Intellectual History]: pervoye 'Filosoficheskoye pis'mo' Chaadayeva [The First Philosophical Writing by Chaadayev]" [in Russian]. In Atnashev and Velizhev 2018, 500–521.

ИЛЬЯ ДЕМЕНТЬЕВ*

ИСТОКИ ВЕЛИКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ**

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ СЕРГЕЯ КОЗЛОВА

Козлов С. Л. Имплантация : очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции. — М. : НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОВОЗРОЖЕНИЕ, 2020.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-230-249.

В центре внимания новой книги Сергея Леонидовича Козлова — интеллектуальная история Франции второй половины XIX — начала XX века. Эта работа выходит за дисциплинарные границы, чем особенно интересна: в конечном счете в ней показано, «как возникла великая французская гуманитарная наука XX столетия» (Козлов, 2020: 263). Автору «Имплантации» удалось представить замечательный синтез макро- и микроисторического подходов, когда общий взгляд на истоки *великой гуманитарной науки* совмещается с ненавязчивым погружением в детали, в отдельные сюжеты политической истории и истории идей, в нюансы биографий как знаменитых, так и малоизвестных участников этих историй.

Слово, которое не раз придет на ум читателю даже при пролистывании книги С. Л. Козлова, — *тщательность*. Ларошфуко заметил, что «преувеличенная тонкость ведет к пустой щепетильности; только в истинной щепетильности скрыта настоящая тонкость» (Ларошфуко, Линецкая, 1971: 160). Именно щепетильность, ответственное отношение ко всему: к высказыванию, к оформлению ссылок, к характеру использования источников — отличает «Имплантацию». Можно было бы цитировать «Апологию истории» Марка Блока по переводам советского времени, как это делают многие авторы, но С. Л. Козлов обращается к новейшему критическому изданию на французском. Собственно, он, как и положено профессионалу, каждый раз сверяет русские переводы с оригиналами, подчас выявляя досадные ошибки предшественников.

* Дементьев Илья Олегович, к. ист. н., доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград), Idementev@kantiana.ru, ORCID: 0000-0001-5530-1108.

** © Дементьев, И. О. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

Например, в эпилоге «Имплантиации» автор цитирует Эрнеста Ренана, рассуждавшего в 1890 году о будущем гуманитарных наук: «...конец пути уже виден. За сто ближайших лет человечество узнает почти все, что оно только может узнать о своем прошлом» (Козлов, 2020: 437). Тут же С. Л. Козлов меланхолично замечает, что в предыдущем издании «пассаж переведен с точностью до наоборот». Так и есть — в дореволюционном переводе об историко-филологических науках сказано так: «И все еще им не видно конца» (Ренан, Михайлов, 1902-1903: 1-ая паг.:10).

В другом месте С. Л. Козлов уточняет перевод максимы Ларошфуко, известный на русском языке в варианте, предложенном Э. Л. Линецкой, которая трактует *le vrai honnête homme* как *истинно благородного человека*; автор «Имплантиации» обосновывает другой вариант — *человек истинно приличный* (Козлов, 2020: 77). «Приличные люди» — это вообще важный концепт в рецензируемой книге. С. Л. Козлов анализирует габитус «человека приличного» как человека светского — этот идеал, утвердивший свою культурную гегемонию еще в XVII веке, все еще играл важную роль во французской интеллектуальной истории XIX столетия.

Еще пример: С. Л. Козлов скрупулезно изучает ежегодники Четвертого отделения Практической школы высших исследований за 1868–1879 годы (там же: 369–372), выискивая в них «экзотические» фамилии. Этот метод позволяет оценить степень заинтересованности иностранных студентов в обучении в ПШВИ. Попутно автор педантично отмечает неточности в расшифровках фамилий — сама по себе эта работа над ошибками, осуществленная через полтора столетия, вызывает восхищение. Однако уточнение данных о безвестных русских, чилийских или румынских студентах — это не частный случай игры в бисер. С. Л. Козлов старается показать, что международный интерес к этому учебному заведению в описанный период последовательно нарастал; в то же время исследование «пятого пункта» в Четвертом отделении обнаруживает аберрацию памяти мемуаристов, которые утверждали, что с момента основания Школу «посещали главным образом иностранцы» (там же: 372). Подсчеты С. Л. Козлова опровергают это утверждение.

Словом, читать книгу «Имплантиация» — одно удовольствие хотя бы по той причине, что ее автор демонстрирует лучшие качества современного гуманитария-профессионала: он одновременно удовлетворяет ожидания взыскующих оригинального обобщающего взгляда на интересный, пусть и знакомый хоть в какой-то степени объект, и тех, кто имеет вкус к микроскопическому рассмотрению деталей, долго не привлекавших ничьего внимания и оттого особенно занимательных.

При всем многообразии тем «Имплантации» два основных — притом взаимосвязанных — вопроса таковы: когда начинается «онаучивание» гуманитарного (историко-филологического) знания во Франции и какова роль «немецкого фактора» в этом процессе. В принципе на эти вопросы отвечали и прежде. Например, Жорж Гюсдорф (1912–2000), которого, впрочем, С. Л. Козлов не включил в свою библиографию, больше полвека назад пришел к выводу, что немецкое влияние в сциентизации гуманитарных наук во Франции начало сказываться только при Наполеоне III — прежде всего благодаря Ипполиту Тэну и Эрнесту Ренану (Gusdorf, 1960: 415). Луи Рейно (1876–1947), близкий к французским правым германист, выпустил в 1922 году книгу «Немецкое влияние во Франции в XVIII и XIX веках» (она, кстати, также отсутствует в библиографии к «Имплантации»), в которой с легкой грустью констатировал, что Германия как никакая другая страна сильно повлияла на моральное, интеллектуальное и политическое развитие Франции за последние полтора столетия (Reynaud, 1922: 7). Рейно также показал крайне важную роль Ренана в этом процессе — последний изображен как достаточно ловкий посредник, сумевший перенести на родную почву специфически немецкие концепции, чуждые французскому духу (*ibid.*: 250–251). Клод Дижон в книге с характерным названием «Немецкий кризис французской мысли, 1870–1914» (1957) интерпретирует немецкое влияние после поражения при Седане как решающее для французской мысли (Digeon, 1992). Мишель Эспань все XIX столетие называет «немецким веком в истории французской интеллектуальной жизни» (Espagne, 2005: 12).

Словом, экстраординарный характер «немецкого фактора» не секрет, и С. Л. Козлов пишет о том же: как имплантировались во французскую университетскую и академическую систему немецкие идеи, которые в первую очередь и позволили придать гуманитарному знанию научный статус. Следы сумрачного германского гения — всюду: вот Виктор Кузен, вернувшись из немецкой командировки домой, с энтузиазмом пропагандирует Гегеля; вот потрясенный Ренан перечитывает книгу мадам де Сталь о Германии; вот Теодор Моммзен на приеме у Наполеона III несколько бестактно удивляется отставанию французских университетов от немецких. Книга С. Л. Козлова — новаторская, но не потому, что открывает какой-то новый материк на планете интеллектуальной истории. Она обобщает колоссальный материал, касающийся франко-германских контактов, и выстраивает ретроспективу, в которой успех французской науки детерминирован победой тех сил, которые

выступали за усвоение немецкого опыта. Такой слегка телеологический взгляд примечателен, потому что дополняет привычную картину, в которой франко-германское взаимодействие редуцировано к серии военных поражений, нанесенных восточным соседом западному. Триумфом своей гуманитарной науки французы оказались обязаны немцам — эта история слишком иронична, чтобы не быть привлекательной.

В сборнике — пять глав-очерков (не считая предисловия, эпилога и нескольких приложений). В них автор наглядно показывает многообразие своих амплуа, выступая каждый раз в новой роли. В первой главе, лаконично озаглавленной «Матрица», сформулирован общий концептуальный подход к проблематике книги. Здесь С. Л. Козлов предстает как вдумчивый теоретик культуры. Он характеризует «неподвижное устройство французской культуры» (Козлов, 2020: 40), восходящее к средневековым структурам, в рамках которых производилось знание. Коллежи иезуитов, по С. Л. Козлову, стали той формой, в которой сложился специфический габитус применительно к историко-филологическому знанию. Этот габитус воспроизводился с поразительной устойчивостью на протяжении столетий — в том числе в форме комплекса правил «человека приличного», в которые входило прочно усвоенное «риторическое отношение к историко-филологическому знанию» (там же: 79). Именно этот габитус в XIX веке стал главным препятствием профессионализации и онаучиванию этого знания — с таким препятствием предстояло бороться тем французским интеллектуалам, которые проявили достаточную прозорливость, чтобы разглядеть новые перспективы по другую сторону Рейна. Конфликт ученого-гуманитария и «человека приличного» не был изжит и в первой половине XX столетия. Сквозь призму этого конфликта С. Л. Козлов и рассматривает историю становления великой французской гуманитарной науки.

Во второй главе «Мечта об университетской реформе» С. Л. Козлов — уже исследователь, работающий в сфере университетской истории. Он кратко рассматривает предысторию — наполеоновскую реформу высшей школы, ее ревизию на следующих этапах, в том числе нереализованные проекты (например, инициативу Поля Руайе-Коллара и Франсуа Гизо в 1815 году). Научное знание во Франции развивалось по разным траекториям: не только в рамках университетской системы, но и в обход ее. Неформальные сети интеллектуалов успешно конкурировали с университетами, а влияние монархии и церкви предопределяло сложную расстановку сил. К внутренним факторам постепенно добавился внешний: если в проекте 1815 года «немецкий след» практически не

просматривается, то уже следующий заход реформаторов — доклад Виктора Кузена в 1831 году — был прямо обусловлен поездкой его автора в Германию для знакомства с чужим опытом и выработки рекомендаций по совершенствованию отечественных институтов. Кузен именно в этом докладе «впервые публично сформулировал запрос на систему высшего образования, подчиненную целям развития науки» (Козлов, 2020: 136). Хотя доклад не имел практических последствий, самые важные идеи с немецким акцентом уже проникли на французскую почву: историю и филологию теперь можно было рассматривать не как формы «учености», а как науки; университеты — как «машину, производящую научное знание» (там же: 143). «Ничтожное меньшинство» — так определяет С. Л. Козлов узкий круг проводников немецкого взгляда на функции университетов и гуманитарного знания; новые подходы были совершенно чужды французской культурной традиции.

В этой главе охарактеризованы баталии сторонников и противников университетских реформ. Важно, что в ходе этих дискуссий представления новаторов укоренялись в публичном пространстве — так готовилась почва для институциональных преобразований. Парадокс, который, кажется, С. Л. Козлов не формулирует эксплицитно, но который не может не прийти на ум внимательному читателю: ведь именно «риторическое отношение» создало среду, в которой долго, но плодотворно обсуждались ключевые проблемы гуманитарного знания. Иными словами, те установки, которые описываются как чуждые французской культурной традиции, оказались в конечном счете усвоены отчасти благодаря тому, что для этой традиции было и привычным, и приличным все обсуждать.

Третья глава «Эрнест Ренан: филология как идеология» посвящена ключевой фигуре в истории французской гуманитарной мысли XIX века. Здесь С. Л. Козлов предлагает читателю небольшую, но крайне содержательную интеллектуальную биографию Ренана, который представлен и как яркий персонаж французской интеллектуальной сцены, и как «сиамский близнец» Ипполита Тэна. С. Л. Козлова интересуют не только сходства, но и различия между двумя титанами — прежде всего дисциплинарные (аттестация Ренана как филолога и Тэна как философа предопределила разницу в позднейшей рецепции их наследия). Другая оппозиция, которую кратко, но внятно анализирует С. Л. Козлов, — Ренан и Конт.

Основной тезис главы — о Ренане как создателе идеологии историко-филологических наук во Франции, идеологе единого гуманитарного знания (там же: 180–181). Эта оценка вырастает из внимательного

рассмотрения духовной эволюции Ренана — в частности, его религиозного кризиса. Преодолеть кризис помогло погружение в немецкую культуру, осуществленное через чтение книги мадам де Сталь «О Германии». С. Л. Козлов методично реконструирует процесс отторжения французской культурной традиции у Ренана (неприятие роли салонов, централизм культурной модели и т. д.). В конечном счете Ренан приходит к мысли об автономии научного знания — именно поэтому автор «Имплантиации» награждает его титулом идеолога. Замечу мимоходом, что такое определение мне не кажется удачным прежде всего в силу того, что во французской традиции слово *идеолог* прочно ассоциируется со школой Антуана Дестютта де Траси и его коллег, а в российской — все еще с «ложным сознанием» (Ф. Энгельс). Может быть, с учетом этих столь разных коннотаций для Ренана стоило бы подобрать другую, более нейтральную, характеристику — например, теоретик?

Скруплезный анализ того, как взаимосвязанные процессы отторжения французской и усвоения немецкой культурной модели Ренаном определили его идентичность, — это один из лучших фрагментов рецензируемой книги. Ренан, выстраивая классификацию наук, ввел понятие гуманитарных наук как наук о человечестве, и его интеллектуальные поиски стали важной главой в науковедении Нового времени. В конце главы С. Л. Козлов описывает значение программы Ренана в долгосрочной перспективе развития французской науки: религиоведения, сравнительно-исторической лингвистики, филологии и фольклористики.

Четвертая глава «Как была создана Практическая школа высших исследований» дает автору возможность представить результаты институционального анализа с элементами просопографии. Кроме того, в ней С. Л. Козлов выдвигает предположение о том, что возникновение «великой науки» во Франции произошло благодаря работе двух механизмов. Первый он называет «институциональным шунтированием» (Козлов, 2020: 273), суть которого — в построении байпасов, обходных путей: «...все производство новаторского знания шло [...] в обход университета» (там же). Второй механизм, впервые на французском материале описанный Дж. Бен-Дэвидом, — «вертикальный сговор» — эффективное сложение усилий разных акторов «сверху» и «снизу» (там же: 274). Комбинация инициатив отдельных продвинутых администраторов и научных «антрепренеров» образовывала специфический тип реформаторских действий, который, впрочем, как доказывает С. Л. Козлов, не

был присущ только французской традиции. Вставная «новелла», посвященная казусу вертикального сговора вокруг технологических новаций ленинградского объединения «Океанприбор» в 1970-х годах (Козлов, 2020: 276–279), немного выбивается из общих рамок тематики книги, но удачно вписывает российский (советский) опыт в анализ французских механизмов реформаторской деятельности.

Вертикальный сговор на французском примере проиллюстрирован описанной автором сетью «реформаторского лобби» вокруг Наполеона III, в которую входили мадам Корню, Альфред Мори, Леон Ренье, Виктор Дюрюи. Эта «микроредакция» позволяет С. Л. Козлову прийти к важному выводу: «...инициативы по переориентации высшего образования на исследовательскую работу исходили отнюдь не из среды естествоиспытателей» (там же: 321), именно гуманитарии оказались в авангарде — и вертикальный сговор помог осуществить эту переориентацию.

Деятельность реформаторов привела к тому, что Практическая школа высших исследований надолго стала «долговечным очагом научных инноваций в сфере гуманитарного знания во Франции» (там же: 356). Просопографическое исследование, в ходе которого С. Л. Козлов выявляет иностранных студентов школы, позволило ему выделить важнейший элемент, «который с большой регулярностью заявляет о себе в узловых моментах истории ПШВИ» (там же: 366–367), — ориентацию на мнение заграницы. Новый парадокс — французская гуманитарная наука лишь тогда получила шанс стать суверенной областью знания в рамках национальной традиции, когда избрала зарубежное академическое сообщество в качестве точки опоры для себя.

В пятой главе «Историческая наука и „приличные люди“: материалы для комментария к „Апологии истории“» С. Л. Козлов предстает как специалист по историографическому анализу. Интеллектуальная история для него — это не только глобальные концепции, но и напряженная герменевтическая работа, обнаруживающая, что несколько внешне незначительных строк могут прояснить — и, что не менее значимо, поставить! — важные вопросы. И по методу, и даже по содержанию эта глава немного выбивается из общего ряда. Развернутый комментарий к некоторым пассажам из знаменитой книги Марка Блока дает автору возможность затронуть несколько серьезнейших проблем в развитии французской гуманитарной науки в первой половине XX века. К сожалению, эта глава невелика по объему, поэтому для нее характерна некоторая фрагментарность, но и представленные фрагменты содержат

значительное количество поводов для рефлексии. С. Л. Козлов пишет о «подчеркнуто невоинственном» стиле Блока в «Апологии истории»; о значении дела Дрейфуса в поляризации политической жизни страны и в связи с этим — в полемике сциентистов и их оппонентов; о роли Эмиля Дюркгейма в формировании идеологической базы образовательных реформ; о программном требовании Анри Берра в отношении истории как обобщающей науки; о совместной борьбе Марка Блока и Люсьена Февра против статических бинарных оппозиций в историческом анализе, а также о разногласиях между ними по поводу трактовки эрудиции (первый различал «хорошую» и «плохую» эрудицию, второй отвергал ее в принципе); о том, наконец, почему борьба «анналистов» против позитивистской историографии оказалась продуктивной, а праворадикальные критики позитивизма («Action française») «не смогли выработать ничего плодотворного» (Козлов, 2020: 435). Обо всем этом, конечно, невозможно достаточно подробно высказаться на 48 страницах, которые занимает эта глава. С. Л. Козлов здесь, скорее, заявляет программу дальнейших исследований противоречивого процесса становления новаторской гуманитарной науки во Франции периода возвышения школы «Анналов».

В эпилоге С. Л. Козлов говорит о последующей судьбе историко-филологических наук. В конечном счете замечательные научные труды французских гуманитариев не утрачивают значения: «Эти работы стали реальностью благодаря имплантации институтов, которая была, несмотря на многочисленные трудности, успешно осуществлена во Франции на протяжении второй половины XIX — первой половины XX века» (там же: 450). Даже если этот успех оказался в политическом смысле неудачей, поскольку не смог кардинально изменить систему высшего образования и государственных академий, он «открыл гуманитарным наукам во Франции достаточный простор для обновления и развития, и это развитие до сих пор не перестает приносить свои плоды» (там же).

Приложения к книге иллюстрируют ход рассуждений во второй и четвертой главах: это декрет Наполеона I о создании университета (1808), доклад министра образования Виктора Дюрюи Наполеону III о создании Практической школы высших исследований (1868) и подборка свидетельств о начале становления ПШВИ.

Невозможно, не впадая в грех Пьера Менара, рассмотреть в рецензии все разнообразные проблемы, которым уделяет внимание автор «Имплантации». Этот труд, содержательный и превосходно написанный,

вносит весомый вклад в обновление отечественного гуманитарного ландшафта. Вместе с тем, как всякое качественное исследование, «Имплантация» вызывает вопросы, пробуждает критическую мысль, заставляет пересмотреть привычные представления об обсуждаемых проблемах.

У меня все же вызывает сомнения название книги. С. Л. Козлов поясняет смысл своей метафоры: «С одной стороны, речь идет о разработке и внедрении в социальную ткань новых институтов, призванных внести в жизнь общества некие нормы и ценности, уже функционирующие на уровне международном, но до сих пор не реализовавшиеся на национальном уровне данной страны» (Козлов, 2020: 13), с другой — «о межкультурных, межстрановых заимствованиях, о культурном импорте, происходящем по оси Франция — Германия» (там же: 14). В контексте авторских рассуждений имплантация предстает как имплементация и одновременно культурный трансфер. Наверное, использовать такую метафору вполне можно, но необходимо учесть, что в ряду медицинских терминов, к которому принадлежит имплантация, есть еще один, близкий по значению, — трансплантация. Несмотря на то что в современном языке термин «имплантация» применяется далеко не только в медицине (также, например, в материаловедении), изначальная разница между двумя понятиями носит совершенно определенный характер: трансплантация — это процесс пересадки биомедицинских тканей или органов, а имплантация — это вживление в ткани неорганических материалов (Krstić, Forster, 1985: 12). Тот культурный трансфер, который описывает С. Л. Козлов в своей книге, — это все же заимствование норм и ценностей (в случае с научностью гуманитарного знания) или институтов (университетская модель), которые трудно признать абсолютно неорганичными для французской культуры. Импорт структур и концептов позволил переопределить некоторые смыслы во французской системе высшего образования и академической науки, но этот процесс все же больше похож на пересадку биологически родственных объектов, нежели на вживление чужеродных материалов. Исходя из этого, книге больше подошло бы название «Трансплантация», которое отразило бы идею глубинного родства гуманитариев поверх границ между национальными культурами. Тем более что понятие *генеалогии*, которое С. Л. Козлов использует в подзаголовке книги в фукольдианском смысле, с точки зрения точности метафоры также ближе к трансплантации, чем к имплантации.

Чтобы оценить характер импорта немецких норм и ценностей в жизнь французских гуманитариев, желательно представить фон — охарактеризовать атмосферу, в которой происходил этот трансфер. Фону в книге, однако, уделено меньше внимания по сравнению с ключевыми фигурами. Между тем отношение к немецкому историко-филологическому знанию в разных кругах, естественно, не было одинаковым. Возможно, рассмотрение общей атмосферы наряду с анализом частных случаев «импортеров» позволило бы точнее воссоздать диалектику франко-германских интеллектуальных связей, ведь модельный характер немецкого гуманитарного знания далеко не для всех был очевиден, причем не только во Франции, но и в ближайших к ней странах, испытывавших влияние обоих участников обсуждаемого трансфера. Приведу лишь два примера, которые могли бы спровоцировать компаративный анализ в рамках транснациональной истории идей.

Рейнхарт Дози (1820–1883), нидерландский востоковед, публиковавшийся в Лейдене и на немецком, и на французском, в 1850 году сравнивал историков двух типов — французского и немецкого: «Почему второй всегда стоит ниже первого, даже если оба работают с равной производительностью? Один ответ: потому что немцам часто не хватает рассудительности и вкуса» (цит. по Paul, 2012: 399). Дози упрекал немецких ученых в чрезмерном увлечении сносками, противопоставляя им таких великих французов, как Франсуа Гизо или Огюстен Тьерри. Последние были наделены в должной мере и критичностью ума, и воображением, и литературными талантами.

Через полвека дело обстояло еще хуже: бельгийский медиевист, ученик Анри Пиренна Виктор Фрис (1877–1925) опубликовал в 1906 году разгромную рецензию на докторскую диссертацию Феликса Водзака (1874–1931) о битве при Куртре (1302), успешно защищенную годом ранее, между прочим, в Университете Фридриха Вильгельма в Берлине в присутствии референтов, одним из которых был знаменитый Ганс Дельбрюк. Фрис начинал свою рецензию так: «Вот одна из самых жалких (*misérables*) докторских диссертаций по философии, которые увидели свет за последнее время, — известно, насколько они многочисленны в Германии в течение уже десяти лет. В ней собраны фактически все возможные ошибки с точки зрения информированности [автора], методологии и точности» (Fris, 1906: 242–243). С подлинно немецкой дотошностью перечислив дефекты работы, коим несть числа, рецензент завершал текст приговором всей немецкой науке: «Диссертация г-на В[одзака] иллюстрирует прискорбный симптом научного упадка

(*décadence*) в Германии за последнее десятилетие; почти все немецкие диссертации в настоящее время дают образец абсолютного недостатка подготовленности, критичности и общих знаний у молодых докторов. Большая часть работ нового поколения особенно страдает от глубокого неведения в отношении трудов, появившихся за рубежом, тогда как именно сочинения старой немецкой исторической школы отличались поразительной библиографической осведомленностью. Большинство из этих диссертаций, впрочем, суть лишь пересказы известных сочинений: типичный пример этого — та, которую мы только что рассмотрели» (Fris, 1906: 246).

Даже в странах, по территории которых, условно говоря, шел транзит ценностей в направлении Парижа, не было консенсуса в отношении превосходства немецкого знания. Что уж говорить о самой Франции! В книге С. Л. Козлова, на мой взгляд, недостает систематического обзора деятельности оппонентов «германофилов». Конечно, автор иногда обращается к этому вопросу: так, красноречиво описано снижение научной продуктивности Г. Буасье и Н. Д. Фюстеля де Куланжа вследствие их удаленности «от стандартов немецкой научной монографии» (Козлов, 2020: 327), но все же эти характеристики как бы вторичны, вроде заметок на полях. Нет и оценки обратного влияния, как будто направленность взаимодействия французов и немцев была односторонней. Скажем, упомянутый в «Имплантации» Эжен Бюрнуф (1801–1852), выдающийся санскритолог, был учителем индологов Макса Мюллера (1823–1900) и Рудольфа Рота (1821–1895). С. Л. Козлов говорит о том, что «Мюллер, хотя и провел основную часть жизни в Англии, был вскормлен немецкой культурой» (там же: 263), однако, замечу, в процессе его вскармливания нашлось место и «острому галльскому смыслу». Стажировки французских ученых в немецких университетах (в 1870–1880-х годах) попали в фокус внимания автора, но не достойны ли исследования и стажировки немцев во Франции?..

Вообще, феномен франко-германских ученых заслуживает отдельного изучения в контексте обсуждаемой темы. С. Л. Козлов говорит об этом немного, упомянув, в частности, роль социокультурных меньшинств (протестантов и эльзасско-лотарингских евреев) в культурном импорте из Германии во Францию (там же: 394). Эльзасский феномен действительно нуждается в более тщательном рассмотрении: социолог и психолог Морис (X)альбвакс (1877–1945), возможно, самый известный, но не единственный представитель этой билингвальной среды.

Однако в число франко-германских ученых входят специалисты с самым разным бэкграундом: эллинист Карл Бенедикт (Шарль Бенуа) Газе (1780–1864) или упомянутый мимоходом (Козлов, 2020: 361) востоковед Юлиус (Жюль) Опперт (1825–1905) — вот настоящие агенты трансплантации немецких ценностей в живой организм французского гуманитарного знания!

Немецкое влияние на гуманитарные науки во Франции было многообразным, и потенциал этой темы далеко не исчерпан. Вот лишь некоторые из возможных линий рассуждения. Во-первых, это вышеупомянутые «идеологи», которым в «Имплантиации» уделено слишком мало внимания: отмечена деятельность Дестютта де Траси в Классе моральных и политических наук, ликвидированном Наполеоном в 1803 году (там же: 96–97). С. Л. Козлов говорит об этом эпизоде как о неудачной попытке обеспечить автономизацию философского знания, в рамках которого могло получить свою автономию знание историко-философское. Институциональное поражение замедлило этот процесс. Почему-то этот сюжет не анализируется достаточно подробно, хотя у «идеологов» тоже можно обнаружить следы немецкого влияния: прежде всего они тщательно изучали философию Иммануила Канта. Конечно, эти первые опыты трансфера немецких понятий на французскую почву несли на себе легкий налет дилетантизма: Дестютт де Траси, скажем, читал Канта на латыни, потому что не знал немецкого (Picavet, 1891: 295); эта любопытная деталь отзовется эхом в беседах Гегеля и Виктора Кузена, которые велись на французском, — как шутил Г. Гейне, в противном случае Кузен с его уровнем немецкого языка был бы в Германии «глухонемым» (см. об этом: Курилович, 2019: 25–26). Были, разумеется, и те, кто читал по-немецки, как, например, Пьер-Жан-Жорж Кабанис (1757–1808), а Жозеф-Мари Дежерандо (1772–1842) вообще обучался в Тюбингенском университете (Picavet, 1891: 506; Reynaud, 1922: 88). Если бы в «Имплантиации» нашли отражение эти сюжеты, общая картина немецкого влияния на суверенизацию гуманитарного знания во Франции была бы более полной.

С. Л. Козлов акцентирует внимание на том, что немецкая культурная модель была чужда французским традициям. Однако действительно ли такая бинарная модель представляет собой единственно возможную интерпретативную рамку? Если вновь обратиться к компаративному анализу, полезным будет проследить параллельно изменения, произведенные германской наукой в британском (и почти сразу же — в американском) гуманитарном знании. Филология туманного Альбиона

в свою очередь получила кольцо нибелунга: философия И. Г. Гердера и И. Канта при посредничестве С. Т. Кольриджа, английский перевод «О Германии» Жермены де Сталь и работ Ф. Шлегеля — импорт шел примерно по тем же каналам, что и во Франции. Джеймс Тёрнер отмечает, что успех немецких идей был связан с тем, что они резонировали с доморощенными понятиями, особенно теми, которые были выработаны шотландским Просвещением (Turner, 2014: 158–161). Сциентизация филологического знания в англосаксонском мире происходила во многом под тем же немецким влиянием, и сопоставление британского и французского опытов рецепции немецкой культурной модели позволило бы уточнить степень оригинальности отдельных национальных сценариев. В конце концов англо-американская гуманитарная наука XX века также имела некоторые признаки величия, так что в Германии можно обнаружить источник обновления не только французской, но всей западной гуманитарной науки.

Немецкое влияние на формирование новаторской модели гуманитарного знания во Франции также имеет смысл рассматривать в более общем контексте: культурные импульсы из Германии касались не только историко-филологических наук. Эккарт Пастор показал, как эти импульсы меняли французский язык, словарь которого начиная как раз с середины XIX века обогащался за счет заимствований из немецкого, причем речь не всегда шла об имплантации германских лексем в романский язык, но также о радикальном изменении значений привычных слов под немецким влиянием (Pastor, 1980). С одной стороны, этот процесс отражал ход научно-технического прогресса — заимствования терминологии в сфере естествознания и техники носили чисто утилитарный характер; с другой — новые мощные социокультурные течения детерминировали масштабные семантические изменения во французском. Пастор подразумевает здесь в первую очередь линию от Гегеля к Карлу Марксу и, далее, к Зигмунду Фрейду. Эта линия, обусловившая серьезные метаморфозы в тезаурусе французских гуманитариев, осталась практически за рамками концепции имплантации (Маркса вообще нет в именном указателе, а основатель психоанализа упомянут в книге один раз). Но не требует ли реконструкция истоков *великой гуманитарной науки* во Франции учета и этих факторов, существенно изменивших сам словарь этой науки? Позволю себе высказать предположение, что у этого семантического расследования могут быть интересные перспективы.

Заслуживает внимания и феномен революции 1848 года, осмысление которой точно совпадает с нижней хронологической границей изучаемого С. Л. Козловым периода истории французской науки. Лишь один любопытный пример: Алексис де Токвиль (1805–1859), который незадолго до смерти начал изучать немецкий язык и отправился в Германию в 1854 году в поисках ответов на вопросы о природе французского Старого порядка. Именно по ту сторону Рейна он нашел модель *Ancien régime*, описание которой легло в основу концепции его книги «Старый порядок и революция» (1856). Токвиль непосредственно познакомился с немецкой университетской системой в Бонне; там у него был широкий круг собеседников и именно там он внезапно осознал масштабность немецкой гуманитарной науки. Он признавался в письме Астольфу де Сиркуру от 27 июля 1854 года: «Немцы публикуют так много книг, что в этой массе находятся такие, которые точно отвечают тому, что я хочу знать» (цитирую по статье, в которой подробно обсуждается «немецкий опыт» Токвиля: Mélonio, 2018: 89). Несмотря на то что Токвиль не успел примкнуть к партии французских проводников немецкого влияния, в общей генеалогии *великой гуманитарной науки* он тоже занимает определенное место.

Еще один сюжет, который может оказаться перспективным, связан с пассажем из «Апологии истории» Марка Блока, который процитирован в «Имплантиации». Блок вспоминает поездку с Анри Пиренном в Стокгольм (Козлов, 2020: 430). Пиренн различает антиквара, которого привлекает только старина, и историка, который любит жизнь. Блок по этому поводу замечает, что эрудит, которому неинтересна современность, может быть назван «полезным антикваром» (пер. С. Л. Козлова). Этот фрагмент дает основание С. Л. Козлову реконструировать трехчленную концептуальную конструкцию Блока. Позиция французского историка оказывается противостоящей и «праздному педантизму» (поклонению сноскам), «и легкодоступной догматике „мнимой истории“» (от правых до вульгарного марксизма), которая поэтично называется «псевдоозарениями псевдоидеями» (там же: 434). Тяготение к трехчленности в контексте «Имплантиации» можно интерпретировать как вариант преодоления бинарных классификаций, которое автор книги ассоциирует как раз с основоположниками школы «Анналов».

Но нет ли основания усмотреть генеалогию этой конструкции в классификации видов истории у Фридриха Ницше? В знаменитом эссе «О пользе и вреде истории для жизни» (1874) он выделяет три вида

истории: антикварную, монументальную и критическую. Само противопоставление антикварного подхода и подхода историка, то есть страсти к прошлому и влечения к настоящему, коренится в эссе Ницше, где также используется слово «антиквар» (во французских переводах Ницше — *antiquaire*). Трехчленная конструкция Блока, выделяющая проблемную и критичную историю как альтернативу педантизму и догматике, — это инвариант схемы Ницше, в которой критическая история служит иным целям, нежели антикварная и монументальная.

Мысль о соотношении истории и жизни, высказанная в «Апологии истории», по всей видимости, глубоко продумывалась Блоком и прежде, в том числе в контексте рефлексии над развитием немецкой историографии, что важно для реконструкции как системы понятий патриарха школы «Анналов», так и траекторий освоения немецкого опыта во Франции. В частности, в статье, посвященной Георгу фон Белову (1858–1927), Блок пишет, что «эрудиция фон Белова была огромной. Но она была ограниченной» (Bloch, 1931: 557). Занимаясь всю жизнь германской нацией и цивилизацией, Белов не проявлял особого интереса ко всему, что было за пределами его родины: «Он очень хорошо знал Германию, он достаточно плохо знал Европу» (*ibid.*: 558). Отдавая должное достоинствам творчества Белова, Блок тем не менее настаивал на том, что знание части требует знания целого, в данном случае — «западного мира». В этом тексте Блок также противопоставляет эрудита, знающего только свой регион или свою страну, и историка, который должен быть в научном плане «хорошим европейцем», к какой бы партии в политическом смысле он ни принадлежал. Диахронный аспект оппозиции эрудита и историка, как он представлен в «анекдоте» о Пиренне (эрудит живет прошлым, историк — настоящим), должен быть дополнен синхронным аспектом в статье памяти Белова (эрудит ограничен своей страной, историк смотрит на страну в более широком контексте). Это дополнение важно и по той причине, что в лице Блока и его сподвижников французское гуманитарное знание уверенно оказалось в такой позиции (как любит писать С. Л. Козлов, на высоте птичьего полета), с которой можно позволить себе не оглядываться на мнение немецкой классики, а уже предлагать ее анализ.

«Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы», — говорит Ларошфуко (Ларошфуко, Линецкая, 1971: 159). Наверное, обращение ко всем этим темам потребовало бы от автора «Имплантиации» написания новой книги. Тем не менее, на взгляд рецензента, решение поставленных

в книге проблем выглядело бы более убедительным, если бы автор детальнее воссоздал противоречивый контекст франко-германского взаимодействия. Бесспорно, все эти рекомендации были бы более уместными в случае монографии, а не сборника очерков, но пока такая монография не написана, приходится сетовать на то, что и без того внушительная по объему книга С. Л. Козлова не объяла необъятное.

Незначительные неточности в «Имплантации» касаются отдельных фактов. Так, например, С. Л. Козлов полагает, что термин *mentalité* был неведом Ренану в 1848 г., потому что «первое отмеченное словарями употребление» этого термина относится к 1877 г. (Козлов, 2020: 238). В действительности впервые в словаре термин появляется в 1842 г. в значении ментального состояния («état, qualité de ce qui est mental») (Richard de Radonvilliers, 1842: 320). Во втором издании этого «словаря новых слов» (1845) отмечалось, что слово «менталитет» имеет оттенок значения убежденности, искренности (Richard de Radonvilliers, 1845: 423), и, хотя это еще не концепт Л. Леви-Брюля, термин как таковой уже мог быть известен Ренану. Позднейшие исследователи полагали, что Ришар де Радонвилье образовал это слово от английского *mentality* (Journet and Robert, 1970: 1250).

Доказывая, что Тэн и Ренан — очень близкие друг к другу авторы, С. Л. Козлов прибегает к разным аргументам, один из которых сомнителен. «Не существует ни собрания сочинений Тэна (не говоря уж о полном собрании сочинений), ни общества Ипполита Тэна, — пишет автор „Имплантации“. — Набрав в „Гугле“ словосочетания „Hippolyte Taine œuvres complètes“ или „Société Hippolyte Taine“, мы получаем в первую очередь ссылки на „Ernest Renan œuvres complètes“ или же, соответственно, на „Société Ernest Renan“» (Козлов, 2020: 171).

Боюсь, это не так: дело в принципах контекстного поиска. Вероятно, автор набирал в поисковике то Тэна, то Ренана, и искусственный интеллект любезно предложил Ренана в тех случаях, когда запросы касались Тэна, лишённого собрания сочинений и общества своего имени. Автор настоящей рецензии проэкспериментировал в разных браузерах, включая *Google* в режиме инкогнито, и не получил при запросах относительно Тэна ссылок на Ренана — за единственным исключением: электронной версии книги «Имплантация» в *Google Books*.

С. Л. Козлов неоднократно оперирует понятием «Великая французская революция», которое привычно для отечественного читателя, воспитанного на терминологии советской историографии. Конечно, выбор

названия — это дело вкуса, но из контекста можно понять, что это выражение заимствовано у цитируемых С. Л. Козловым авторов. Однако это не так — ни А. Хиршман (Козлов, 2020: 37), ни Э. Ренан (там же: 38) не использовали это словосочетание, ограничиваясь «Французской революцией» или просто «Революцией».

Есть также ряд технических замечаний, адресованных тем, кто готовил книгу к печати. Вообще-то, текст отредактирован неплохо, в книге минимальное количество опечаток, немногочисленны и недостатки редактуры — как, например, в случае употребления выражения «религиозные ордена» (там же) вместо «религиозные ордены». На с. 104 внезапно приводится точная датировка, которая вызывает недоумение: «...понятие моральных и политических наук вот уже 177 лет как встроено в организационную матрицу Французского Института...» (там же: 104–105). Если вести отсчет с 1832 года, когда была воссоздана Академия моральных и политических наук, то этот текст актуален для 2009 года; если отталкиваться от года издания книги, то нужно объяснить, что случилось с организационной матрицей в 1843 году.

Книга снабжена очень полезным предметным указателем, а также указателем именованным. Как известно, главные требования к индексам в книге — полнота и точность представленных в них сведений. Увы, именной указатель к «Имплантации» далек от совершенства. Для некоторых включенных в него персонажей даны не все страницы: например, отмечено, что Токвиль упоминается только на с. 272, хотя на самом деле и на с. 37; у Бурдьё пропущена с. 269, у Гегеля — с. 223 и 230 и т. д. Наоборот, Огюст Конт упоминается не на всех указанных для него страницах (например, на с. 198 есть Кант, но Конта нет), а в нумерации вообще нарушен порядок: 223 — 225, 266, 228, 233, 234, 237, 239. Наконец, есть персонажи, которым вообще не нашлось места в именованном указателе, как, например, Артюр Гобино (с. 227) или Эмиль Золя (с. 405). На с. 198 упоминается Шлегель — эта страница не фигурирует в именованном указателе, где, между прочим, есть два Шлегеля — Август Вильгельм и Фридрих. Местами нарушен и алфавит: Амьон идет раньше Ампера (с. 557); после ряда из четырех фамилий на «Ку» (от В. Кузена до Э. Курциуса) внезапно появляется Ксенофонт (с. 564). К именованному указателю есть и другие претензии, но их будет легко устранить при переиздании книги, которое, вне всякого сомнения, понадобится.

Сергей Леонидович Козлов написал очень интересную книгу о факторах формирования великой французской гуманитарной науки XX столетия. Особенно важно, что такая книга появилась именно на русском языке.

ке: тема импорта чужих норм и ценностей актуальна для отечественной интеллектуальной элиты более трех столетий. «Имплантация» — пример внимательного всматривания в культурный опыт великих европейских наций, уважительного отношения к чужим достижениям, педантичности в выписывании деталей панорамной картины истории гуманитарного знания. В некотором смысле генеалогия историко-филологических наук во Франции — это не только галерея почтенных предков, но и сообщество пишущих на разных языках в разных странах исследователей. К этому сообществу принадлежит и автор «Имплантации» — книги, которой по праву может гордиться современная российская гуманитаристика.

ЛИТЕРАТУРА

- Козлов С. Л.* Имплантация : очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции. — М. : Новое литературное обозрение, 2020.
- Курилович И. С.* Французское неогегельянство : Ж. Валь, А. Койре, А. Кожев и Ж. Ипполит в поисках единой феноменологии Гегеля — Гуссерля — Хайдеггера. — М. : РГГУ, 2019.
- Ларошфуко Ф.* Мемуары. Максимы / под ред. А. С. Бобовича ; пер. с фр. Э. Л. Линецкой. — Л. : Наука, 1971.
- Ренан Э.* Собрание сочинений. В 12 т. Т. 1. Будущее науки : Мысли 1848 года / пер. с фр., под ред. В. Н. Михайлова. — Киев : Изд. Б.К. Фукса, 1902-1903.
- Bloch M.* Un tempérament : Georg von Below // *Annales d'histoire économique et sociale.* — 1931. — Т. 3, n° 12. — P. 553-559.
- Digeon C.* La crise allemande de la pensée française, 1870-1914. — Paris : Presses universitaires de France, 1992.
- Espagne M.* En deçà du Rhin : L'Allemagne des philosophes français au XIXe siècle. — Paris : Cerf, 2005.
- Fris V.* Félix Wodzak, Die Schlacht bei Kortryk : Inaugural-Dissertation. Berlin, 1905, 95 Pages // *Revue de l'instruction publique en Belgique.* — 1906. — Т. 49. — P. 242-246.
- Gusdorf G.* Introduction aux sciences humaines : essai critique sur leurs origines et leur développement. — Paris : Les Belles Lettres, 1960.
- Journet R., Robert G.* Mots et dictionnaires (1798-1878). — Paris : Les Belles Lettres, 1970.
- Krstić R. V.* Transplantation, Implantation, and Explantation // *General Histology of the Mammal : An Atlas for Students of Medicine and Biology / trans. from the German by S. Forster.* — Heidelberg : Springer, 1985. — P. 6.
- Mélonio F.* De la démocratie en Europe : les voyages d'Alexis de Tocqueville en Rhénanie // *Der Rhein : Le Rhin im deutsch-französischen Perspektivenwechsel—*

- Regards croisés franco-allemands / W. Jung, M. Lichtlé. — Göttingen : V&R Unipress, 2018. — P. 79–94.
- Pastor E.* Der Einfluss des Deutschen auf den französischen Wortschatz im 19. Jahrhundert : Ein Stück deutsch-französischer Sprach- und Kulturgeschichte // *Equivalences*. — 1980. — Jg. 11, Nr. 2/3. — S. 17–30.
- Paul H.* The Scholarly Self : Ideals of Intellectual Virtue in Nineteenth-Century Leiden // *The Making of the Humanities : From Early Modern to Modern Disciplines* / R. Bod, J. Maat, T. Weststeijn. — Amsterdam : Amsterdam University Press, 2012. — P. 397–411.
- Picavet F.* Les idéologues : essai sur l'histoire des idées et des théories scientifiques, philosophiques, religieuses, etc. en France depuis 1799. — Paris : Félix Alcan, 1891.
- Reynaud P.* L'influence allemande en France au XVIIIe et au XIXe siècle. — Paris : Hachette, 1922.
- Richard de Radonvilliers J.-B.* Enrichissement de la langue Française : Dictionnaire de mots nouveaux. — Paris : Pilout, 1842.
- Richard de Radonvilliers J.-B.* Enrichissement de la langue Française : Dictionnaire de mots nouveaux. — Paris : Pilout, 1845.
- Turner J.* *Philology : The Forgotten Origins of the Modern Humanities*. — Princeton : Princeton University Press, 2014.

Dementev, I. O. 2020. "Istoki velikoy gumanitarnoy nauki [Origin of the Great Human Science]: razmyshleniya nad knigoy Sergeya Kozlova [Reflections on the Book by Sergey Kozlov]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 230–249.

ILYA DEMENTEV

ASSOCIATE PROFESSOR

IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY (KALININGRAD, RUSSIA)

; ORCID: 0000-0001-5530-1108

ORIGIN OF THE GREAT HUMAN SCIENCE

REFLECTIONS ON THE BOOK BY SERGEY KOZLOV

KOZLOV, S. L. 2020. *IMPLANTATSIYA [IMPLANTATION]: OCHERKI GENEALOGII ISTORIKO-FILOLOGICHESKOGO ZNANIYA VO FRANTSII [STUDIES IN GENEALOGY OF THE HISTORICAL AND PHILOLOGICAL KNOWLEDGE IN FRANCE]* [IN RUSSIAN]. MOSKVA [MOSCOW]: NOVOYE LITERATURNNOYE OBOZRENIYE

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-230-249.

REFERENCES

- Bloch, M. 1931. "Un tempérament: Georg von Below" [in French]. *Annales d'histoire économique et sociale* 3 (12): 553–559.

- Digeon, S. 1992. *La crise allemande de la pensée française, 1870–1914* [in French]. Paris: Presses universitaires de France.
- Espagne, M. 2005. *En deçà du Rhin: L'Allemagne des philosophes français au XIXe siècle* [in French]. Paris: Cerf.
- Fris, V. 1906. "Félix Wodzak, Die Schlacht bei Kortryk: Inaugural-Dissertation. Berlin, 1905, 95 Pages" [in French]. *Revue de l'instruction publique en Belgique* 49:242–246.
- Gusdorf, G. 1960. *Introduction aux sciences humaines: essai critique sur leurs origines et leur développement* [in French]. Paris: Les Belles Lettres.
- Journet, R., and G. Robert. 1970. *Mots et dictionnaires (1798–1878)* [in French]. Paris: Les Belles Lettres.
- Kozlov, S. L. 2020. *Implantatsiya [Implantation]: ocherki genealogii istoriko-filologicheskogo znaniya vo Frantsii [Studies in Genealogy of the Historical and Philological Knowledge in France]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Krstić, R. V. 1985. "Transplantation, Implantation, and Explantation." In *General Histology of the Mammal [Die Gewebe des Menschen und der Säugetiere]: An Atlas for Students of Medicine and Biology [Ein Atlas zum Studium für Mediziner und Biologen]*, trans. from the German by S. Forster, 6. Heidelberg: Springer.
- Kurilovich, I. S. 2019. *Frantsuzskoye neogegel'yanstvo [French Neo-Hegelianism]: Zh. Val', A. Koyre, A. Kozhev i Zh. Ippolit v poiskakh yedinoy fenomenologii Gegelya — Guserlyya — Khaydeggera [J. Wahl, A. Koyré, A. Kojève and J. Hyppolite in Search of a Unified Phenomenology of Hegel — Husserl — Heidegger]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: RGGU.
- La Rochefoucauld, F. 1971. *Memuary. Maksimy [Memoirs. Maxims]* [in Russian]. Ed. by A. S. Bobovich. Trans. from the French by E. L. Linetskaya. Leningrad: Nauka.
- Mélonio, F. 2018. "De la démocratie en Europe: les voyages d'Alexis de Tocqueville en Rhénanie" [in French]. In *Der Rhein: Le Rhin im deutsch-französischen Perspektivenwechsel — Regards croisés franco-allemands*, by W. Jung and M. Lichtlé, 79–94. Göttingen: V&R Unipress.
- Pastor, E. 1980. "Der Einfluss des Deutschen auf den französischen Wortschatz im 19 Jahrhundert: Ein Stück deutsch-französischer Sprach- und Kulturgeschichte" [in German]. *Equivalences* 11 (2–3): 17–30.
- Paul, H. 2012. "The Scholarly Self: Ideals of Intellectual Virtue in Nineteenth-Century Leiden." In *The Making of the Humanities: From Early Modern to Modern Disciplines*, by R. Bod, J. Maat, and T. Weststeijn, 397–411. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Picavet, F. 1891. *Les idéologues: essai sur l'histoire des idées et des théories scientifiques, philosophiques, religieuses, etc. en France depuis 1799* [in French]. Paris: Félix Alcan.
- Renan, E. *Budushcheye nauki [L'Avenir de la science]: Mysli 1848 goda [Pensées de 1848]* [in Russian]. Vol. 1 of *Cobraniye sochineniy [Collected Works]*, ed. and trans. from the French by V. N. Mikhaylov. 12 vols. Kiyev [Kiev]: Izd. B.K. Fuksa.
- Reynaud, P. 1922. *L'influence allemande en France au XVIIIe et au XIXe siècle* [in French]. Paris: Hachette.
- Richard de Radonvilliers, J.-B. 1842. *Enrichissement de la langue Française: Dictionnaire de mots nouveaux* [in French]. Paris: Pilout.
- . 1845. *Enrichissement de la langue Française: Dictionnaire de mots nouveaux* [in French]. Paris: Pilout.
- Turner, J. 2014. *Philology: The Forgotten Origins of the Modern Humanities*. Princeton: Princeton University Press.

